

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДИННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ъ

М О С К В А

1 • 9 • 2 • 7

Москва. Главлит № А. 210

25.000 экз.

Типография «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», Страстная площ. Б Путинковский пер., 5.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. М. И. КАЛИНИН.—Десять лет СССР	5
2. Ал. ТОЛСТОЙ.—Хождение по мукам, <i>роман</i> , продолжение	41
3. В. АНТОНОВ-ОВСЕНКО. — В 1917 году, <i>из воспоминаний</i>	70
4. И. УТКИН.—Милое детство, <i>глава из поэмы</i>	82
5. Мих. ПРИШВИН.—Зеленая дверь, <i>роман</i>	85
6. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.—Матросы, <i>из „Морских рассказов</i>	110
7. П. ОРЕШИН.—Прибой, <i>стихотворение</i>	144
8. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—В. И. Ленин об искусстве и литературе	145
9. Анна КАРАВАЕВА.—Голубая заводь, <i>рассказ</i>	158
10. Осип КОЛЫЧЕВ.—Котовский в Баварии, <i>стихотворение</i> .	186
11. Мих. ДАНИЛОВ.—Пост на Чорохе, <i>поэма</i>	190
12. К. Н. БЕРКОВА.—О. В. Аптекман	194

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ

13. А. АРОСЕВ.—„За живой и мертвой водой“ (о книге А. Воронского)	209
14. Р. КУЛЛЭ.—Цветные в литературе	213
15. Герм. САНДОМИРСКИЙ.—Книга смерти	223
16. Б. БРУК.—По амурским равнинам	231

КНИЖНОЕ ОБЗОРЕНИЕ

17. В. КРАСИЛЬНИКОВ.—Павел Низовой „Золотое Озеро“. 236
 18. Арк. ГЛАГОЛЕВ.—Сергей Заяицкий „Баклажаны“ . . . 236
 19. А. Р. ПАЛЕЙ.—А. Насимович „Топор“ 237
 20. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—Ник. Ушаков „Весна Республики“ 238
 21. И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ.— В. Кириллов „Голубая страна“. 238
 22. М. РУДЕРМАН. — Сергей Малахов „Песня у пере-
воза“ 239
 23. Фрол СКОБЕЕВ.— Мих. Левидов „Простые истины“ . . 239
 24. Виктор ГОЛЬЦЕВ.—Письма Александра Блока к род-
ным 240
-

Десять лет СССР

М. И. КАЛИНИН

Наперекор «точным» предсказаниям всех буржуазных и социал-демократических пифий о «скором», «неотвратимом» падении,—Советы справляют свой десятилетний юбилей, что, вне всякого сомнения, является величайшим торжеством трудящихся масс всего мира.

Классовым врагам пролетариата теперь больше ничего не остается, как обливать помоями страну Советов, чернить Советскую власть и обвинять руководителей коммунистической партии в насильничестве, в узурпаторстве, деспотизме.

В этом, по силе возможности и умения,—и за материальную мзду, и по собственному влечению,—им помогают социал-демократы. Но напрасны все старанья, все помои и грязь, распространяемые нашими врагами.

Не залепить им зрения рабочего класса; и то, что было только идеей, только мечтой великих людей, претворяется в Советах миллионами рабочих и крестьян в практическую жизнь. Но что особенно бесит и выводит из равновесия наших врагов, так это усиливающееся с каждым днем мирное социалистическое строительство в стране Советов.

Излюбленное дело для белогвардейцев всех капиталистических государств и их подголосков рисовать картины, как подавлены рабочие и крестьяне в Советском Союзе, какое нищенское существование влечат они, какое бесправие творится в советских судах и т. д., и т. п., как, наконец, рабочие и крестьяне ждут не дождутся того счастливого времени, когда явится из-за рубежа Советского Союза какой-нибудь избавитель в лице Николая или Кирилла Романовых.

Десять лет существования Советов для белогвардейцев—совершенно бесследный эпизод.

Они думают, что трудящиеся массы остановились в своем развитии, законсервировались (застыли) вместе с белогвардейцами на грани их белогвардейского миропонимания и политического уровня. А жизнь показывает как раз обратное. Если в первоначальной своей стадии революция ломала старые институты (устои) государства, наиболее

ненавистные массам (разгон полицейских участков, разгром помещичьих усадеб), то в последующем периоде началось проложение непосредственных путей лучшей жизни — ломка своего собственного быта.

Классы, боровшиеся за победу революции, теперь стремятся полностью реализовать результаты побед на полях сражений — у себя, в своем повседневном жизненном быту.

Все политические партии, от фашистов до социал-демократов включительно, ставят своей непосредственной и прямой задачей — уничтожение советского строя. Против этого возразить, конечно, нечего: поскольку они еще располагают пока силами бороться с Советами — это их право — лелеять планы уничтожения советского строя. Но думать после десяти лет существования СССР, что в этой борьбе их поддержат рабочие, крестьяне — абсолютно уже нет никаких оснований.

Что же эти партии могут предложить взамен Советов?—Такой именно вопрос, вполне естественно, в первую очередь, поставят как рабочие, так и крестьяне. Ведь, все эти партии тянут н а з а д, к п р о ш л о м у, к далеко отошедшему и к давно отжившему прошлому не только рабочих, но и крестьян.

И как бы ни идеализировать это «прекрасное далеко», с какой бы снисходительностью ни относиться к этому прошлому, — оно в понимании масс было и остается кошмарным.

История крестьянства и рабочего класса—есть сплошная голгофа, история сплошных невыразимых страданий.

I

В русской литературе сохранились огромные запасы письменных памятников, живописующих тогдашнее положение крестьянина и отчасти рабочего. И, несмотря на то, что в основе большинства этих произведений лежит известная доля сентиментальности (слащавости), несмотря даже на то, что в значительной своей части этим произведениям не чужды розовые краски, и что нарисованные ими картины сильно приукрашены в лучшую сторону, они дают ценнейший материал.

Вот описание крестьянской «холопской жизни»:

ПЛАЧ ХОЛОПОВ XVIII ВЕКА ¹⁾

О, горе нам, холопам, за господами жить.
И не знаем, как их свирепству служить.
А хотя кто и служит, — так, как острая коса;
Видит милость и то, как утренняя роса.

¹⁾ Найден в старинном рукописном сборнике акад. Н. С. Тихонравовым и под таким заглавием напечатан в «Почине» 1895 г.

О, горе нам, холопам, от господ и бедство.
 А когда прогневишь их, так отымут и отцовское наследство.
 Что в свете человеку хуже сей напасти?
 Что мы наживем, — и в том нам нет власти.

Пройти всю подселенную — нет такова житья мерзкова.
 Разве нам просить на помощь Александра Невского?
 Как нам, братцы, не досадно,
 И коль стыдно и обидно,
 Что иной и равный нам никогда быть не довлеет.
 И то видим: множество нас в своей власти имеет¹⁾.

Во весь век сколько можем мы, несчастные, пожить.
 И всегда будем мы, несчастные, тужить.
 Знать прогневалась на нас земля и сверху небо.
 Неужели мы не нашли бы без господ себе хлеба?

На что сотворены леса, на что и поле,
 Когда отнята и та от бедных доля?
 Зачем и для чего на свет нас породили?
 Виновны в том отцы, что сим нас наградили.

Противны стали ныне закону господя,
 Не верят слугам ни в чем и никогда.
 Без выбору нас, бедных, ворами называют,
 «Напрасно хлеб едим» — всечасно попрекают,

А если украдем господский один грош,
 Указом повелят его убить, как вошь.

Холопей в депутаты — затем не выбирают,
 «Что могут-де холопы там говорить».

Трудно указать в литературе более реалистическое описание прошлой жизни крестьян, чем то, которое дали сами крестьяне в своем «Плаче холопов»; следовало бы его напечатать в крестьянских газетах полностью и хранить в красных уголках для крестьянской молодежи.

Могут возразить, что, ведь, эта песня-плач пелась в восемнадцатом столетии, а мы, слава богам, живем в двадцатом.

К сожалению, такое возражение имеет лишь формальное значение. Крепостное право отменено с небольшим полсотни лет тому назад; наши отцы еще испытывали всю его прелесть на себе.

А разве отмена крепостного права по существу облегчила положение крестьянства? Наоборот, оно стало еще нестерпимее, обострилось еще более.

Да, ведь, по совести говоря, русские белогвардейцы типа Кутеповых, Евлогиев, Крупенских, Марковых и иже с ними, с упоением и восторгом возвратили бы этот золотой для них век.

¹⁾ Т.-е. иной, который недостойн быть с нами равен, имеет множество нас в своей власти (прим. Н. С. Тихонравова).

Это идеал их, идеал густопсового, махрового помещика.

Да только ли идеал русской черной сотни? Я думаю, не будет большой натяжкой сказать, что этому вполне сочувствуют и внешне культурные «благородные лорды» Англии. В самом деле, чем отличается только что описанное положение русского крепостного крестьянства от положения эксплуатируемого населения в таких английских колониях, как Индия, Африка, на островах Азии и т. д., и т. п.?

Попробуйте перевести эту песню на языки индусов, негров, малайцев и т. д., и можно быть уверенными, они найдут в ней многие и многие черты собственно́го быта.

А ведь надо сказать, что не только оголтелая буржуазия, но и так называемая «социалистическая» общественность страдают удивительной близорукостью, какой-то буквально обывательской узостью, относя факт борьбы рабочего класса за классовые задачи пролетариата лишь к немногим аристократическим странам Европы, между тем как наиболее яркая и наиболее ожесточенная борьба классов в наше время переносится именно во внеевропейские страны и преимущественно в страны восточные.

Английская забастовка углекопов в 1926 году, — как великая забастовка, она займет почетное место в истории рабочего движения мира, но все же ее нельзя равнять с китайской революцией, острие которой направлено в самое сердце мирового империализма. И что характерно, — на этой революции более всего сказывается опыт русской Октябрьской революции и именно — руководящая роль пролетариата в революции.

Можно смело сказать, — самые блестящие страницы китайской революции вписаны китайскими рабочими. И в современных условиях рабочий сектор Китая в международном рабочем движении занял не менее ответственное место, чем рабочий сектор любой из европейских стран.

В дальнейшем китайское крестьянство, в особенности — китайская беднота на собственном опыте убедятся, что их победа возможна лишь под руководством китайских рабочих. И этого сознания, что завоевание достигнуто кровью рабочих и крестьян Китая, никто отнять не сможет.

На эту тему можно было бы писать и говорить бесконечно, тем более, что материала для этого более, чем достаточно.

II

Но перейдем от народного эпоса (былин) XVIII столетия к художественной картине последних годов крепостного быта.

ИЗ КАРТИНОК КРЕПОСТНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

«Когда молодой барин к нам приехал, их и узнать было нельзя: очень выросли, возмужали, отростили большие усы и сделались еще красивее прежнего...

Егор Петрович все по комнатам с матерью ходили и расспрашивали о хозяйстве да о своих мужиках.

С виду наш барин казался таким строгим, что, кажется, я бы и подойти к ним не посмела; а наша Дунька была девка отчаянная, — все шмыгала по тем комнатам, где можно было повстречаться с молодым барином. Я тоже раза два (за делом) мимо барина пробежалась, только они меня тогда не заметили — были заняты, с матерью разговаривали.

Наша барыня перед сыном была смиренная и ему тихо отвечала:

— Откуда, Егорушка, я тебе денег возьму? У меня в короткое время было трое похорон, я и Пашу на свой счет хоронила, и эти оба года был неурожай.

В кабинете господ о делах разговаривали, а в девичьей Дунька придумывала, как бы пошутить с барином, — на ночь под одеяло им крапивы положить. А мы с ней ругались, говорили, что она нас всех подведет под господский гнев.

— Не вы будете стлать постель, а я,—говорила Дунька,—я одна буду и в ответе.

Тут я Дуньке сказала:

— Пожалуй, и я помогу тебе рвать крапиву, только смотри, меня барину не выдавай.

Малашка услышала мои слова и засмеялась.

— Не смотрите,—говорит,—на нашу Акульку, что ей шестнадцать лет, она всех девок перехитрит: из-за чужой спины с молодым барином заигрывает.

Из-за этих слов я с Малашкой начала ругаться, и тут в девичью вошла Ольга Ивановна.

— Вы,—говорит,—девки, не подеритесь из-за молодого барина, лучше посмотрите, какой он мне платок ковровый привез.

Когда Малашка с Аксюзкой начали рассматривать платок, Дунька меня толк в бок и шепчет:

— Сбегай, Акулька, в сад, нарви крапивы...

Вечером, когда мы легли спать, я уже знала, что моя крапива лежит в ногах у молодого барина. И вот, лежу я на постели, а у самой от страха сердце бьется: что-то,—думаю,—завтра нам будет.

Дунька рядом со мной лежала, вижу — она встает.

— Куда ты? — спрашиваю.

— Не ложится, — говорит, — хочу посмотреть, спит ли молодой барин.

Я тоже пошла с Дунькой. Шли мы по комнатам в одних рубашках, босиком и на цыпочках.

У барина огонь был потушен, а дверь комнаты неплотно приперта; мы к ней сбоку подкрались и заглянули.

В комнату барина месяц смотрел, и от него по всему полу свет лежал.

Барин спал на кровати, покрывшись шелковым одеялом, а возле их кровати на полу накинута наша крапива. Посмотрели мы на барина и той же дорогой пошли назад.

На другой день утром, когда мы, девки, все были в девичьей, вошел молодой барин, остановился на пороге и спрашивает:

— Которая из вас, девок, мне стлала постель?

Дунька поднялась из-за пялец и говорит:

— Это я!

От Дуньки я не захотела отстать, подошла к барину и говорю:

— Крапиву я рвала.

Барин сначала взглянули на меня, потом на Дуньку и, усмехнувшись, сказали:

— Какие вы обе смелые, — не побоялись своего барина окрапиветь! Чем мне вас наказать?

Тут барыня помешала, пришла сына звать чай пить.

— Охота, — говорит, — тебе, Егорушка, с этими дрянями разговаривать.

А сын ей на это:

— Я, маменька, смотрю на ваших девок, между ними есть и красивые, вот, хоть бы эта, — и барин указал на меня: — сама беленькая, как снежинка, а глазенки темные и блестят, словно угольки.

А барыня на меня сейчас и накинулась:

— Зачем, мерзавка, без работы стоишь? Если нет глаженья, садись за пяльцы и вышивай, — и, взявши сына под руку, барыня пошла из девичьей.

Потом все утро она ко мне придиралась, под конец приказала в девичьей затопить печку и выгладить ее новый капот.

Капот был хороший, батистовый; девки вышивали его ровно два года. Я за это время уже выучилась хорошо и скоро гладить, и теперь в какой-нибудь час выгладила больше половины капота.

В печке стояло несколько утюгов; один утюг простывал, брала другой. Когда же в капоте мне осталось выгладить только один перед, где была сплошная гладь, в это время мимо окон девичьей шел наш молодой барин; на них было надето черкесское платье и в руках они держали хлыст.

Я загляделась на барина и забыла, что у меня в руках горячий утюг, прижала его к капоту; когда барин прошел, я вспомнила об утюге и увидела на капоте черное сожженное пятно; тут я как ахну!..

— Пропала, — говорю, — я, девушки, погибла я несчастная, до смерти запрет меня барыня!..

Девки выскочили из-за пялец посмотреть на сожженный капот, а Малашка уже шмыгнула за дверь — доложить барыне.

Вижу, что все равно мне погибать.

— Пропустите, — говорю, — меня, девушки, на чердак: я там повешусь.

Уйти я не успела, — барыня, как пуля, влетела в девичью и прямо к гладильной доске.

Я повалилась ей в ноги.

— Ночей, — говорю, — сударыня, не буду спать, исправлю все, что испортила.

Барыня меня не слушает и только кричит девкам, чтобы те меня раздевали.

Девки мигом с меня стащили набойчатое платье, и я осталась в одной рубашке.

— Скиньте с нее и рубашку, — кричит барыня, — и держите Акульку ко мне спиной.

Девки скинули с меня и рубашку; я осталась, как мать родила.

Девки держат меня за руки и за ноги; барыня схватила с гладильной доски горячий утюг, да как им полоснет по моей спине.

Не взвидела я божьего света и заорала на весь дом.

Во второй раз барыня не успела меня полоснуть, — вбежал молодой барин, вырвал утюг из рук матери, швырнул его в угол комнаты, да как закричит на мать:

— Зачем вы, маменька, портите такое красивое тело? Это тело нужно не жечь, а сечь.

Потом барин и на девок закричал:

— Не держите Акульку, выпустите ее руки и ноги.

Девки из своих рук меня выпустили. Я хотела убежать; барин дорогу мне пересек и со всей силы ударил меня хлыстом по груди.

Я взвизгнула и бросилась в угол.

Барин — за мной и опять хлестнул меня.

От барина я бегала то в один угол, то в другой, а барин все хлестал меня и хлестал. Я хотела спрятаться между девок, которые стояли, прижавшись к стене, и дрожали от страха, а те от себя меня отпихивали.

Я пряталась и за барыню, а та сама меня толкала под хлыст. Мое окровавленное лицо и обожженная спина уже так болели, что мне стало тошно, и я повалилась на пол.

Очнулась я на кровати у молодого барина. Ольга Ивановна стояла возле меня и прикладывала к моей обожженной спине мокрую намыленную куделю; барин ходили по комнате и говорили:

— Смотри, нянька, хорошенько лечи Акульку, чтобы от ожога пятна не осталось»¹⁾.

* * *

Хотя крепостное право формально уже окончилось свыше шестидесяти лет тому назад, все же типы повести не покрылись тлением истории.

¹⁾ Из повести М. В. Васильева: «Записки крепостной девки». Новгород. 1912 г.

Наоборот, — последняя гражданская борьба наглядными картинками показала, что потомки помещиков умеют драться не хуже своих отцов и дедов, но только девственный дедовский прут они заменили более культурной, а следовательно, и более чувствительной плетью, а спокойное наслаждение предков зрелищем порки—перешло в испугленную ненависть потомков к рабочим и крестьянам. И, чем короче у них руки, тем большая жажда охватывает белогвардейцев расправиться со своими вековыми классовыми врагами, т.-е. с рабочими и крестьянами.

Когда об этом «далеком прекрасном прошлом» с умилением говорят потомки крепостников, это понятно: паразиты не могут существовать сами по себе, — они тоскуют по живому народному телу, на котором они питались, развивались и которое терзали целые столетия, — для них это вопрос жизни или смерти.

Но, ведь, в одном военном лагере с ними находятся меньшевики и все так называемые народнические партии—от Мякотина до Чернова, от Чернова до крайних левых эсеров включительно, — партии, мнящие себя монополистами по охране так называемой «демократии».

Неужели же кто-нибудь всерьез поверит, что союзники меньшевиков справа являются вместе с этими меньшевиками защитниками «демократии»? Таких наивных людей в Союзе сейчас вряд ли найдешь.

Крепостничество — их идеал, за который они борются по силе возможности.

Всякий входящий с крепостниками-белогвардейцами в то или иное политическое соглашение, тем самым принципиально считает их идеал для себя более приемлемым, чем советский строй,—как бы этого ни опровергали наши «демократические» противники.

Партии меньшевиков и эсеров, когда-то, в пережитом прошлом, революционные, на словах борются за демократию, а на деле вступают в теснейший контакт с реакционерами и крепостниками всех мастей, как русских, так и международных, т.-е., иными словами, оправдывают, защищают, содействуют крепостничеству, независимо от перемены внешней формы крепостничества.

Враги Советов заорут, что мы хотим пугать старым призраком, что о крепостном строе не помышляют не только мелкобуржуазные, но даже и крайние реакционеры Кутеповы и что поэтому нечего зря шевелить покойников.

Конечно, правильно, что мертвого не воскресишь, как бы этого многим ни хотелось. Но дело в том, что именно по этому-то мертвом плачут и мечтают политические друзья меньшевиков и эсеров.

III

Оставим и мы крепостной быт, ведь он нами только и приведен в напоминание, к чему стремятся и чем дышат в своей злобной мстительности и крепостнической ненависти к народной «черни» реакционеры.

Перейдем к так называемому пореформенному периоду, который близок не только нашим отцам, но и непосредственно нам.

Я останусь столь же скучным на картины и этого времени, чтобы никому не представилось излишнее сгущение красок недавнего прошлого.

* * *

— Вы пашни больше берите,—увещевал он крестьян:—в ней вся надежда. За лесом не гонитесь, а я сучьев на протопление и валежнику на лучину, хоть задаром, добрым соседям отпущу, Лугов тоже немного вам нужно—у меня пустошей сколько угодно есть. На кой мне их шут, только горе одно... хоть даром косите.

Словом сказать, так обставил дело, что мужику курицы выпустить некуда. Курица глупа, не рассуждает, что свое, а что чужое, бредет туда, где лучше,—за это ее сейчас в суп. Ищет баба курицу, с ног сбилась, а Конон Лукич молчит.

— Вы, что ли, Конон Лукич, курицу взяли? — пристаёт она к барину.

— Не знаю; видел я давече курицу у себя в огороде, а твоя ли, моя ли,—христос их разберет.

— Куда же она девалась?

— Должно быть, в суп ко мне попала. Не ходи в огород,—за это я не только чужой, но и своей курице потачки не дам.

Что бабе делать? Не судиться же из-за курицы. Обругает барина, да он уже обтерпелся. В глаза его «мучителем» зовут, а он только опояску на халате обдергивает.

И полеводство свое он расположит с расчетом. Когда у крестьян земля под паром, у него—через дорогу овес посеян.

Видит скотина—на пару ей взять нечего, а тут же, чуть не под самым рылом, целое море зелени. Нет-нет да и забредет в господские овсы, а ее оттуда кнутьями, да с хозяина штраф. Потравила скотина на гривенник, а штрафу рубль.

— Хоть все поле стравите,—мне же лучше,—ухмыляется Конон Лукич:—ни градобитиев бояться не нужно, ни бабам за жнитво платить.

Однако он настолько добр, что денег за штрафы не требует.

— Мне на что деньги,—говорит он:—на свечку богу, да на лампадное маслице у меня и своих хватит. А ты вот что, друг: с тебя за потраву следует рубль, так ты мне, вместо того, полдесятинки вспаши да сдвой, а уж посею я сам. Так мы с тобой по-хорошему и разойдемся.

— Мучитель вы наш, Конон Лукич.

— Ты говоришь «мучитель», а я говорю: правило такое есть — на чужую собственность не заглядывайся. Я к тебе не хожу, ты ко мне не ходи. Знаешь ли ты, что такое собственность? Ею, друг, государство держится. Потому всякому своего жаль, так, стало быть, и чужого касаться не следует. Все друг о дружке живут: я тебя берегу,—ты меня,

потому что у каждого есть собственность. А ежели кто это забывает,—значит, тот и государству изменник, да и вообще, ну, просто, значит, ничего нестоящий человек.

Словом сказать, и потравы, и порубки не печалят его, а радуют. Всякий нанесенный ему ущерб оценен заблаговременно, на все уставлена определенная такса. Целый день он бродит по полям, по лугам, по лесу, ничего не пропустит и словно чутьем угадает виновного. Даже ночью — одним ухом спит, а другим — прислушивается.

На первых порах после освобождения он завалил мирового посредника жалобами и постоянно судился, хотя почти всегда проигрывал дела. Но крестьянам даже выигрывать надоело: выиграешь медный пятак, а времени прогуляешь на рубль. Постепенно они подчинились; отводили душу, ругая Лобкова в глаза, но назначенные десятины обрабатывали исправно, не кривя душой. Чего еще лучше?

Другое подспорье — это система так называемых одолжений. У мужика к весне и хлеб, и сено подошло, а Конон Лукич всегда готов по-соседски одолжить.

— Одолжили бы, сударь, пудика два мучки до осени! — кланяется мужичок.

— С удовольствием, друг! И процента не возьму: я тебе два пуда, и ты мне два пуда — святое дело. Известно, за благодарность ты что-нибудь поработаешь... Что бы, например, ну, например, хозяйка твоя с сношеньками полдесятинки овса мне сожнет. Ах, хороша у тебя старшая сноха... я-адренная.

— Помилуйте, Конон Лукич, полдесятинки овса сжать — маломальски два с полтиной отдать нужно.

— Это, ежели деньгами платить, а мне — за благодарность. Я ведь, не неволю: мне и гуляючи отработаете. Наступит время, поспеет овес — бабыньки-то твои и не увидят, как шутя полдесятинки сожнут.

За первым мужичком следует другой, за другим — третий и так далее. У всех нужда, и всех Конон Лукич готов наделить. Весной он обеспечивает себе обработку и уборку полей. С наступлением лета он точно так же обеспечивает уборку сенокоса.

Здесь ему приходит на помощь третье отличное подспорье — пустошь.

— Берите у меня пустоша... — советует он мужикам: — я с вас ни денег, ни сена не возьму — на что мне. Вот лужок мой всем миром уберете — я и за то благодарен буду. Вы это тут на гулянках сделаете, а мне — подспорье.

— Все на гулянках, да на гулянках. И то круглый год гуляем у вас, словно на барщине, — возражают мужички: — вы бы лучше, как и другие, Конон Лукич, за деньги, либо исполу...

— Что вы, Христос с вами, да мне стыдно будет в люди глаза показать, если я с соседями на деньги пойду. Я — вам, вы — мне, вот

как по-христиански следует. А как скосите мне лужок, я вам ведро поставлю да пирожком обделю—это само собой.

Словом сказать, благодаря подспорьям, гуляют у него мужики на работе, а он пропитывается.

IV

Но дальше, дальше от проклятого крепостного времени.

Дадим себе небольшой отдых, передышку на временах, так называемых, «великих реформ».

Наверху шла реформа за реформой по облагодетельствованию крестьянства, превращению его в равноправного гражданина России, а на низах...

* * *

Пропустивши «сроки», распясовец ослаб духом совершенно; он, очевидно, потерял все...

Закончив долголетнюю историю своего терпения и бедности сознанием своего ничтожества, такого ничтожества, которое может быть во всякое время выкинуто вон, как сор, распясовец чувствовал внутри себя полный разгром и стал пропивать все, что оставалось, стал воровать,—до того, что прямо подходил к проезжему купцу и говорил:

— Ну, что ж, купец, давай на чаек-то.

— За что?

— А за разговор. Мало тебе этого? Вынимай-ка желтую бумажку.

И вот в такую минуту падения, грозившего потопить распясовца в море самой крайней нищеты, однажды по осени, в самое трудное для распясовцев время, когда приходилось вносить недоимки, в маленькой тележке, запряженной добрым меринком, появился Иван Кузьмич вместе с управляющим.

Они, очевидно, об'езжали и осматривали «округу». Меринок шел свободно и весело по дороге. Иван Кузьмич просто и прямо оценивал, «что чего стоит», и скоро стало известно, что «купец снял» у барина «все»—и лес дремучий, и реки, и поля, все, все до нитки. Скоро новораспясовцы узнали, что и их Иван Кузьмич тоже «снял» всех до единого: полтина в сутки пешему и рубль конному: «кто хочет по этой цене итти на станцию за пятнадцать верст принять оттуда паровик,—иди».

* * *

Такова была прокламация Ивана Кузьмича к народу ¹⁾.

Капитализм делал свое дело: на низу шло первоначальное капиталистическое накопление, которое, с одной стороны, усиленным темпом выращивало кулачешкий деревенский слой, а с другой—разоряло рядовое крестьянство. Сотни тысяч самостоятельных крестьян превра-

¹⁾ «Книжка чеков» Глеба Успенского.

щались в пауперов (нищих), в бесхозяйственных крестьян, массах направлявшихся в города, на окраины России и в эмиграцию.

В то же время в городах и отдельных селах на дешевой рабочей силе шло развитие фабрик, заводов, крупных кустарных ремесел. Между деревней и фабрикой росли связи по рабочей линии. Борьба рабочих, очень быстро перешедшая от простой экономической борьбы за свои непосредственные цеховые интересы в политическую борьбу с царизмом, не могла не отразиться на крестьянстве.

Расстрелы на Обуховском заводе в Петербурге, огромные южные забастовки вызвали довольно сильное крестьянское движение, которое в Харьковской губернии вылилось в разгром помещичьих имений. Окончилось оно печально: тысячи крестьян были выпороты харьковским губернатором—князем Оболенским и высланы в северные губернии; разумеется, традиционная порка не только не уменьшила революционного движения, а, наоборот—расширила и углубила его.

Начиная с девятисотых годов, в числе политических ссыльных нередко стали появляться и крестьяне, не только за участие в аграрных беспорядках, но и за «систематическую противоправительственную работу...».

В деревне повеяло новым духом.

Все больше стало появляться людей, задумывающихся над общественными вопросами и предпринимающих те или иные шаги в разрешении так называемых «проклятых вопросов», т.-е. вопросов исключительно тяжелого экономического положения крестьянства и его политического бесправия. Из этого, общественно выросшего слоя крестьянства в значительной степени выходили прозелиты, новые люди революционных партий.

В атмосфере запахло грозой.

Приближался пятый год, предвестником которого появился «Буревестник» М. Горького; между прочим, Горьким же отмечено и появление новых революционных типов в деревне. Война с Японией дала новый толчок развивающейся революционной мысли в деревне. Сотни тысяч крестьян наглядно увидели внутреннюю гниль царского режима и, наконец, наступил пятый год, когда пролетариат в кровавой схватке потряс до основания остов царизма.

V

Говорят, что деревня не пришла своевременно на помощь пролетариату, а это и послужило главной причиной поражения революции пятого года. Конечно, эта точка зрения—верная, но если учесть всю совокупность тогдашних деревенских условий, то станет понятным опоздание аграрного движения.

Во всяком случае опоздание крестьянского движения от рабочего и необходимость их сочетания для свержения царизма и остатков крепостничества дали возможность сказать тогда Ленину:

«Действительный мелкобуржуазный характер современного крестьянского движения в России не подлежит сомнению; мы, должны разъяснять это всеми силами и беспощадно, непримиримо бороться со всякими иллюзиями всяких «социалистов-революционеров» или примитивных социалистов на этот счет.

Особая организация самостоятельной партии пролетариата, стремящейся через все демократические перевороты к полной социалистической революции, должна быть нашей постоянной, ни на минуту не упускаемой из виду целью. Но отворачиваться поэтому от крестьянского движения было бы самым безнадежным филистерством и педантизмом ¹⁾. Нет, революционно-демократический характер крестьянского движения несомненен, и мы должны всеми силами поддерживать его, развивать, делать политически сознательным и классово-определенным, толкать его дальше, итти вместе с ним, рука об руку, до конца, — ибо мы идем гораздо дальше конца всякого крестьянского движения, мы идем до полного конца самого деления общества на классы.

Вряд ли найдется другая страна в мире, где бы крестьянство переживало такие страдания, такое угнетение и надругательство, как в России. Чем беспросветнее было это угнетение, тем более могучим будет теперь его пробуждение, тем непреодолимее будет его революционный натиск. Дело сознательного революционного пролетариата всеми силами поддерживать этот натиск, чтобы он не оставил камня на камне в старой, проклятой, крепостнически самодержавной рабьей России, чтобы он создал новое поколение свободных и смелых людей, создал новую республиканскую страну, в которой развернется на просторе наша пролетарская борьба за социализм».

Здесь, собственно говоря, новы не мысли, высказываемые Лениным (он их придерживался и развивал их с самого начала своей революционной деятельности), а сама обостренная форма их постановки, — обычная манера Ленина: дать постановку, лозунг, которые по своей ясности не могли бы подвергаться различному толкованию.

Так партия пролетарского авангарда, в лице Ленина, ребром поставила вопрос: если крестьяне хотят выбраться из царистско-капиталистической кабалы, то для них выход только один — не оставить камня на камне в старом мире.

¹⁾ Т.-е. близорукостью и чисто формальным подходом к крестьянству: раз, мол, крестьянское движение в основе своей мелкобуржуазно, то рабочему не с кем тут связываться в своей классовой борьбе. Против такого формального толкования мелкобуржуазной сущности крестьянского движения Ленин и боролся в то время с меньшевиками. Меньшевики запугивали рабочий класс, что он останется одинок, без союзника. По существу меньшевики толкали этим рабочий класс к революционному бездействию, к неверию в победу и внушали пролетариату трепет перед буржуазией.

* * *

Интересно посмотреть, как сами крестьяне к этому времени смотрели на положение вещей.

Вот как пишет Муйжель, излагая жалобу помещика Лаптева, обращающегося к старшине и его писарю:

«— Не дойдет. Вы говорите, не дойдет. Нет-с, уже дошло. Да-с, я вам говорю, что дошло. Извольте поглядеть: аренды не берут, надеются на что-то, слухи разные ходят, слова разные говорят: «Ты,— говорит, — где живешь — на небе, ай на земле? Уши у тебя золотом завешены».

Да-с, значит, мысль, намерение, то-есть, есть.

А, недалеко ходить, и действия проявляться стали-с.

Третьего дня, — Лаптев умолк на минутку, как бы собираясь поразить эффектом,—третьего дня у меня с Тимкина Лога—напащиков я туда послал—сохи и бороны в болото закинули... Да-с. Это— не дойдет. А вы, начальство, сидите, смотрите, — злорадно добавил он, сорвав очки, снова стал крепко и сердито протирать их.

— Я доложу, — забеспокоился старшина, и по сузившимся, ушедшим внутрь карим глазкам его Лаптев видел, что он напугался, — я доложу господину земскому начальнику... Это что же такое, это самоуправство, это, действительно, уже началось... Я обязательно доложу... Как вы думаете, Василь Иваныч, надо доложить, а? — обратился он к писарю.

Писарь помолчал, пожевал губами и солидно промолвил:

— Да, дело серьезное... Доложить требуется.

— Так нельзя, — говорил старшина, ерзая на твердом деревянном диване и беспомощно оглядываясь:—эдак они, действительно... Батюшка давно говорил... И слухи тоже. Вон в Сонинской-то...

Лаптев поднялся.

— А вы, со своей стороны, Петра Мосеич, — говорил старшина, — уж будьте добры, увидите господина земского начальника — уж не забудьте сказать... Я от себя, а вы от себя... Действительно, эдак они...

— Я скажу... Или я напишу ему лучше, — успокоил его Лаптев, — а покуда что...

— До свиданья, до свиданья... Так вы уже не забудьте, — твердил старшина, провожая его на двор, и в маленьких едких глазах его бегало трусливое беспокойство. — Ну, времена настали!..

Лаптев только махнул рукой в ответ и сел в дрожки.

В тот же вечер он отправил с Мишуткой, двенадцатилетним внуком кухарки, земскому начальнику письмо, в котором, жалуясь на мужиков, он, как дворянин и собственник, считает своим долгом предупредить, что от них можно ожидать всего. К тому же в народе ходят разные превратные толкования, и, памятуя пример соседней губернии, где бунты разрослись до того, что у помещиков были сожжены хлеб

и амбары, он имеет честь доложить о вышеизложенном господину земскому начальнику.

Старшина, очевидно, со своей стороны, доложил, потому что результат вышел самый неожиданный и для старшины, и для Лаптева, и для добрывичских мужиков, напугавший всех, как начало чего-то нового и страшного, нарушившего течение привычной жизни.

В деревню были вызваны казаки¹⁾.

Несмотря на относительную мягкость тонов, которую дает своему описанию Муйжель, в них все же чувствуются огромные вождедения крестьян насчет помещичьей земли: желание взять ее захватным порядком и расправиться по-плебейски с помещичьим классом. Как видно, за 40—50 лет произошел огромный сдвиг.

VI

После пятого года, с поражением революции, правительство жестоко расправлялось с крестьянством, мстя ему за испуг и за неприятности, принесенные революцией.

Карательные отряды гуляли по России, неся издевательство, избиение и массовые высылки всех более или менее замеченных в сочувствии революции. Кнут и нагайка гуляли во-всю. Царь, во главе помещиков и крупнейших капиталистов, мечтал с корнем вырвать революционные идеи, по крайней мере, из среды крестьянства.

Характерно, что в эти годы реакции на сторону царя перекинулась в значительной степени не только прогрессивная буржуазия — в лице кадетов, но и народнические партии, а меньшевики даже считали революционную борьбу окончательно ликвидированной и звали к органической²⁾ легальной работе в рамках, отведенных царизмом.

Само собою разумеется, что за этими партиями, в подавляющем большинстве, плелась интеллигенция, и значительная часть ее открыто перешла в лагерь реакции. На сцене борьбы остался один рабочий класс. Помощи он мог ждать лишь от деревенской бедноты.

В конце четырнадцатого года разразилась империалистическая война. Ум человеческий не в силах придумать большего преступления буржуазии перед народом, чем эта война.

Но западно-европейская буржуазия, ходом истории и борьбой рабочих и крестьян приученная хотя бы внешне формально считаться с трудовыми массами, предприняла огромную агитационную работу, втянув в орбиту (круг) своего влияния верхушки рабочего класса и крестьянства и буквально купив вождей рабочих партий. Крестьянских мелкобуржуазных вождей не надо было и покупать: они шли за ней

¹⁾ После бесчинств казачьего отряда нарастает возмущение деревни, и помещик Лаптев, чувствуя, что ему не сдобровать, решил бежать, но подстергавшим его крестьянином был убит из ружья, едва выехал со двора.

²⁾ К органической — т.е. вовсе отказывались от подпольной революционной борьбы.

не только за корысть, но и за совесть. Буржуазия развернула широкую работу, бросила громадные средства на смягчение форм избиения трудовых масс: достаточно напомнить, что английский солдат в окопах получал раза два в неделю плитку шоколаду и т. д. Здесь важна не сама по себе плитка шоколаду, а те якобы заботы о солдате, которые проявляло правительство, сиречь — буржуазия. Здесь от начала до конца все было опутано хитрой паутиной сплошного обмана. Сколько столетий господствующим классам удавался такой обман! И разве в данный момент не происходит непрерывного обмана трудовых масс всевозможными хитросплетениями буржуазии во всем капиталистическом мире?

В России же господствующие классы, во главе с царем, не выкли хотя бы внешне считаться с народом. Во главе управления находились открытые, абсолютно невежественные люди, крепостники, воспитанные на порке крестьян. Наиболее ярким проявлением дикости русских господствующих классов был царский двор, где шарлатаны и юродивые задавали тон, — достаточно вспомнить хотя бы Распутина. Военщина, в лице офицерского корпуса, представляла собой буквально дикую орду, где имел значение только чин. И вся эта разбойничья шайка — от царя до младшего офицера включительно, пользуясь военным положением, признавала главным орудием для победы над противником разгул собственных кулаков по лицам солдат и кудеснические заклинания придворных проходивцев. И этот, до мозга костей прогнивший строй призывали поддерживать все так называемые революционные партии. Солдатам оставалось одно: при каждом удобном случае сдаваться пачками врагу, что и наблюдалось в действительности.

Но вот терпению пришел конец. Как и всегда, первый удар был нанесен пролетариатом: эта честь выпала на долю петербургского пролетариата, который первым выступил на улицу, чтобы ударить по самодержавной клике. Против всех ожиданий аристократических кликуш, на помощь рабочему классу выступил петербургский гарнизон, то-есть, крестьяне, одетые в серые шинели. Здесь, на конкретном революционном действии, впервые в России произошло об'единение рабочего класса с крестьянством.

1917-й год

Я работал ¹⁾ у Финляндского вокзала в маленькой мастерской. Когда мы в толпе подошли к вокзалу, как раз в это время там же появилась какая-то военная часть. Вокзальная охрана была разоружена в одно мгновение.

Но толпа еще в нерешительности. Что же дальше? И солдаты кричат:

— Где вожаки? Ведите нас!

¹⁾ В феврале 1917 года. Ред.

Я сам в нерешительности; я еще не знаю, куда может направиться эта сила и что сейчас, вот здесь, поблизости, можно сделать? Для меня несомненно одно: надо сейчас же, не медля ни минуты, толкнуть на борьбу, ибо вся масса по существу переживает такое же состояние и ждет действия.

Я поднялся на площадку вокзала и крикнул:

— Если хотите иметь вождей, то вон рядом «Кресты». Вождей надо сначала освободить.

В один миг мысль подхвачена, расширена. Кто-то кричит:

— Сначала освободим из военной тюрьмы!..

Отделяются отряды, появляются руководители. Мысль осуществляется в действие: одни направляются к военной тюрьме, другие к «Крестам».

Рабочие вливаются в отряды: союз рабочего класса с крестьянством, за который столько лет боролся Ленин, осуществлялся на деле...

Жестоко ли рабочий класс и крестьянство расправились со своими вековыми врагами? О жестокости до сих пор трубят буржуазная пресса и русская белогвардейщина — до меньшевиков включительно. Но, ведь, эта жестокость является каплей в море — менее одной миллионной страданий рабочих и крестьян от своих врагов. Наоборот, революционный народ проявил удивительное великодушие на первых шагах Октябрьской революции: достаточно напомнить, что Ленинградский Исполком освободил даже Пуришкевича, отъявленного врага рабочих. Лишь после того, как буржуазия поняла, что рабочие и крестьяне взяли власть всерьез и надолго, она объявила бешеную борьбу против Октября. К этому бою Советская власть была вынуждена — и этот бой она дала.

Чтобы покончить с периодом гражданской борьбы, в назидание молодому поколению, приведу отрывок из письма очевидца из Оренбургской губернии, села Троицкого.

* * *

«... Из окна избы послышался голос жены Павла:

— Э, будет болтать-то. Эх, бездельники! Как только сойдутся—и пошло на весь день. Только вот от вас и слышно: «красные, да белые». Слышишь! Айда завтракать-то! Все остыло.

Но они, как будто не замечая этого, продолжали свою беседу.

— Парни-то все боевые, может быть, и сделают. Тут из Петрограда и из Москвы есть, — наемни рассказывали, — работали на фабриках, да на разных заводах, вот им-то, пожалуй, эти белогорлики и не понравятся.

После этих слов крестьяне стали расходиться, но вдруг остановились, увидя неподалеку стоявшего офицера, который отчетливо приказывал фельдфебелю сейчас же выгнать всех на прогулку.

— С винтовками, господин офицер?

— Без! И разбей по-взводно, а как только выйдут из села, так их соберем так, как нам нужно.

И что-то еще шепнул фельдфебелю на ухо и быстрыми шагами направился в штаб.

Раздалась команда: «собирайсь!».

Солдаты, выскочив из своих квартир, строились в ряды.

— Прямо! Шагом... арш! Раз, два, три. Запевай.

И солдаты, топая о твердую дорогу ногами, шли под шум своей песни, не предвидя грозящей неизбежной для них гибели, но в некоторых это было заметно, — в тех, которые принимали активное участие в заговоре против роскошного бала.

Их гнали на сопку, где они последний раз могли взглянуть на лучи солнца, которое обманчиво светило и обещало на этот день им радость. Да, им теперь было ясно всем.

Несколько солдат, ехавших позади, везли лопаты. Лопаты, соприкасаясь, напоминали своим ржавым бряцаньем о предстоящей могиле, куда они будут брошены...

— Стой! — закричало несколько офицерских голосов.

Их окружила заранее приготовленная сотня казаков. С левого и правого фланга были выставлены пулеметы. Их оцепили кольцом. И на солнце заблестали обнаженные шашки палачей. Все замерло...

И пленники, сбившись в окаменевшую группу, с поникшими головами, смотрели на землю, словно видели картину жизни, полную тягостных откровений, только ими видимую, только для них показанную. И казалось, в этот миг скорбью и унижением сжаты были их сердца... Не на баррикадах, не в схватке с этими теряют они свою жизнь.

Их стали спрашивать, кто из них был участником, но среди них царило молчание...

Стоявший посредине офицер стал считать по рядам с первого по десятый...

— Десять! Выходи!

И вышедшие из рядов солдаты, посмотрев на своих товарищей, стали раздеваться... А палачи, с засученными по локоть рукавами, начали расправляться.

Поставлено трое.

И, раненые десятками пуль, они падали на землю и, словно о чем-то подумав, перевортывались лицом к земле...

После этих троих опять стали опрашивать собранных. И они стали выказывать из своей среды товарищей. Тех поочередно подвели.

Один солдат, вызванный на жертву этой гнусной, озверелой своры, посмотрел на палачей, как будто ему хотелось крикнуть что-то. Послышалась команда офицера: — «раздевайсь!». И, бросая свою одежду в глаза палачей, он стал раздеваться... Черные его волосы, курчавясь, падали на лицо. Поправляя их, он провел рукой

по голове, потом стал разворачивать на ноге обмотку и, выхватив из-под нее нож, он бросился на небольшую от него стоявшего полковника Галкина, — но трус отскочил, несмотря на то, что в руках имел револьвер. И его место заменил офицер, и со всего взмаха нож вонзился в грудь офицера. И, шатаясь в бессилии, офицер покотился на землю. Послышался выстрел и раненый солдат с визгом упал и был разрублен в несколько кусков.

Их расстреляно 18 человек. Оставшиеся — под команду своих командиров шли и пели песни... Могила вырыта, и один из офицеров смотрел и распоряжался погребением. Закопавши своих дорогих товарищей, могильники по приказу пошли в ногу и пели песни.

И они пели, но их голос был наполнен враждой и ненавистью. Они пели и, глотая слезы, подходили к квартирам».

* * *

На приведенном отрывке, рисуя картину преступлений помещичье-капиталистического строя, мы и покончим свою летопись. Не потому, что после этой даты прекратились преступления капитализма против трудящихся, в частности, против СССР. Наоборот, каждый новый день приносит новые преступления, как убийство из-за угла наших полпредов, Воровского, Войкова, и т. д., но мы считаем, что и приведенных нами фактов достаточно, чтобы напомнить о старом мире, а читатели со своей стороны в своем собственном недалеком прошлом еще много и много злодейских картин восстаноят перед своими глазами.

Теперь обратимся лучше к свидетельству многочисленных корреспондентов из деревни о том, какие изменения в ней произошли и насколько в ней сохранились остатки тяготения к старому строю. Разумеется, не в буквальном смысле слова старому, ибо я думаю, из тысячи и одного не найдется, который бы захотел возврата Николая с его сворой, — Николая нет, но его своры имеется еще достаточно в наличности. Я говорю о строе так называемом буржуазно-демократическом, где управляют не средневековые кликуши, а самой последней формации капиталисты.

VII

Итак, Октябрьская революция победила. Мы должны подвести некоторые итоги к десятилетию ее существования. Первые пять лет надо скинуть на гражданскую войну и ликвидацию страшнейшего голода, посетившего нашу страну. Лишь последнее пятилетие народы Союза более или менее спокойно строили советское государство. Я не буду приводить цифры развития нашего хозяйства и культуры; уж в чем другом у нас есть недостатки, — цифр же, рисуя-

щих состоянии наших республик, более чем достаточно. Затем, вероятно, появится ряд юбилейных работ с полным цифровым материалом за десять лет существования Союза.

Взглянем на деревню глазами крестьянина и в редких исключительных случаях через художников. Наши враги постоянно тычут в нос, — у нас нет свободной прессы. Клевета! Ни одна печать из всей буржуазной прессы так резко не клеймит недочетов государства, как наша. Ни в одной буржуазной газете нет столько корреспонденций, рисующих беспорядки, как в наших. Но наша печать, как один из важнейших органов советского строительства, своей работой помогает этому строительству и все, что помогает строительству, может быть свободно помещено в газеты и журналы. Покажите, в какой стране в качестве корреспондентов участвуют сотни тысяч крестьян и рабочих? Подкупить их не в силах никакая власть, ибо их устами говорит народ в самом широком смысле слова. Я уже не говорю о громадном достижении крестьянства внедрением его представителей в органы власти, а ведь достаточно напомнить, что в ЦИК'е Союза одна треть состоит из непартийных крестьян, в нижестоящих исполнительных комитетах еще больше.

Вот как подходит к этому вопросу крестьянин тов. Пименов, дер. Ченцово, Можайского уезда.

— Если спросить рядового крестьянина-землероба, что он получил от Октябрьской революции, то получишь ответ: «А кто ее знает! Жили раньше, живем и теперь».

Такой ответ зависит от того, что у всякого человека, по мере роста его благосостояния, еще скорее растут запросы к жизни и он их не замечает. Именно растут запросы,—и уже одно то, что в самой деревне часть крестьян великолепно видит этот процесс, говорит о многом, а главное, насколько культурно поднялось крестьянство. Вместе с культурой растет и самоуверенность крестьян в успехе принимаемых мер Советской власти, которая очень ярко выражена в заключительном абзаце прекрасного письма тов. С. Ф. Немец из Казакской Автономной Республики, хутор «Ясная поляна».

«Видим и чувствуем, что твердым и уверенным шагом идем вперед, и видим и чувствуем, что в своей стране мы—хозяева. Видим и верим, что впереди лучшее будущее».

Пусть правительство хоть одной капиталистической страны покажет соответствующее настроение хоть небольшой тонкой прослойки и беднейшего крестьянства. А ведь прошедшие десять лет были годами исключительных жертв и напряжения крестьянства и лишь в самые последние годы стали вырисовываться положительные результаты этой работы.

Характерной особенностью является усиленное внимание к культурным достижениям:

«Мы живем в самом глухом уголке Белорусси, — пишет Савченко, дер. Тельцы, Полоцкого округа, — и в самом темном

уголке: от окружного города на расстоянии верст 70—80, от районного центра — верст 25. Раньше у нас был очень темный народ, все равно, что осенняя ночь.

Земля в наших деревнях была вся чересполосна и трехполка, от которой крестьяне наши получали совсем мало пользы, крестьяне наши жили очень бедно. Да, к тому же были очень религиозные, только и знали одного попа. Теперь в нашей местности большая часть крестьян перешла на хутора и на поселки, много уже крестьян в нашей местности перешло и на многополье.

Теперь в нашем уголке ни одной нет деревни, где бы не было газеты и книги, а если бы взглянуть на нашу деревню года четыре—шесть тому назад, то совсем редко, где бы увидали газету или книжку. А сейчас на каждые два двора приходится по одному экземпляру. И это тоже большое достижение за десять лет в нашей глухой, темной, забитой деревне. Теперь уже у нас крестьяне не религиозны, возьмем самый близкий пример: в нашем селе Горбачеве имеется церковь и имеется изба-читальня. И вот каждый праздник в село собирается много народу, но народ идет в избу-читальню, в церковь совсем мало кто ходит. Вот тут-то и видно, что крестьяне стремятся к чему-то новому, к новому быту.

Таких примеров много в нашей местности.

У нас ведется и ликвидация безграмотности, в нашей деревне Тельцах обучилась грамоте недавно женщина лет 50. Теперь она пишет и читает. На нее глядя, учатся и другие.

В работе кооперации женщины принимают участие, и в работе сельсовета, и в крестьянской взаимопомощи. У нас имеется кольцевая почта. Раньше у нас находилась почта очень далеко. Тогда было очень плохо: за письмами и газетами было ходить очень далеко, отчего и пропадали письма и газеты. Теперь к нам к каждому приносит на дом письмоносец газеты и письма, да к тому же еще у письмоносца постоянно есть продажные карандаши и бумага. Наша деревня становится чистой, в ней выметается старый сор социалистической метлой. И с каждым днем в деревню проникает культура, и с каждым днем мы все становимся выше и все больше укрепляется наше культурное сельское хозяйство».

* * *

Пожалуй, это не простая случайность, что о культуре говорят больше всего из Белоруссии; ведь именно там, в западных губерниях, было наибольшее количество неграмотных. Крестьяне Минской, Гомельской и Витебской губерний отличались наибольшей забитостью и так называемой деревенской серостью.

Эти губернии имели богатейших помещиков, владевших десятками тысяч десятин земли, а в городах господствовала еврейская буржуазия, даже куцое российское земство там отсутствовало, и един-

ственными рассадниками простой грамотности являлись лишь церковно-приходские школы. Вот почему крестьянин Белоруссии столь жадно бросился на культуру. И теперь, несмотря на очень значительное развитие сети образовательных учреждений, вплоть до сельскохозяйственного института и университета, в Москву приезжает очень большое количество крестьянской молодежи, рвущейся к высшему и специальному образованию.

Эти ростки новой деревни не являются случайно выросшим тепличным цветком, наоборот, это естественный рост посеянного революцией. Это плоды сознательной целевой работы масс, ибо тот же процесс можно наблюдать в той или иной степени и в других местах Союза. Вот, например, письмо учителя А. Обуздина, дер. Романово, Северо-Двинской губернии:

«В дореволюционное, царское время, и в первые годы после Октябрьской революции деревня Гребенево ничем не выделялась новым, положительным среди других деревень.

Здесь была та же трехполка и чересполосица, та же пьяная, невежественная царская деревня, как и все остальные, окружающие ее.

Так тянулось долго, и казалось, что едва ли что выйдет из этой деревни хорошего, нового. Правда, и раньше здесь были и выделялись кое-какие мужики, передовики-активисты, но их было очень мало, и они были сравнительно слабы мериться с силами темной деревни. Но чем дальше, тем сильнее и численнее становится этот передовой крестьянский актив и тем сильнее он начал разворачивать свою деятельность и работу.

Начало работы, главным образом, было положено вот этим активом, и более глубоко развито райагрономом И. В. Незномовым. Райагроному тов. Незномову сравнительно недолго пришлось доказывать и увещевать мужиков о переходе на шестиполье, так как почва уже была для этого подготовлена активом деревни. И вот, в 1924 году деревня Гребенево переходит на многопольный, шестипольный севооборот с посевом клевера и корнеплодов.

Этому делу много способствовали и оказывали поддержку и помощь как книгой, так и советом служащие крестьяне-выходцы из этой деревни: Гребенев К. В. и другие. С этого, главным образом, и началась стройка новой деревни Гребенево. Большую помощь в этом деле оказала также местная учительница Н. В. Гребенева. За это нововведение в том же году деревне была оказана премия — скидка по сел.-хоз. налогу.

Это еще больше обрадовало и укрепило мужиков на завоеванных позициях, и дало повод к дальнейшему развитию и усовершенствованию деревни на новых началах. С тех пор прошло три года, и за эти несколько лет деревня переродилась и стала неузнаваемой. Она стремится к новой лучшей жизни и вводит все новые и новые начинания, усовершенствования и мероприятия.

В настоящее время деревня имеет зерноочистительный и прокатный пункты, красный уголок, драмкружок и контрольное товарищество. В зерноочистительном и прокатном пунктах, или, как их зовут, «машинном товариществе», имеется триер, несколько молотилок, сеялок, сортировок и сепаратор.

Все эти машины куплены коллективом деревни и содержатся в полной чистоте и порядке в специально выстроенном помещении. Этими машинами пользуются граждане и других деревень за известную плату.

В настоящее время гребеневцы всерьез задумываются о приобретении трактора; можно надеяться, что они это выполнят. Затем имеется красный уголок, в который выписываются местные и центральные газеты и книги. Два года тому назад у них была изба-читальня, которая содержалась на свои средства, которая была центром всей работы деревни, но теперь ее нет, так как содержать ее для небольшой деревни тяжело, и ее заменяет теперь красный уголок. Неграмотных в деревне почти никого нет. Новый быт начинает все больше прививаться и проникать. Так, например, большинство населения безбожники, очень многие порвали связь с попом, церковью и богом. А пьянки и хулиганства с каждым днем становится все меньше и меньше, население привыкло и тесно связалось с книгой, газетой, лекцией, беседой и спектаклями. Чуть не каждый домохозяйин выписывает местные газеты и «Крестьянскую». Но население деревни Гребенево не только читает, выписывает и распространяет газеты, но участвует в них в качестве селькоров. Большинство крестьян передовиков-активистов—селькоры.

Затем в деревне имеется драмкружок, который объединяет население своей деревни. Тружеником драмкружка является 50-летний Куприян Афанасьевич Гребенев, простой крестьянин мужик. Все охотно и с увлечением играют на сцене в с. Ильинском в четырех верстах от деревни Гребенево. Покупают и выписывают доступные для понимания пьесы и основательно готовятся к спектаклю. Ропота со стороны кого-бы то ни было не услышите, все относится к этому делу доброжелательно и со вниманием. По примеру деревни Гребенево, многие другие деревни тоже организовали драмкружки и ставят спектакли, как, например, Хозятино, Гагарино и т. п. Выручка от спектаклей идет на приобретение театральных принадлежностей, на выпуск газет и т. д.

Затем в деревне имеется контрольное товарищество, организовано оно тоже по инициативе самого населения. Благодаря работе контроль-ассистента, гребеневцам удалось повысить удой молока и его жирность, что обуславливается правильным кормлением скота. Теперь ведется работа и агитация по улучшению скотных дворов и кормушек. Пока что работа контрольного товарищества охватывает три деревни: Гребенево, Хозятино и Хомяково, но в дальнейшем круг его деятельности расширится. Крестьяне деревни Гребенево видят

действительную пользу от контрольного товарищества и сами помогают активно в его работе.

В общем Гребенево — одна из самых передовых деревень всего Утмановского сельсовета и даже района. Своей культурой она толкает около нее находящиеся деревни, как, например, Хозятино и другие. Гребенево передает свою культуру другим деревням, что очень сильно заметно, и относительно этой деревни говорят — «культурное Гребенево». Население деревни очень симпатично и сочувственно относится к партии и соввласти и радушно принимает ее мероприятия. К тому же в Гребенево имеется несколько членов ВЛКСМ. Удивительно, как быстро, до неузнаваемости, может переродиться деревня: из темной, невежественной, сделаться новой, советской, когда ей предоставляется свободное развитие всех своих сил, помощь и поддержка со стороны партии и государства. Будем же, товарищи, бороться за новую, советскую и культурную деревню».

* * *

Характерной особенностью этого письма является то, что это пишет учитель, что само по себе говорит о растущей органической связи между сельским учителем и крестьянином.

Я думаю, излишне доказывать, насколько ценна эта связь. Она поднимает авторитет учителя в глазах населения, с одной стороны, а с другой — и самочувствие учителя улучшается, он встает своей работой, как дерево корнями, в благодатную почву, — в местную жизнь.

Вся окружающая обстановка для него приобретает особый смысл, на глазах он видит претворение в практическую жизнь великой идеи освобождения человечества от всех рабских пут. В деловом, сдержанном письме Обуздина, где описываются как бы только внешние проявления нового быта среди крестьянства, чувствуешь внутреннее удовлетворение автора, его глубокую в этом заинтересованность, что, разумеется, наполняет его жизнь, работу глубоким идейным содержанием, которое в свою очередь увеличивает энергию практического работника.

Такое взаимодействие практической работы с ее идейным содержанием делает жизнь полной, одухотворенной и дает наибольшие достижения.

VIII

С крайнего севера перейдем к юго-западу, на границу Бессарабии.

Автор письма заслуживает, чтобы его выслушали все честные граждане Советского Союза.

Я допускаю, что он немножко идеализирует действительность, но ведь не надо забывать, что эта идеализация происходит у него не

просто, а в сравнении нового со старым. При таких условиях он прав на сто процентов. Но лучше представим ему слово и пусть читатели сами непосредственно судят:

* * *

«В местечке Валегозулово (Молдавия), где живет и работает возле земли около 15.000 хлебопашцев, несмотря на то, что само наше местечко находится в отдаленности от городов и рабочих центров, и, следовательно, крестьяне не имеют той счастливой возможности соприкоснуться, сблизиться с городским старшим братом — фабричным рабочим, все-таки за время революции изменения произошли и новое тоже у нас есть.

Вместо одной земской школы и двух церковно-приходских (в которых учили лишь молитвы читать) на все местечко, растянутое на 18 верст, у нас теперь открыто 12 школ, из коих одна II ступени, 7 лет обучения, а к 10-й годовщине Октября — построена будет и 13-ая, профтехническая. Раньше в дореволюционных школах учили лишь по-русски и церковно-славянски (псалтырь читать и молитвы), а теперь по желанию можно учиться на русском, молдавском, украинском и еврейском, полная свобода всем живущим тут нациям; о притеснениях и насмешках прежних — забыто совсем.

Раньше крестьяне не имели и представления о чтении газет, а если бы кто вздумал выписать газету, то уже в полиции об этом знали, был на особом учете, а теперь большинство из грамотных крестьян выписывают газеты, и обсуждают группами обо всем, что пишется в газете. Не только не возбраняется, но поощряется и приглашаются писать о всех непорядках.

Раньше крестьянки не смели появиться даже близко около сельского схода или собрания, а теперь бывает, что на собрании пополам мужчин и женщин, да и в сельсоветы каждый год 7—9 женщин избирают.

Раньше, в особенности среди молдавского населения, жена чувствовала себя рабыней, безгласной, зачастую была избиваема мужем и не смела даже кому бы то ни было жаловаться на мужа, это считалось позором для женщины. А в настоящее время, если очень редко и случится, что по старой привычке муж позволит, то об этом известно всем и все — на стороне жен и осуждают мужа.

Важно, что это не ослабило семью, а наоборот, из слов самих крестьян, внесло в семью больше ладу и интереса. Раньше муж чувствовал себя как будто властелином, но одиноким в семье, как бы угнетателем, а теперь чувствует себя не одиноким, а лучше советуется с женой, взрослыми сыновьями и дочерьми и получается лучше во всяком хозяйском деле.

Раньше было у нас в пользовании всего 9 тысяч десятин земли, а теперь, после красного Октября, с забранными у помещиков и по-

пов, стало 20 тысяч десятин. При разделе земли раньше — близкая и лучшая земля попадала в руки кулаков, а плохая и дальняя — беднякам. А потом за бесценок тоже пользовались те же кулачки, хоть и трехполкой, но все же для них выгодно было, а теперь при землеустройстве в 1926 г. введена четырехпольная система севооборота и разделена по-дворно, едокам, с расценкой, справедливо. Раньше мы лишь слышали об агрономах, а теперь они у нас частенько лекции и курсы сельско-хозяйственные проводят. Перешли с бумажных полей на настоящую крестьянскую землю.

Раньше, когда я, пишущий эти строки, окончил народную школу первым учеником и учителя повезли в уездный город с целью определить в среднюю школу, то меня обозвали мужиком, медвеженком, учителям сделали выговор за привоз крестьянского сына и что надо было привезти и на стипендию определить сына священника, дьякона, в крайнем случае, писаря или урядника, не крестьянина бедняка (это я не забыл на 41-м году и никогда не забуду).

А в настоящее время у меня четыре племянника и 20 других крестьянских сыновей бедняков учатся на казенный счет на рабфаке и вузах.

Раньше у нас в кредитной кооперации были правленцами и главарями — попы, дьяконы, псаломщики; кредиты давались лишь куркулям, да тем, кто хорошие панихиды справляли попу, а бедняк, если какой посмел попросить, чтобы его приняли в члены и дали один — два десятка рублей, то он делался годовым батраком попу, помимо процентов.

Раньше в волостном правлении и мировом суде были ставленники помещиков; бедняк если с богатым судился, то всегда выходил виновным. В настоящее время — свои избранники; если неправ богатый, сильный, мощный, — шапку бедняк больше не снимает и не кланяется никому.

Раньше за недоимки последнюю лошаденку или корову уводили старшина с становым и урядником, а теперь — нечем уплатить налог, то совет и отсрочку, а то и совсем бедняка освобождает.

Раньше для крестьянского сына военная служба была самым большим несчастьем и горем. А теперь в Красную армию ждут и готовятся с радостью, знают, что попасть в Красную армию значит стать почетным и полезным гражданином, нужным по возвращении человеком в деревне.

Раньше, бывало, только на помещичьих землях видишь посевы рядовой сеялкой, или жнейку, а про тракторы и вовсе не было у нас слышно. А теперь все это у нас, на наших полях, мы и сами работаем недоступными раньше машинами.

Много изменений и нового, хорошего — даже в нашем глухом и отсталом селе для улучшения и просветления нашей крестьянской жизни принес Красный Октябрь. Так на первый взгляд оно-то и не заметно, а если хорошо припомнить и стать перечислять, то все и не описать.

Если вспомнить, как жилось бедняку-крестьянину раньше и осмотреться хорошо во все стороны жизни теперь, то тогда ясно станет, что крестьянский бедняк был раньше серый, и надежды в его жизни на лучшую жизнь он как бы долго ни искал, не мог бы найти и надеяться, а в настоящее время каждый бедняк труженик чувствует себя полноправным гражданином, не рабом, а строителем как своего хозяйства, так равно и государства.

Крестьянин *С. И. Григорашенко*.

П. о. Валегозулово, Молдавская Республика.

* * *

Боюсь, что меня обвинят в односторонности, что я преднамеренно беру письма авторов, относящихся не только положительно, а и с некоторой восторженностью к Советской власти.

Да, действительно, я привожу тех авторов, которые видят ростки новой жизни, да не только видят, но и растят их собственными усилиями.

Помещением их писем я, по мере сил и возможности, стараюсь помочь их энергии, укрепить еще больше волю их в работе.

Наш Советский Союз очень велик, с большой разницей в культуре населяющих его народов.

Конечно, в нем есть деревни и, вероятно, целые волости, где еще слабо проявилось влияние Советов.

Для наглядности приведу письмо: «Рабфаковец на каникулах».

«Десять лет я не был в родной деревне. Малышем уехал. Раньше работал в шахте, на заводе; в начале революции поступаю добровольцем в Красную гвардию, а там Владимир Ильич строчит воззвание идти в Красную армию.

Пошел добровольцем; фронты, арест Калмыковым, побег от него и результат — два года с половиной партизанской и на рев. армии службы. Велик и тяжел был путь. Наконец, в ученьи в рабфаке, и только 1 июня 1926 г. еду проведать свою родную деревню.

Деревня опечалила меня, она осталась почти той же, с теми же обрядами, только вместо старосты стал член сельсовета, а председателя нет.

Попрежнему по деревне кадится старое кадило попа.

В родной хате произошла перемена, вместо икон в переднем углу стояла на божнице чайная посуда, а на стене величаво красовался портрет Ильича. Двор стоял полуразрушенный. Немного смутила меня смерть старика отца. Он умер 18 ноября 1925 года на 76-м году от рождения.

Про отца мне рассказывали, что он за две недели до смерти разбил на щепки лежащую в углу покрытую пылью икону Николая чудотворца и выбросил в окно на улицу.

Женщины-крестьянки подобрали щепки, а деревня посчитала отца за сумасшедшего.

Отец, умирая, приказал похоронить его без участия попа. Брат исполнил просьбу отца, и умершее тело его увезли с пением, с красным знаменем, с лозунгами «за новый быт».

Пока старая деревня встретила меня с вином. Я отказался, да и раньше не пил. Эх! Не в вине наше счастье, наше счастье — борьба за светлое будущее. Взамен вина я развесил на стене большую географическую карту, на которой собравшимся крестьянам показывал реки, моря, океаны и материка.

Из материков я остановился на большом одном, обвел его карандашем и указал им: «вот здесь властвуют рабочие и вы, крестьяне, здесь торжествует труд, это наша могучая, гордая СССР с развевающимся красным флагом, а вокруг ее властвует капитал. Там стонут рабочие. Вот здесь в капиталистической буржуазной Англии бастуют сотни тысяч рабочих углекопов, а вот здесь в Болгарии восстают крестьяне против угнетателей, их села жгут буржуазные наймиты, палачи, оставляя крестьян без крова».

Крестьяне жадно смотрели на меня и на карту, они не верили себе, как это так: бедный сын крестьянина, батрак, говорит им о всемирном событии, — это для деревни было удивительно. Итак, одни уходили, другие приходили, пока прошел праздник.

Наступила летняя жаркая пора. Крестьяне принялись за работу, им теперь не до политики.

Я приступил к выработке плана постройки памятника.

Через полторы недели, с некоторыми промежутками, построили своим трудом памятник отцу. Над памятником засияла красная звезда. Пусть глядит старая деревня, как мы чтим память всех тех, которые честно трудились и умерли с нуждой. На красной пятиконечной звезде сверкают золотым лучем серп и молот в честь шестидесятилетнего честного труда.

Отец до 20 лет работал по крестьянству, с 20 лет пошел в Одессу из Смоленской губернии, работал на прокладке Екатерининской дороги, работал каменщиком на закладке доменной печи Юзовского завода. На 47-м году принялся опять за крестьянство. Когда еще в деревне были курные избы, он первый в своей деревне сложил русскую печь. Он первый повел борьбу в деревне за лучший быт, за культуру, за свет, за знание. Психология рабочего повлияла на старика, и он был непоколебим.

С левой стороны памятника в вделанной железной бланке я сделал надпись:

«Ты, труженик наш верный, трудился до старости лет. Тяжелый свой труд неимоверный оставил мне в завет. Ты учил меня бороться и трудиться, труды крестьянина не забывать, в борьбе беднякам свободы добиться, будет чем и за что вспоминать».

Никто не дал нам избавленья, ни бог, ни поп, ни царь-палач и ни герой. Добились мы освобождения своей упорною борьбой.

Теперь никакая на свете работа для мозолистых рук не страшна, и ничья от народного пота не разбухнет уж больше мошна».

Памятник нового быта деревни, поставленный для образца молодому поколению деревни — как почитать память родителей. Памятник без участия попа обошелся дешевле, лучше и долговечнее, он всего стоит 200 штук кирпича — 6 рублей, 30 фунтов цемента — 1 руб. 50 коп., $\frac{3}{4}$ листа железа — 1 руб., краска и лак — 1 руб. 50 коп., итого — 10 руб. плюс работа.

Памятник старой деревни стоит следующее: за похороны попу — 10 руб., напоить 2 раза допьяна и накормить — 5 руб., отслужить годовщину — 3 руб., венок и удостоверение на тот свет — 50 коп., пособоровать — 3 руб., итого — 21 руб. 50 коп. плюс панихида 3 раза в год и 5 штук яиц на радоницу.

О новом памятнике мне пишет брат письмо от 7 декабря 1926 г. из Смоленской губернии, Рославльского уезда, Корсиковской волости, дер. Марьинск, — вот выдержка из письма: «Памятник стоит благополучно, на славу. Все деревни пересмотрели его. К нему через кладбище проложена дорога притекающими зрителями, даже и евреи из местечка Хотимска — и те приезжали, у меня спрашивали о искусстве его. Я на осенние родичи (поминки) посетил эту могилу с гармонией и молодежью. Пели похоронный марш, снимали фуражки и вешали на памятник. Поп приезжал служить на могилки (на кладбище), увидел памятник, не стал проходить кругом памятника, а миновал его и вызвал во всех смех, а я как заиграл на гармошке, то и попа бросили все. Будь здоров. Костя».

* * *

Как видите, сторонник и активный борец за советы, возвратясь в деревню после десятилетнего отсутствия, не нашел в ней нового советского; наоборот, деревня бросилась в глаза своим старым бытом.

Но, мне кажется, автор письма плохо смотрел. Он просмотрел, что он сам есть олицетворение, или, правильнее, составной элемент новой деревни. Он совершенно упустил из виду, что его лекции по политгеографии, это ведь тоже нечто новое. Да, наконец, разве было возможно в старой деревне выбросить за окно иконы. Я не сомневаюсь, что и в производственной и в культурной части деревни произошло значительное изменение, даже в родной деревне рабфаковца, если бы он внимательно к этому присмотрелся. Но ему это сделать почти невозможно, он ушел из деревни молодым юношей, она ему тогда казалась близкой, родной, ее отрицательные стороны ему были незаметны и когда он десять лет вместе с революцией, с рабочим классом рос революционно, разница получилась та, что он ехал по железной дороге, а деревня шла пешком.

Поэтому, когда он возвратился, ему казалось, что его деревня не сдвинулась с места, что, конечно, неправильно. Она не только сдвинулась, но значительный прошла путь. Разумеется, этот путь, по срав-

нению с рабочим классом, в особенности с его революционной частью, к которой принадлежит автор, слишком короток. Вот почему он не видит громадных и положительных изменений быта в деревне.

* * *

У меня под рукой письмо, подписанное просто «гражданин». Уже сама подпись есть новое, именно — народился гражданин. Крестьяне, когда обращаются к неизвестному, обязательно именуют — гражданин.

Так вот что пишет гражданин Ардатовского уезда, Ульяновской губернии:

«Вечер — канун рождества, я сел это писать и слышу на улице хор песенников, дружно поют какую-то полувоенную песню из казацкого быта, — и нагорело бы им за десять лет назад от всего села и проклятие с церковного амвона..., а теперь эти стражи безвозвратно испарились. На утро, — по проходящим богомольцам, — надо полагать, в церкви было около 5% старого времени.

На общих общественных, кооперативных собраниях заурядное явление — в президиумах сидят комсомолец и культурник. Стремление к просвещению, особенно у мужской молодежи, усиленное. Любовь к чтению по сельскому хозяйству, политике, антирелигиозным вопросам и др. сознательно крепит привязанность к своей народной Советской власти. Газеты стали потребностью. В избах-читальнях бывают читки газет, собрания организаций — комсомола, сел.-хоз. секции, издания стенгазеты, на стенах — изобилие лозунгов по кооперации, уголок Ильича, красный уголок, сельское хозяйство и другие; в некоторых селах избы-читальни и даже школы нет — там плоховато; зато бывают спектакли из современной жизни. Жаль, число активистов малое. Из учительства члены работают удовлетворительно. Студенты на каникулах в деревне работают очень хорошо. Крестьяне выписывают газеты, преимущественно «Крестьянскую», во многих избах имеются отрывные календари. Революционные праздники пока справляют активисты, комсомол, школьники, кооперация и сельсовет.

Религиозный фанатизм выветривается, и крестьяне при посещении друг друга саженные кресты уже не отмеривают».

* * *

Видите, бесстрастен, как летописец Нестор, — пишет только то, что видит. В письме стремится как бы обозреть происходящее со стороны и, пожалуй, со стороны-то ему виднее, что происходит в деревне. И характерно, что, примечая новое в деревне, не затрудняется в поисках, оно как бы насильственно прет в глаза наблюдателю.

Если новое, советское, заметной струей пробивается в русской деревне, то тем более резкое изменение происходит в деревне национальных меньшинств.

Кто же не знает, каково было положение в России других национальностей? К бесправию русского крестьянина прибавлялось еще так называемое национальное бесправие; и здесь русское правительство вело наиболее разбойную политику. Оно, во-первых, наполняло местности с нерусским населением колонизаторским элементом и, во-вторых, стремилось связать этих рыцарей первоначального хищнического накопления с местными эксплуататорами, паразитами народа, буквально отдавая его на поток и разграбление. Хотя прошло уже десять лет; отделяющих это подлое время от настоящего, все же и сейчас еще более старое поколение ненавидит русских, боясь старого порабощения.

К сожалению, моя статья уже переросла предполагаемые размеры, и я не могу полностью огласить письмо Магомед Яндарова, с. Старый-Юрт, Чеченской Автономной области, где рассказывается вся история Чечни, от завоевания ее русскими до настоящих дней.

Автор говорит, что царское правительство, помимо политического давления, буквально обобрало крестьян, наделяя их землями палачей народа, как-то:

«Князю Таймазову — 4.700 дес. от населения Мундар-Юрта и 3.000 дес. с Брагуны, итого — 7.700 дес.;

князю Бекович-Черкасскому от с. Старого-Юрта — 8.000 дес., Кень-Юрта — 1.800 дес. и Зибир-Юрта — 6.000 дес., итого — 15.800 дес.; кн. Алканову от сел. Али-Юрта и Нопой-Мирза-Юрта — 5.000 дес.; кн. Эльдарову от с. Мунадар-Юрта — 2.700 дес.;

кн. Турнову от сел. Нижнего и Верхнего Науров — 6.000 дес., с Зибир-Юрта — 2.400 дес., всего 8.400 дес.;

полковнику Адуеву — 3.200 дес.;

полковнику Эльшураеву — 6.000 дес.

Всего княжеских и чиновнических земель около 50.000 десятин, а весь участок, вместе с этими землями, около 100.000 дес., с населением 28.500 душ. Выходит, 7 человек имели столько же земли, сколько 28.500 человек. По остальной Чечне у меня нет сведений, а потому воздерживаюсь, но во всяком случае в той части, о которой у меня не имеется точных сведений, земли урезано больше, чем в Надтеречном участке, так как в той части земли, кроме помещиков, заселены казачьими станицами.

После организации власти на местах, начали проводить в жизнь декреты и законы рабоче-крестьянского правительства. Земли отобрали у частновладельцев и без выкупа переданы трудовому народу, таким образом, чеченец стал хозяином земли.

Землеустроительные работы, которые проводятся и частично проведены, дают возможность вырваться бедняку из цепких лап кулака; бедняк будет знать, сколько у него земли, и может пользоваться своею землей, а кулак будет лишен возможности эксплуатировать его. Кроме того, хорошая подмога бедняку-крестьянину закон о едином по фактически использованной земле и частичное освобождение бедняка цели-

ком, а середняка на усмотрение. Все эти мероприятия укрепляют мощь хозяйства.

Было установлено, что в Чечне до 70 процентов сифилитиков, 60 процентов малярийных и т. д.; в общем итоге можно сказать, что на одного человека приходится $2\frac{1}{2}$ болезни, — наследие царя и Деникина. Теперь в каждом районе лечебные пункты, больницы, а в некоторых районах и по две больницы. Затем, по селениям раз'езжают санитарные отряды, помимо этих больниц. В каждом районе — ветеринарные пункты, через каждый месяц врач с командой об'езжают все селения района для проверки состояния животных (скота и лошадей).

Особое внимание Советским правительством обращено на народное образование. Во всех селениях имеются школы как на русском, так и на чеченском языках на латинской графике. Помимо школ для детей, имеются во всех селениях и хуторах ликвидационные пункты для взрослых по ликвидации неграмотности.

Имеются специальные учебные заведения. Педагогические сельскохозяйственные техникумы, 2 ступени школы, курсы секретарские, кооперативные и др. Во всех средних учебных заведениях и рабфаках имеется молодежь Чечни — почти во всех ВУЗ'ах, — и, таким образом, в течение 4—5 лет мы будем иметь своих спецов по всем отраслям, — учитель, агроном, землемер, инженер, профессор и вообще по всем специальностям чеченцы будут иметь своих, из своей среды, пользующихся доверием трудового чеченца.

Как путь к просвещению, во многих селениях открываются почта и телеграф. По всем уголкам проведен телефон, началась частичная электрификация.

До сих пор недоступные горы покрыты сетью шоссейных дорог, устраиваются водопроводы, орошение полей прорытием каналов: Атапо-Гайтинский им. тов. Ленина, канал Шалинский, Старо-Сунисенский, Алдинский и т. д. и сушка болот, все эти мероприятия облегчают жизнь бедняку.

Открыты во всех селениях ЕПО, частник почти вытеснен. Сельско-хозяйственные кредитные товарищества и организации ККОВ дали свои результаты; весь сельско-хозяйственный инвентарь обновлен. Имеются тракторы, сеялки, веялки, молотилки, и чеченцы говорят: «Обязанности и работа человека выполняются машинами».

Бандитизм изжит, и народ пришел к труду. Советская власть, устранив все виды эксплуатации темной массы при царизме, научила, как пользоваться землею, машиною, а также, открывая кредиты на приобретение скота и на улучшение сельского хозяйства, поставила чеченца на твердые ноги, и мы часто слышим: — «Теперь кадет власть нет, теп'ерь наш власть». Этим чеченец хочет подтвердить, что Советская власть доступна чеченцу, как кому бы то ни было. Нет ни классовых, ни национальных подразделений. «Все мы равны», слышится голос горного чеченца».

* * *

Я думаю, что тов. Яндаров не слишком приукрашивает действительность. Конечно, не в далеком прошлом Чечня была чуть ли не в прямой войне с царизмом, — во всяком случае, никакие полицейские расправы не могли уничтожить там систематических расправ со ставленниками царизма.

Все, что представляло собою «правительство», считалось открытым врагом чеченского народа. Между поселенными казаками и чечней также шла непрерывная вооруженная с обеих сторон борьба.

Казаки чеченцев не считали за людей, чеченцы платили им той же монетой.

Теперь, когда чеченцы получили автономию, ответственность за благоустройство и развитие страны легла на них. Они сразу же почувствовали себя полноправными гражданами и не только своей маленькой Чечни, а всего Союза. Вот почему им близка Советская власть; она, по сравнению со старым строем, отличается, как небо от земли.

Затем они административно входят в Северо-Кавказский Край, очень богатый, имеющий местный бюджет свыше ста миллионов рублей, который краевыми средствами действительно дает возможность подыматься народности края экономически и культурно.

Но советский строй дает возможность развития именно своей системой, ибо и другие народы, находящиеся в менее благоприятных материальных условиях, также растут культурно и политически.

Вот что пишут из далекой Бурято-Монгольской Автономной Республики:

«Шестой год на далекой глухой окраине Советского Союза Сибири мы, бурято-монголы, видим существование Советской власти у нас. Трудно было, — говорят теперь пожилые мужики-буряты Усть-Тугнуйского сомона. — В первые годы существования Советской власти у нас тут ездили белые отряды Семенова и другие. Угоняли мужиков и подводы, грабили, убивали, насильничали попавшуюся им любую женщину.

Страшно ненавидели буряты белых, — иногда, где возможно, выдавали их красным. Скоро Семенов и другие генералы были от нас угнаны, дальше наступила Советская власть. Стали у нас сомонные ревкомы учреждать и продрозверстку собирать. Тут у нас богатеи завопили лихим матом: ревкомы, ревкомы, соввласть, грабят! Кричали: «долой коммунистов». Налог не должны брать, раз соввласть; богатеям жалко было давать хлеб в казну и все кричали. Но мы, буряты бедняки, с помощью ревкомов умили кулаков. Прошел год, другой, жить все становилось лучше. Продналог отменен, стал единый сел.-хоз. налог. Много стало свободы, стали посвободнее дышать; разные организации и проч. стали появляться, ревкомов уже

не стало, а вместо них сомсоветы, хош-исполкомы. Много говорили о новой жизни, стали открывать ликпункты. У нас в хошуне открыли избы-читальню, стали просвещаться, ходить туда, узнавали там, как под руководством вождя Ленина рабочие и крестьяне совершили Октябрьскую революцию и как построили рабоче-крестьянское советское государство. Какое освобождение дало совгосударство бурятам, угнетенным при царизме и т. д. Узнав про все, буряты стали строить свою жизнь по-новому. Теперь у нас нет прежних (ноеков) начальников, урядников, а на место их в совете, в хошунном уисполкоме — тот сосед, который среди нас рос и трудился с нами. Они лучше знают нужду своих односельчан и помогают многому.

У нас, особенно у граждан Усть-Тугнуйского сомона, самосознание растет. Наследие царизма, как темнота и одурманивающая темных бурят религия, начинает отходить в область предания. Открываются у нас школы, избы-читальни. У всех политические права, каких раньше не было. Имеются у нас партийцы, комсомольцы и пионеры, которые работают по-ленински и являются застрельщиками новой жизни, социализма, о котором раньше из нас, темных, угнетенных, никто не знал.

За шесть лет совласти у нас достижения велики, культурный шаг идет вперед; например, у нас, в Усть-Тугнуйском сомоне, открылась школа по инициативе самих крестьян; здание школы и внутреннее оборудование производилось за счет крестьян, крестьяне сомона сами постановили построить школу помимо помощи государства; есть ликпункт, кооперативы и другие организации.

Одно веское слово, что наш советский уголок—Усть-Тугнуйский сомон—строит социализм в своем сомоне.

Таким образом, из года в год мы закрепляем великие заветы Ильича и великие завоевания Октябрьской революции в нашем маленьком сомоне.

Бурят *Ф. Бальбуров.*

Усть-Тугнуйский сомон, Верхне-Удинского уезда.

* * *

На письме тов. Бальбурова мы кончаем описание современной, действительной крестьянской жизни к юбилейному торжеству великой Октябрьской революции.

Мы не привели и сотой доли полученных нами писем.

Мы совершенно отложили письма, рисующие частные недостатки власти, или просто нехватки крестьян, ибо кто же из нас не знает, что в новом строительстве, где заняты десятки миллионов трудящихся, угнетенных в недавнем прошлом, недавно разбуженных от политического сна, лишь до известной степени освобожденных от

религиозного тумана, все же осталось еще много невежества, дикости, крестьянской бедности и полного неумения культурно работать.

Но никто у нас не отнимет великого завоевания трудящихся, которое так непосредственно выразил тов. Ф. Бальбуров: «Одно веское слово, что наш советский уголок — Усть-Тугнуйский сомон — строит социализм. Таким образом, из года в год мы закрепляем великие заветы Ильича и великие завоевания Октябрьской революции в нашем маленьком сомоне».

Это золотые слова, это наибольшая опора Советского Союза от империалистов.

Прошло десять лет существования Советов, за это время прошла на наших глазах огромная хозяйственная и культурная работа. Каждый крестьянин, чтобы узнать, двигаемся ли мы вперед, должен мысленно, хотя бы по этим письмам, приведенным в статье, бросить взгляд на историю крестьянства, хотя бы за последнюю сотню лет и тогда ему будет ясно, насколько мы находимся в лучшем положении, чем жили не только наши отдаленные предки, а и наши отцы.

Но жизнь не стоит на месте, вместе с улучшением экономического положения, с повышением культурности, растут с каждым днем и потребности крестьянина. И сейчас настоящий смотр наших достижений не есть предел, на котором мы должны остановиться, или, по крайней мере, уменьшить темп наших напряжений. Нет, десятилетие есть только историческая дата, один момент — как бы для оправдания. Когда человек работает в горячую пору, у него бывают передышки, которыми он пользуется, чтобы взглянуть, сколько им наработано. Так и мы пользуемся юбилейной датой, чтобы взглянуть, что сделано рабочими и крестьянами за десять лет. И, мне кажется, сделано не мало, и то, что сделано не мало, подтверждают тысячи крестьянских писем.

Но, как говорит народная пословица, чем дальше в лес, тем больше дров. Так и у нас: выполнение тех или других больших сооружений, достижения в какой-либо отрасли промышленности ставят перед Союзом еще более трудные задачи. Заработал Волховстрой, начали Днепрострой и Свирстрой, вместе в пять раз больше, чем Волховстрой, починили железнодорожные пути, необходимо начать строить новые, — и уже начали: Семиреченская дорога — 1.700 верст и т. д.

Работы не только не уменьшается, а с каждым годом растет ее объем, привлекая новых строителей. Каждое новое большое строительство, помимо того, что несет массу новых возможностей, как Волховстрой, который дает сейчас 50 тысяч лошадиных сил энергии на ленинградские заводы, — около таких строительства возникают новые культурные пролетарские очаги, которые преобразуют жизнь окружающих деревень, приближая деревню к городу.

Кончая юбилейный обзор, я не сомневаюсь, что надеждам белогвардейцев и их союзников — меньшевиков и «народников» — ни в малейшей степени не сбыться, как они не сбывались до сих пор. Нет никакого резона и основания беднейшему и среднему крестьянину идти на соблазнительный зов эмигрантской сирены. Ибо позади крестьянства имеется длиннейшая история его бесконечного страдания, издевательства и надругания над ним предков бежавших за пределы Союза потомков, которые за соблазнительным пением о благе народа скрывают яд жестокого мщения рабочему классу и крестьянству.

Будущее крестьянства Союза — не позади, а впереди, в Советах, под руководством рабочего класса, в теснейшем с ним союзе.

Крестьянство, его беднейшая и середняцкая часть, вместе с рабочими, строит и на деле построит новый социалистический мир. По рукой этому является его славная новая история десятилетней борьбы, победы, строительного творчества и растущих успехов в нем.

Хождение по мукам

Роман

А. Л. Т О Л С Т О Й

Продолжение 1)

Весь день грузились военные тележки, и поздней ночью обоз ушел. Село было ограблено, выпутошено. Нигде не зажигали огня, не садились ужинать. По темным хатам выли бабы, зажав в кулаке бумажные марки... Было с чего плакать, — от труда целого года, от забот, бессонных ночей — осталась горсточка бумаги.

Ну, поедут мужик с бабой в город с этими марками, походят по лавкам, — пусто: ни гвоздика, ни аршина материи, ни куска кожи. Фабрики не работают. Хлеб, сахар, мыло, сырье — поездами уходит в Германию, будто приставлен большой насос — выкачивать живые соки. Не рояль же мужику с бабой, не старинную голландскую картину, не китайский чайник везти домой. Поглазеют на чубастых, с висячими усами, гайдамаков, — в синих свитках, в смушковых с алым верхом шапках — едут они на конях, совсем как при Богдане Хмельницком. Потолкаются на главной улице среди сизо-бритых, в котелках, торговцев воздухом и валютой. Вздохнут горько и едут домой порожняком. А по дороге — верст двадцать от'ехали — стоп, загорелись оси на вагонах, — нет смазки, машинного масла: немцы увезли. Песочком засыпят, поедут дальше, и опять горят оси.

От этого всего бабы и выли, зажав в кулаке смятые германские марки, а мужики прятали скотину в лесные овраги, подальше от греха, — кто, ведь, знает, какой на завтра расклеят гетманский универсал!

В селе не горел ни один огонек. Только за рощей над озером ярко светились окна княжеского дома. Там управляющий чествовал ужином германских офицеров. Играла военная музыка, — странной жутью неслись звуки немецких вальсов над темным селом, по темным полям. Вот, огненным шнуром, чорт знает, в какую высь поднялась ракета на потеху немецким солдатам, стоявшим на дворе перед княжеским домом, куда выкатили боченок с пивом. Лопнула. И соломенные крыши, сады, ивы, белая колокольня, плетни озарились медленно па-

¹⁾ См. „Новый Мир“, №№ 7, 8, 9 и 10 с. г.

дающими звездами. Много невеселых лиц поднялось к этим огням. Свет был так ярк, что каждая морщинка выступила на лицах. Жаль, что их нельзя было заснять в эту минуту при помощи какого-нибудь воздушного аппарата. Во всяком случае такие снимки дали бы большой материал для размышления германскому главному штабу.

Даже в поле, за версту от села, стало светло, как днем. Несколько человек, пробиравшихся к одинокому стогу, быстро легли на землю. Только один, у стога, не лег. Упираясь кулаками в бока, задрал голову, широко ухмыльнулся:

— Ишь ты, трах-тарарах ее, курицыну мать! Вот так ракета!

Звезды осыпались, стало черно. У стога сошлись люди. Зазвякало бросаемое на землю оружие.

— Сколько всего?

— Десять обрезов, товарищ Кожин, четыре винтовки.

— Мало...

— Не успели... Завтра ночью еще принесем.

— А патроны?

— Вот, держи,—в карманах... Патронов много.

— Ну, прячь, ребята, под стог... Да куда ты, чорт, штыком тычешь, — мертвый я тебе?.. Гранат, гранат, ребята, несите... Обрез — это стариковское оружие, — сидеть за кустом в канаве, в засаде... Выстрелил, в портки навалил, и—все сражение... А молодому бойцу нужна винтовка и—первая вещь—граната. Поняли? Ну, а уж кто может, то — шашка. Она — всем оружием оружие.

— Товарищ Кожин, а нынче ночью бы это устроить.

— Всем селом поднимемся... Ей-богу... Такая злоба, — ну, живое отняли... С вилами, с косами, можно сказать — со всем трудовым снарядом пойдем... Да их, сонных, перерезать легче легкого...

— Это кто, ты — командир?—крикнул Кожин рубящим голосом. Помолчал. Заговорил сначала вкрадчиво, потом все повышая. — Кто здесь командир? Антиресно... Али я с дураками говорю? Али я сейчас уйду, пусть вас немцы, гайдамаки, помещики бьют и грабят... (Шопотом — матерное...) Дисциплины не знаете! Али мало я шашкой голов срубил за это? (Оборвал. Ниже голосом.) Когда едешь в отряд — клятву должен дать о полном, беспрекословном повиновении атаману, али батьку, али командиру... Иначе—не ходи; у нас—воля, пей, гуляй, а гикнул батько: на коня! И ты уж не свой. Поняли? (Помолчал. Примирительно, но строго.) Ни нынче и ни завтра немцев трогать нельзя. Тут нужна большая сила.

— Товарищ Кожин, нам бы хоть до Григория Карловича добраться,—он нам все равно жить не даст.

— Что касается управляющего, то — можно, но не раньше будущей недели,—иначе я с делами не управлюсь... (Поправил шапку, сплюнул.) На-днях в Осиповке германец изнасиловал бабу. Хорошо.

Та ему в вареников иголок и подсыпала. Поел он, выскочил из-за стола, — на двор. Закричал, брякнулся и — дух вон. Немцы эту бабу тут же прикончили. Мужики—за топоры... Эх, и вспоминать не хочется... Теперь и места этого, где Осиповка стояла, не найдешь... Вот, как самосильно-то, тяп да ляп! Поняли?

Матрена вздыхала, ворочаясь на постели. Начинало светать, пели петухи. Ложилась роса на подоконник открытого окна. Жужжал комарик. На шестке проснулась кошка, мягко спрыгнула и пошла нюхать сор в углу.

Братья вполголоса разговаривали у непокрытого стола: Семен—подперев руками голову, Алексей—все наклоняясь к нему, все заглядывая в лицо:

— Не могу я, Семен, пойми ты, родной. Матрене одной не управиться с хозяйством. Ведь тут годами коплено, — как бросить? Разорят последнее. Вернешься на пустое место.

— Как бросить?—сказал Семен.—Себя нужно бросить. А пропадет твое хозяйство, не пропадет, — скажи, какая важность. Победим,—каменный дом построишь. (Он усмехнулся.) Мир перевертывается, а ты со своим меринком.

— Опять говорю,—кто вас кормить будет?

— А ты и так не нас кормишь, — гетмана да всякую сволочь имперьялистов. Раб.

— Постой. Я не раб. — Алексей погрозил пальцем. — В семнадцатом году я не дрался за революцию? В солдатский комитет меня не выбирали? Имперьялистического фронта я не разлагал? Нет? То-то... Погоди меня срамить, Семен... И сейчас, ну,—подойди Красная армия, я первый схвачу винтовку. А куда я пойду в лес, к каким атаманам?

— Для борьбы сейчас и атаманы пригодятся.

— Так-то так.

— Рана проклятая связала меня. — Семен вытянул руки по столу. — Вот — моя мука... А наших черноморских ребят много пошло в эти отряды... Зажжем всю Украину, дай срок...

— Кожина ты видел еще?

— Видел.

— Что говорит?

— А то мы с ним говорили, что скоро освещение устроим у вас в селе.

Алексей взглянул на брата, побледнел, опустил голову:

— Да, конечно бы, следовало... Торчит эта проклятая усадьба, как бельмо... Покуда Григорий Карлович жив, он нам дышать не даст...

Матрена спрыгнула с постели, в одной рубашке, — только накинула шаль, с розами, — подошла и несколько раз постучала косточками кулака по столу:

— Мое добро берут, я терпеть не стану! Мы, бабы, скорее вас расправимся с этими дьяволами, с немцами...

Семен неожиданно весело взглянул на нее:

— Ну? Как же вы, бабы, станете воевать? Интересно.

— Будем воевать по-бабьему, хитростью. Сядет он жрать, — мышьяку... Порошки эти мы достанем. Или на сеновал его заманила, или в баню, — вязальной иглы, что ли, у меня нет? Так суну в это место — не ахчет. Мы-то начнем, только вы не сробейте... А надо, — и мы с винтовками пойдем, не хуже вас...

Семен схватил ее за бока, засмеялся во все горло:

— Вот это — баба, ух ты, чорт, люблю за это.

— Пусти. — Махнув шалью, Матрена у порога сунула босые ноги в башмаки, постучала ими и ушла, должно быть, посмотреть скотину. Семен и Алексей долго качали головами, усмехаясь: «Атаман-баба, ну и баба». В открытое окошко залетел предрассветный ветерок, зашуршал листьями фикусов, и донеслось бормотанье и обрывки какой-то нерусской песни. Это возвращался из усадьбы жилец-немец, сильно пошатываясь и пыля сапогами.

Алексей со злобой захлопнул окошко:

— Пошел бы ты, Семен, к себе, лег.

— Боишься?

— Да привяжется пьяный чорт... Он помнит, как ты на него кидался.

— И еще раз кинусь. — Семен поднялся, пошел было к себе. — Эх, Алеша, революция из-за этого погибает, что вас раскачать трудно... Корнилова вам мало? Гайдамаков, немцев — мало? Чего вам еще? Устал народ... Или природа такая ленивая... (Он вдруг оборвал...) Постой..

На дворе послышалось бормотанье, тяжело, неуверенно затопали сапогами. Раздался злой женский крик: — «Пусти!...» — Затем — возня, сопенье и опять, еще громче, как от боли, закричала Матрена: — «Семен, Семен!...».

На кривых ногах, бешено выскочил Семен из хаты. Алексей только схватился за лавку, остался сидеть, — все равно, он знал, что бывает, когда так кидаются люди. Подумал: — «Давеча в сенях топор оставил, им — значит... Диким голосом вскрикнул Семен на дворе. Раздался хряский удар. На дворе что-то зашипело, забулькало, грузно повалилось.

Вошла Матрена, белая, как полотно, — тащила за собой шаль. Прислонилась к печи, дыша высокой грудью. Вдруг замахала руками на Алексея, на глаза его... Взглянула, ахнула, побежала и по локоть сунула руки в ведро с водой.

В дверях показался Семен, спокойный, бледный:

— Брат, помоги, — унести его надо куда-нибудь, закопать...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Немецкие войска дошли до рубежей Дона и Азовского моря и остановились, заняв Таганрог, затем — Ростов.

Крупных боев не было. Красные части уходили на север и за Волгу. Немцы овладели богатейшей областью, бо́льшей, чем вся территория Европы. Здесь, на Дону, так же, как на Украине, германский главный штаб, разобравшись в экономике и взаимоотношениях населения, немедленно вмешался в политику и укрепил крупное землевладение, — станичников, коренное казачество, которое, всего года четыре тому назад, хвалилось с налета взять Берлин. Эти самые чубастые, с красными лампасами, широколицые казаки, крепкие, как литые из стали, — были теперь для немцев ручными овечками.

Еще немцы не подходили к Ростову, как уже десятитысячная казачья армия, под командой походного атамана Попова, бросилась на донскую столицу Новочеркасск. В кровопролитном бою на высоком плоскогорье — по-ряд Доном красные — новочеркасского гарнизона и подоспевшие из Ростова — стали одолевать донцов. Но дело решил фантастический случай. Из Румынии пешком шел добровольческий полк полковника Дроздовского. 22 апреля он неожиданно ворвался в Ростов, держал его до вечера и был выбит. Дроздовцы плюнули и ушли в степи — искать корниловскую армию. Но в пути, 25 апреля, услышали под Новочеркасском шум битвы. Не спрашивая, — кто, почему и зачем, — повернули к городу, врезались с броневиком в резервы красных и произвели отчаянный переполох. Увидев с неба свалившуюся помощь, донцы перешли в контратаку, опрокинули и гнали красных пятнадцать верст. К вечеру Новочеркасск был занят. Власть от ревкома перешла к кругу спасения Дона. А затем подошли и немцы.

Под их покровительством казачий круг в освобожденном Новочеркасске, — куда немцы благоразумно не ввели гарнизона, — вручил атаманский пернач генералу Краснову, родом казаку, придворному кавалеру, бойкому писателю, отчаянному вояке и, как он сам выражался, — «личному другу императора Вильгельма». Зазвонили малиновые колокола в соборе. На огромной булыжной площади казачество закричало: ура! И седые казаки сказали: «Ну, в добрый час, дай боже теперь, чтобы нашим врагам очи повылазили».

Врагов было много, и на Дону по станицам, и в особенности на Кубани, где по железнодорожным магистралям оперировали отряды одиннадцатой Северокавказской Красной армии.

Немцы лезть в эту кровавую кашу не пожелали. Они попытались было замирить Батайск, — станицу, лежащую на левом луговом берегу напротив Ростова и населенную рабочим людом ростовских мастерских и фабрик и пригородной беднотой. Но, несмотря на ураганный огонь и кровопролитные атаки, взять его так и не смогли. Батайск сопротивлялся отчаянно и остался независимым.

Немцы остановились на этой черте. Они ограничились укреплением атаманской власти и подвозом оружия, взятого из русских военных погребов на Украине. Пушки, винтовки, пулеметы, снаряды они обменивали в Новочеркасске и Ростове на хлеб, шерсть и кожи. Такой товарообмен был крайне выгоден для обеих сторон.

Так же тактично был разрешен колкий вопрос об отношении к обеим добровольческим группам, — деникинской армии и дроздовскому отряду. Добровольцы исповедывали две заповеди: уничтожение большевиков и возобновление войны с немцами, — то-есть верность союзникам до гроба. Первое казалось немцам разумным и хорошим, второе они считали не слишком опасной глупостью. Поэтому они сделали вид, что не знают о существовании добровольцев. Дроздовцы и деникинцы тоже сделали вид, что не замечают немцев на русской земле. Подчас игра судьбы ставила жестокие загадки, но добровольцы разрешали их, зажмурив один глаз.

Так, во время похода из Кишинева на Ростов, дроздовцам пришлось переходить реку. С одной стороны ее, в Бериславле, стояли немцы, с другой, у Каховки, большевики. Первый враг был национальный, второй — классовый. Большевики стреляли в это время из пушек по немцам, стараясь не допустить их на мост через реку. Немцам, видимо, драться не было большой охоты. Перед дроздовцами лежал мост, почти что символический. Они сделали выбор, форсировали мост, ворвались в Каховку, перекололи русских со звездами на фуражках и, не принимая с той стороны реки никакой благодарности, ушли дальше.

Такая же, но в более крупных размерах, встала загадка и перед Деникиным. В конце апреля растерзанные остатки Добровольческой армии кое-как добрались до района станиц Егорлыцкой и Мечетинской, верстах в пятидесяти от Новочеркасска. И здесь неожиданно пришло спасение, — весть, что Ростов занят немцами, Новочеркасс — донцами.

Большевикам было теперь не до деникинцев. Они стягивали буйствующие, раздраженные неудачами полки, чтобы со стороны Тихорецкой ударить по Ростову. Добровольцы могли, наконец, передохнуть, подлечить раненых, собраться с силами. В первую голову необходимо было пополнить материальную часть армии.

Все станции от Тихорецкой до Батайска были забиты огромными запасами военных материалов для готовящегося наступления на Ростов. Крупные красные силы находились уже под Батайском. Тогда генералы Марков, Богаевский и Эрдели тремя колоннами бросились в ближайший тыл красных, на станциях Крыловская, Сосыка и Ново-Леушковская разбили эшелоны, взорвали бронепоезда и, с непомерной награбленной добычей, ушли назад, в степь. Наступление Красной армии было сорвано. Немцы остались очень довольны и много смеялись такой игре судьбы.

В задачи германского главного штаба не входило, разумеется, укрепление революционных и, с другой стороны, контрреволюционных сил в России. То и другое было хлопотно и опасно. Им была нужна покорная, примиренная со своей участью страна мирных земледельцев. Штаб искренно верил в то, что гетман в Киеве, атаман в Новочеркасске, а если поможет бог, то и ставленный царь в Москве, внесут мир и тишину в разбушевавшийся без меры народ полудиких русских селян. Творческая мысль главного штаба уходила дальше, в перспективы грядущего, когда железная Германия и лубочная Россия станут двумя дополняющими друг друга половинами великого целого: на западе — вся индустрия, на востоке — все сырье и хлеб...

Но история смешала карты: вместо успокоения, в России, при давленной колодой немецкой оккупации, возникли и окрепли совершенно новые формы и новые силы для второго акта революции, — партизанство и добровольчество. Первое поддерживалось и направлялось Москвой, второе протягивало щупальцы к Парижу.

Вывихнутая нога, ничтожные царапины, полученные в боях, зажили, Вадим Петрович чувствовал себя отлично, — окреп, обгорел и за последние дни в тихой станице — от'елся.

Задача, мучившая его, как душевная болезнь, с самой Москвы, — отомстить большевикам за позор, — была выполнена. Он отомстил. Во всяком случае, он помнил одну минуту, когда подбежал к железнодорожной насыпи... Была победа... Дрожали колени, било в виски. Он снял мягкую фуражку и вытер ею штык. Сделал это невольно, как старый солдат, берегущий чистоту оружия.

Теперь в нем не было той сумасшедшей ненависти, — свинцовых обручей на черепе, отравленной крови, бросающейся в глаза. Он был, как человек, настигший смертного врага, — вонзил лезвие, и даже вытер его: — значит, был прав, прав? И, вот, — стоит растерянно. Прояснившийся ум силится понять, — что произошло, что происходит?

Был воскресный день. Шла обедня в станичной церкви. Роцин опоздал, потолкался на паперти у входа среди свеж выбритых затылков и побрел за церковь на старое кладбище. Походил по траве, где цвели одуванчики, сорвал травинку и, кусая ее, сел на холмик. Вадим Петрович был честным и, как всегда говорила Катя, — добрым человеком.

Из полуоткрытого, заросшего паутиной, окна доносилось пение детских голосов, и густые возгласы дьякона казались такими гневными и беспощадными, что — вот-вот — сейчас испугаются детские голоса, спорхнут, улетят. Невольно мысли Вадима Петровича заблуждали по прошлому, словно ища светлое, самое безгрешное.
. он просыпается от радости. За чистым высоким окном — весеннее небо, темно-синее, — такого неба он не видал с тех пор никогда. Слышно,

как шумят деревья в саду. На стуле у деревянной кровати лежит новая сатинетовая рубашка,—голубая в горошек. От нее пахнет воскресеньем и радостью долгого дня. Он думает о том, что будет делать и с кем встретится,—это так заманчиво и радостно, что хочется еще полежать... Он глядит на обои, где повторяются: китайский домик с загнутой крышей, крутой мостик и два китайца под зонтиками, а третий китаец, в шляпе, похожей на абажур, ловит с мостика рыбу. Добрые, смешные китайцы, как им хорошо живется в домике у ручья... Из коридора слышен голос матери: «Вадим, ты скоро, я уже готова»... И этот милый, покойный голос раздается по всей его жизни благополучием и счастьем... В рубашке горошком он стоит около матери. Она в нарядном шелковом платье. Целует его, вынимает из своих волос гребень и причесывает ему голову: «Ну, вот, теперь хорошо. Поедем»... Спускаясь по широкой лестнице, она раскрывает зонт. На подметенной песчаной площадке едва стоит нетерпеливая тройка рыжих,—левая пристяжная балует, солидный коренник нарыл яму копытом. Кучер, сытый и довольный,—в малиновых рукавах, в бархатной безрукавке, оборачивает пугачевскую бороду, говорит: «С праздничком». Матушка удобно усаживается в коляску, нагретую солнцем. Вадим прижимается к матери от счастья и предчувствия,—как сейчас засвистит ветер в ушах, полетят навстречу деревья. Тройка мчится, огибая усадьбу. Вот и широкая улица села,—девки в кумаче, степенно кланяющиеся мужики, раскудахтавшиеся куры вылетают из-под колес. Белая ограда церкви, зеленый луг, мелко распутившиеся березки, под ними покосившиеся кресты, холмики... Паперть с нищими... Знакомый запах ладана...

Церковь эта и березы стоят и по-сейчас там. Вадим Петрович, как-будто, видит их зеленое кружево на синеве... Под одной,—пятой от угла церкви,—давно уже лежит матушка, холмик над ней обнесен оградой. Года три тому назад старый дьячек писал Вадиму Петровичу, что ограда поломана, деревянный крест сгнил... И только сейчас с ужасным раскаянием он вспомнил об этом...

Милое лицо, добрые руки, голос, будивший его утром и наполнявший счастьем на весь день, любовь к каждому волосочку, каждой царапинке на его теле и жалость... Боже мой,—какое бы ни было у него горе—он знал, оно всегда потонет в ее жалости... Все это, все легло с немим ~~лицом~~ под холмик в березовой тени, распалось землей...

Вадим Петрович положил локти на колени, закрыл лицо руками.

Прошли долгие года. Всегда казалось, что еще какое-то одно преодоление, и он проснется от счастья в такое же, как в былом, синее утро. Два китайчика под зонтиками поведут его через горбатый мостик в дом с приподнятой крышей... Там ждет его невыразимо любимая, невыразимо родная...

«Моя родина,—подумал Вадим Петрович, и опять вспомнилась тройка, мчавшаяся по селу.—Это—Россия... То, что было Россией... Ни-

чего этого больше нет и не повторится... Мальчик в сатинетовой рубашке стал убийцей».

Он быстро встал и заходил по траве, заложив руки за спину и хрустя пальцами. Мысли сами занесли его туда, куда он, казалось, наотмашь захлопнул дверь: ведь он верил, что идет на смерть... И, вот, не умер... Как было бы просто сейчас валяться, осыпанному мухами, где-нибудь в степной водомоине...

«Ну, что же,—думал он,—умереть легко, жить трудно... В этом и заслуга каждого из нас,—отдать погибающей родине не просто живой мешок мяса и костей, а все свои тридцать пять прожитых лет, привязанности, надежды, одиночество, и китайский домик, и всю жалость».

Он даже застонал и оглянулся,—не слышит ли кто? Но детские голоса все так же пели. Ворковали голуби на ржавом карнизе... Поспешно, точно крадя, он вспомнил одну минуту нестерпимой жалости. (Он никогда об ней не поминал Кате.) Это было год тому назад, в Москве. Рощин еще на вокзале узнал, что в этот день были похороны мужа Екатерины Дмитриевны, и что она сейчас—совсем одна. Он пришел к ней в сумерки, прислуга сказала, что она спит, но он остался ждать и сел в гостиной. Прислуга шопотом рассказала, что Екатерина Дмитриевна все плачет: «Повернется к стеночке на постельке и, ну, как ребенок—заведет тоненько,—так мы уж в кухню дверь затворяем»... Он решил ждать хотя бы всю ночь, сидел на диване и слушал, как тикает маятник где-то, уводя время, отнимая секунды жизни, кладя морщины на любимое лицо, серебря волосы,—беспощадно, неумолимо... Рощину казалось, что, если Катя не спит, то именно думает об этом, слушая стук часов. Потом он услышал ее шаги, слабые и неуверенные, точно у нее подвертывался каблук. Она ходила в спальне и будто что-то шептала. Останавливалась, подолгу не шевелилась. Рощин начал мучительно тревожиться, как будто понимал сквозь стену Катини мысли. Скрипнула дверь, она прошла в столовую, зазвенела хрусталем в буфете. Рощин вытянулся, готовый кинуться. Она приотворила дверь: «Лиза, это вы?» Она была в верблюжьей халатике, в одной руке сжимала рюмку, в другой—какой-то жалкий пузырек... Хотела этими средствами избавиться от тоски, от одиночества, от неумолимого времени, от всего... Ее сероглазое осунувшееся лицо было, как у ребенка, брошенного всеми... Ее бы—в китайский домик. Вадим Петрович сказал ей тогда: «Располагайте мной, всей моей жизнью... И она поверила, что может все свое одиночество, все годы оставшейся жизни утопить в его жалости, в любви...

Какого чорта, в самом деле, какого чорта! Конечно, он всегда знал, что ни на одно мгновение Катя не отступала от него—и когда его давила ненависть свинцовыми обручами, и в этот страшный месяц боев. Слово незримой тенью, раскинув руки, беззвучно моля, она преграждала ему путь, и он, охрипший от бешеного крика, вонзал

штык не в серую шинель, а в эту неотступную тень, и, сняв фуражечку, вытирал лезвие...

Обедня кончилась. Из церкви повалила толпа загорелых юнкеров и офицеров. Не спеша, пошли знаменитые генералы с привычно строгими глазами, в чистых гимнастерках, с орденами и крестами: высокий, картинно стройный красавец, с раздвоенной бородкой и фуражкой на-бекрень,—Эрдели; мухростый, в грязной папахе—колючий Марков; низенький—Кутепов, курносый, коренастый, с медвежьими глазами; казак Богаевский с закрученными жесткими усами. Затем вышли, разговаривая, Деникин и холодный, «загадочный», как называли его в армии, с красивым умным лицом—Романовский. При виде главнокомандующего все подтянулись, курившие под березами—бросили папироски.

Деникин был теперь уже не тот несчастный, в сбитых сапогах и в штатском, больной бронхитом «старичек», увязавшийся без багажа в обозе за армией. Он выпрямился, был даже щегольски одет, серебряная бородка его внушала каждому сыновнее почтение, глаза округлились, налились строгой влагой, как у орла. Разумеется, ему далеко было до легендарного Корнилова, но, все же, изо всех генералов он был самый опытный и рассудительный. Прикладывая два пальца к фуражке, он важно прошел в церковные ворота и сел в коляску.

К Роцину подошел долговязый Теплов, левая рука его была на перевязи, на плечи накинута измятая кавалерийская шинель. Он побрился для праздника и был в отличном настроении:

— Новости слышал, Роцин? Немцы и финны не сегодня-завтра возьмут Петербург. Командует Майнергейм,—помнишь его? Свитский генерал, молодчина, отчетливый рубака... В Финляндии всех социалистов вырезал под гребенку, лихо... И большевики, понимаешь, уже драпают из Москвы с чемоданами и своими жидовками, через Архангельск, на нейтральных пароходах... Факт, честное слово... Приехал поручик Седельников из Новочеркасска, рассказывает... Ну, а в Новочеркасске—елочки точеные,—баб шикарных, девчонок,—Седельников рассказывает,—на одного—десять... (Он раздвинул худые, по-кавалерийски согнутые в коленях, ноги и захохотал, так что кадык у него вылез из ворота гимнастерки...)

Роцин не поддерживал разговора об «елочках точеных», и Теплов опять свернул на политические новости, которыми в глуши степей жила армия:

— Этот их новоявленный Моисей,—Троцкий,—заявил публично: «Мы, мол, уйдем, но мы хлопнем дверью». Каков наглец! Оказывается, вся Москва минирована, Кремль, храмы, театры, все лучшие здания, целые кварталы, и электрические провода отведены в Сокольники, какая-то там есть таинственная дача, охраняется днем и ночью чекистами... Мы подходим,—представляешь, бац,—Москва взлетает на воздух... (Он наклонился, понизил голос.) Факт, честное слово. Главнокомандующий принял соответствующие меры: в Москву посланы осо-

бые разведчики, четыре саперных офицера,—найти эти провода и, когда будем подходить к Москве,—не допустить до взрыва... Но, зато уже повешаем! На Красной площади—виселицы, сковороды, как при Грозном... Елки точеные! Публично, с барабанным боем зажарить Ленина на сковороде.

Рощин поморщился, поднялся:

— Ты бы уж лучше про девочек рассказывал, Теплов.

— А что — не нравится?

— Да, не нравится.—Рощин твердо посмотрел в рыжеватые, голубые глаза Теплова.

У того длинный рот углом пополз на сторону:

— То-то, видно, ты забыть не можешь красный паек...

— Что? — Рощин сдвинул брови, придвинулся. — Что ты сказал?

— То сказал, что у нас в полку все говорят... Пора тебе дать отчет, Рощин, по работе в Красной армии...

— Мерзавец!

Только то обстоятельство, что у Теплова одна рука была на перевязи и он еще считался на положении раненого, спасло его от пещины. Рощин не ударил его. Заведя руку за спину, он круто повернулся и, весь, как деревянный, с поднятыми плечами пошел между могил.

Теплов поднакинул сползшую шинель и, усмехаясь, глядел на его прямую спину. Подошли корнет фон-Мекке и, неразлучный с ним, веснучатый юноша с большими, светлыми, мечтательными глазами,—сын табачного фабриканта из Симферополя, Валерьян Оноли, одетый в поношенную, в бурых пятнах, студенческую шинель с унтер-офицерскими погонами.

— Что тут у вас произошло—поругались?—резким, как бывает у глуховатых людей, голосом спросил фон-Мекке. Теперь уже совершенно обиженный, Теплов с возмущением передал весь разговор с подполковником Рощиным.

— Странно, вы все еще удивляетесь, господин штабс-капитан,—скучаяще, с мечтательными глазами, проговорил Оноли,—мне с первого дня было ясно, что подполковник Рощин — шпион.

— Брось, Валька,—фон-Мекке мигнул всей левой стороной лица, пораженного контузией.—Гвоздь в том, что его лично знает генерал Марков. Тут с плеча не руби... Но я ставлю мой шпалер, что Рощин—большевик, сволочь и дерьмо...

До конца мая на Северном Кавказе было сравнительное затишье. Обе стороны готовились к решительной борьбе. Добровольцы — к тому, чтобы захватить главные узлы железных дорог, отрезать Кавказ от России и с помощью белого казачества очистить область от «красных банд»; ЦИК Кубанско-Черноморской республики—к борьбе на три фронта,—с немцами, с белым казачеством, организованным на

Дону атаманом Красновым, а на Кубани и Тереке разбросанными отрядами по станицам и со вновь ожившими «бандами Деникина».

Красная кавказская армия, состоявшая в подавляющей массе из фронтовиков бывшей царской закавказской армии, из иногородних и малоземельной казачьей молодежи и, в северных отрядах, из ставропольских крестьян,—располагалась тремя основными группами: западная, по линии Азов—Куцевка—Сосыка,—в тридцать тысяч бойцов, под общим командованием Сорокина; восточная—по наиболее важной линии—Тихорецкая—Торговая,—тоже в тридцать тысяч бойцов, куда входили лучшие боевые группы,—Железная дивизия Жлобы и Конная дивизия Думенко, и, наконец,—северная, от Великокняжеской—на Царицын, оберегавшая пути к волжским городам.

Кроме этих групп было много самоформирующихся отрядов, то примыкавших к армии, то воюющих на свой страх и риск. Иногда такие отряды собирались для какой-нибудь одной операции, затем рассеивались; иногда опасность сбивала их в большие группы, под защиту их сбегались иногородние с женами и детьми; важнейшие решения выносились большинством голосов на митингах; случалась неудача, кричали: «Продали нас, пропили», и разрывали на клочки командиров.

Воинские запасы и огневое снаряжение для армии шло из Царицына, впоследствии, когда царицынскую дорогу захватили добровольцы,—все нужное везлось кружным путем, гужом, из Астрахани через Святой Крест. Многотысячные партизанские отряды добывали питание на местах. Тут, конечно, мало стеснялись, в особенности отряды, состоявшие из пришлых,—старых фронтовиков, из голытьбы, бежавшей от немцев, от гетмана и атамана, и, наконец, из тех (а их было много в первые годы революции), кто просто кормился войной, за неимением лучшего.

Главком всей этой стотысячной армии, Автономов, подозревался членами Кубано-Черноморского ЦИК'а в диктаторских стремлениях, и непрерывно ссорился с правительством, требуя невмешательства штатских в военное дело. На огромном митинге в Тихорецкой он обозвал ЦИК немецкими шпионами и провокаторами, митинг вынес резолюцию,—чтобы выбить всех комиссаров ЦИК'а из воинских частей и армии быть под единоличной командой Автономова. В ответ на это ЦИК «заклеймил» Автономова и примкнувшего к нему Сорокина бандитами и врагами народа и предал их проклятию и вечному позору.

Вся эта «буза» парализовала армию. Вместо того, чтобы начать концентрическое наступление тремя группами на добровольцев, находившихся в центре расположения этих групп, армия волновалась, митинговала, скидывала командиров и, в лучшем случае, способна была только на сопротивление, на трагическую гибель.

Наконец, московские декреты, которых не очень-то здесь и слушали, продолжили упрямство краевых властей. Автономов был назначен инспектором фронта, а командование армией перешло к неспособ-

ному, но честному и совершенно лишенному честолюбия, угрюмому латышу, подполковнику Калнину.

А в это время к Добровольческой армии присоединился великолепный организатор и талантливый полководец, полковник Дроздовский, с трехтысячным отрядом отборных и свирепых офицеров, стоявших в бою каждый—десяти рядовых бойцов; подтягивалось на конях казачество—мстить за обиды; из Петрограда, Москвы, со всей России просачивалось, по одиночке и кучками, офицерство, прослышавшее про чудеса Ледяного похода; атаман Краснов, хотя и неохотно и скуповато, снабжал оружием и деньгами. С каждым днем армия крепла, спаивалась дисциплиной, и настроение ее распялялось до белого каления умелой пропагандой генералов и общественных деятелей, неумелыми действиями Советской власти в краю и рассказами прибывающих с севера очевидцев.

В конце мая ее уже не могли раздавить силы красных. Она сама перешла в наступление и нанесла второй группе страшный удар по станции Торговая.

— Что же вы, ребята, бросили петь?

— Охрипли.

— А ну-ка я уголек достану.—Иван Ильич Телегин присел у костра, в котором ярко горел, брошенный сверху, железнодорожный щит, и, раскурив трубку, остался послушать. Только что очень хорошо пели старинную песню про обмелевшую реку Маныч, про курицу, переходившую ее в брод.

Час был поздний. Почти все костры вдоль полотна погасли. Свежая ночь раскинулась пышными звездами, забулькала перепелиными голосами. Огонь освещал наверху, на насыпи, товарные составы,—кирпично-красные вагончики, ободранные и разбитые. Иные прибежали от берегов Тихого океана, иные из полярных болот, из песков Туркестана, с Волги, из Полесья. На каждом имелась пометка: «срочный возврат». Но все сроки давно прошли. Построенные для мирной работы, многотерпеливые вагончики, с намазанными осями и проломанными боками, готовились сейчас,—отдыхая под звездами,—к совершенно уже фантастической деятельности. Их будут сбрасывать целыми составами со всем содержимым под откосы; набив в них, как сельдь в бочку, русских мужиков и наглухо заколотив двери и окошки,—угонят за тысячи верст с пометкой мелом: «Не портящийся груз, медленная скорость». Они превратятся в кладбища сыпно-тифозных, в рефрижераторы для перевозки мороженных трупов. Они будут взлетать в огненных взрывах под самое небо... В сибирских дебрях их двери и стенки будут растаскиваться на заборы и скотные дворы... И, уцелевшие, обгорелые, разбитые,—они еще не скоро, очень не скоро приплетутся по требованию срочного возврата и станут на ржавых путях для ремонта.

— А что, товарищ Телегин, как в Москве пишут,—скоро кончится гражданская война?

— Покуда не победим.

— Видишь, как пишут... Значит — надеются на нас...

Несколько человек у костра, бородатые, обгорелые, черные,—лежали лениво. Спать не хотелось, шибко разговаривать тоже не хотелось. Один попросил у Телегина махорки.

— Товарищ Телегин, а кто это такие—чехо-словаки? Откуда они взялись у нас? Раньше, будто бы, не было таких людей...

Иван Ильич объяснил, что чехо-словаки — военнопленные, славяне, из них еще царское правительство начало формировать корпус, чтобы перебросить на западный фронт к французам, но не успело...

— А теперь Советская власть не может их выпустить, раз они едут на империалистический фронт... Потребовали, чтобы они разоружились. Они взбунтовались где-то, кажется, в Пензе...

— А ведь наш комиссар, ребята, так же объяснял... Что же, товарищ Телегин, неужели и с ними будем воевать?

— Никто сейчас ничего не знает... Сведения—самые неопределенные... Думаю, что—вряд ли... Их всего тысяч сорок...

— Ну, это — побьем... У нас народу много...

Опять замолчали у костра. Тот, кто попросил табачку у Телегина, покосившись, сказал, видимо, только так, для уважения:

— Гнали нас при царе под Саракамыш в Закавказье. Никто ничего не говорит,—за что должны бить турок, за что мы должны помирать. А горы там ужасные. Посмотришь,—эх, думаешь, родила тебя мать не в той люльке... А теперь—не то,—эта война веселая, для себя, отчаянная... И все понятное,—и кто, и за что...

— Ну, вот, я, скажем, прозвище—Чертогонов,—густо проговорил другой солдат, поднявшись на локте, и сел так близко к огню, что стало удивительно, как не загорится у него борода. Вид его был страшный, черные волосы падали на лоб, на рябом лице горели круглые глаза.—Может я—цыган, может—индеец какой-нибудь, мне не известно. Два раза был на Дальнем Востоке, в кутузках сидел без счета за бродяжничество... Летом—на Черном море, на Волге, на пристанях, зимой батрачу по хуторам... Ну, Чертогонов и Чертогонов, разве я человек! Хорошо. Все-таки меня закрючили,—в казарму, воинский билет и—на войну... Шесть ранений... Вот, гляди.—Он залез пальцем в рот, отодрал его на сторону, показал корешки выбитых зубов.—Изловчился я попасть в Москву, в лазарет, а тут—и большевики... Конец моим мукам. Вопрос: «Социальное положение?» Я им: «Дальше не ищите, я—тут, потомственный, почетный батрак, роду-племени не знаю, может цыган, может индеец,—словом интернационалист»... Как они засмеются! Мне—винтовку, мне—мандат. И стали мы в то время обходить город, искать злостных буржуев... Зайдешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, сробеют... Смотришь—где у них что попря-

тано,—мука, сахар... Сволочи, ведь, боятся, дрожат, а разговору не выходит и не выходит... Иной раз остервенишься,—не человек, что ли, я, гладкая твоя морда,—разговаривай, ругайся, умоляй меня... Пустишь его матюгом, а разговора не выходит... В чем, думаю, дело?.. И так мне стало обидно,—весь век молчал, на них, дьяволов гладких, работал, кровь за них проливал.... И меня за человека не считают... Вот они, думаю, каковы буржуи, сподобился их повидать. И стала меня жечь классовая ненависть. Узнал я свою силу... Хорошо... Надо было реквизировать особняк купца Рябинкина. Пошли мы туда четверо с пулеметом, для паники. Стучим в парадное. Через некоторое время отворяет нам трясогузка, горничная, вся, голубушка, побледнела и заметалась: ах, ах,—на цыпочках... Мы ее отстранили, входим в залую,—огромная комната со столбами, и посередине стоит стол, а за ним сам Рябинкин с гостями едят блины. Дело было на масленицу, все, конечно, пьяные... Это в то самое время, когда пролетариат погибает от голоду!.. Как я винтовкой стукнул об пол, как я на них закричу! Смотрю,—сидят, улыбаются... И подбегает к нам Рябинкин, красный весь, веселый, глаза выпученные: «Дорогие товарищи,—говорит,—ведь я давно знаю, что вы мой особняк со всем имуществом реквизируете, дайте доесть блины, а, между прочим, садитесь с нами... Это не стыдно, потому что это все народное достояние»,—и показывает на стол... Мы потоптались, но сели к столу, держим винтовки, хмуримся... А Рябинкин нам—водки, блинов, икры... И говорит, и хохочет... Про что он только ни рассказывал, все в лицах, с подковыркой... Терпенья нет, гости грохочут, и мы стали смеяться. Пошли разные шутки про похождения буржуев, начались споры, но—чуть кто из нас ошестинится,—хозяин глушит его ликером,—чайный стакан, в другой посуде не пили... Начали откупоривать шампанское, и мы винтовки поставили в угол... «Чертогов, —думаю,—ты ли это ходишь по залаю, цепляешься за столбы?» Песни начали петь хором. А к вечеру поставили у входа в парадном пулемет, чтобы кто не вломился. Полтора суток пили. Отыгрался я за всю мою бессловесную жизнь. Но, все-таки, Рябинкин нас обманул,—ах, дошлый купец!.. Покуда мы гуляли, он успел,—горничная ему помогала,—все бриллианты, золото, валюту, разные стоящие вещицы переправить в надежное место... Реквизировали мы одни стены да обстановку... Уж как с нами прощался Рябинкин, с похмелья, конечно: «Дорогие товарищи, берите, берите все, мне ничего не жалко, из народа я вышел, в народ и уйду»... И в тот же день скрылся за границу. А меня—в Чеку. Я им: «Виноват, расстреливайте». За бессознательность только не расстреляли. А я и сейчас рад, что погулял... Есть что вспомнить, а пуля все равно пришибет.

— Много злодеев среди буржуев, но и среди нас—не мало,—проговорил кто-то, сидевший за дымом. В его сторону посмотрели. Тот, кто спрашивал махорку у Телегина, сказал:

— Раз уж кровь переступили в четырнадцатом году, народ теперь ничем не остановишь...

— Я не про то,—повторил голос из-за дыма,—враг—враг, кровь—кровь, а я—про злодеев.

— А сам-то ты кто?

— Я-то? Я и есть злодей,—ответил голос тихо.

Тогда все замолчали, опустили головы, глядели на угли в догоравшем костре. Холод пробежал по спине Телегина. Ночь была свежа. Кое-кто у костра поворочался и лег, подложив шапку под щеку.

Телегин поднялся, потянулся, расправляясь. Теперь, когда дым сошел, можно было видеть по ту сторону огня сидевшего, поджав ноги, злодея. Он кусал стебелек полыни. Угли освещали его худое, со светлым и редким пушком, почти женственно мягкое, длинное лицо. На затылке—заношенный картуз, на узких плечах—солдатская шинель. Он был по пояс голый. Рубашка, в которой он, должно быть, искал,—лежала подле него. Заметив, что на него смотрят, он медленно поднял голову и улыбнулся, как-то по-детски—жалобно.

Телегин узнал,—это был боец из его роты, девятнадцатилетний Мишка Соломин, из-под Ельца, из пригородных крестьян, взят был, как доброволец, еще в Красную гвардию и попал на Северный Кавказ из армии Сиверса.

Он только на секунду встретился взором с Телегиным и сейчас же опустил глаза, будто от смущения, и тут только Иван Ильич вспомнил, что Мишка Соломин славился в роте, как сочинитель стихов и безобразный пьяница, хотя пьяным видали его редко. Ленивым движением плеча он сбросил шинель и стал надевать рубашку. Иван Ильич полез по насыпи к классному вагону, где бессонно в одном окошке у командира полка, Сергея Сергеевича Сапожкова, горела керосиновая лампа. Отсюда, с насыпи, были яснее видны звезды, и внизу, на земле, красноватые точки догорающих костров.

— Кипяток есть, иди-ка,—сказал Сапожков, высовываясь с кривой трубкой в зубах в окошко.

Керосиновая лампа, пристроенная на боковой стене, тускло освещала ободранное купе второго класса, висящее на крючках оружие, книги, разбросанные повсюду, военные карты. Сергей Сергеевич Сапожков, в грязной бязевой рубашке и подтяжках, обернулся к вошедшему Телегину:

— Спирту хочешь?

Иван Ильич сел на койку. В открытое окно вместе с ночной свежестью долетало бульканье перепела, пробухали спотыкающиеся шаги красноармейца, вылезшего спросонок из теплушки за надобностью. Тихо тренькала балалайка. Где-то совсем близко прогорланил петух,—был уже первый час ночи.

— Это как так—петух?—спросил Сапожков, кончая возиться с чайником. Глаза его были красны и румяные пятна проступали на ху-

дом лице. Он пошарил позади себя на койке, нашел пенснэ, и, надев его, стал глядеть на Телегина:

— Каким образом в расположении полка мог оказаться живой петух?

— Опять беженцы прибыли, я уже доложил комиссару. Двадцать подвод, с бабами, ребятами, живностью... Чорт знает, что такое,—сказал Телегин, помешивая в кружке с чаем.

— Откуда?

— Из станицы Привольной. Их большой обоз шел, да казаки по пути побили. Все иногородние, беднота. У них за станицей, в камышах, два казачьих офицера собрали отряд, ночью налетели, разогнали совет, пятьдесят человек повесили на воротах, стали отнимать скот, ломали плуги, бороны...

— Словом, обыкновенная история,—проговорил Сапожков, отчетливо произнося каждую букву. Кажется, он был сильно пьян, и звал Телегина, чтобы отвести душу... У Ивана Ильича от усталости гудело все тело, но сидеть на мягком и прихлебывать из кружки было так приятно, что он не уходил, хотя мало чего могло выйти толкового из разговора с Сергеем Сергеевичем.

— Где у тебя, Телегин, жена?

— В Питере.

— Станный человек. В мирной обстановке вышел бы из тебя преблагополучнейший мещанин. Добродетельная жена, двое добродетельных детей, кофейники, кинематограф... На кой чорт ты пошел в Красную армию, ведь тебя же убьют...

— Я тебе уже об'яснял...

— Ты, что же, в партию, быть может, ловчишься?

— Нужно будет для дела, пойду и в партию. Покуда не собираюсь.

— А меня,—Сапожков прищурился за мутными стеклами пенснэ,—вари в трех котлах, коммуниста из меня не сделаешь...

— Вот уж, если кто странный, так это ты странный, Сергей Сергеевич...

— Ничего подобного. У меня мозги не диалектические... Дикая порода,—один глаз всегда в лес смотрит. Гм! Так ты говоришь—я странный... (Он усмехнулся, видимо, с удовлетворением...) С октября месяца дерусь за Советскую власть. Гм! А ты Кропоткина читал?

— Нет, не читал.

— Оно и видно... Скучно, братишка... Буржуазный мир подл и скучен до адской изжоги... А победим мы,—коммунистический мир будет тоже скучен и сер, добродетелен и скучен... А Кропоткин хороший старик: поэзия, мечта, бесклассовое общество. Воспитаннейший старик: «Дайте людям анархическую свободу, разружьте узлы мирового зла, то-есть большие города, и бесклассовое человечество устроит сельский рай на земле, ибо основной двигатель в человеке, это—любовь к ближнему... Хи-хи...

Сапожков принялся беззвучно смеяться, пенсне запрыгало на горбатом его носу. Смеясь, он полез под койку, вытащил жестяной бидончик со спиртом, налил в чашку, выпил и хрустко разгрыз кусочек сахара...

— Наша трагедия, милый друг, в том, что мы, русская интеллигенция, выросли в безмятежном лоне крепостного права, и революции испугались не то, что до смерти, а прямо—до мозговой рвоты... Нельзя же так пугать нежных людей! А? Посиживали мы в тиши сельской беседки, думали под пенье птичек: «А хорошо бы, в самом деле, устроить так, чтобы все люди были счастливы»... Вот откуда пошли мы, несчастные... На западе интеллигенция, это—мозговики, отбор буржуазии, выполняют железное задание: двигать науку, промышленность, индустрию, раскидывать по белу свету утешительные миражи гуманизма... Там интеллигенция знает зачем живет... А у нас, ой, братишки!.. Кто мы такие? Кому служим? Какие наши задачи? С одной стороны, мы—плоть от плоти славянофилов,—духовные их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое?—российский помещичий гуманизм. С другой стороны, деньги нам платит отечественная буржуазия, на ее иждивении живем, из чувства признательности даже выдали мандат товарищу Чернову... А при всем том служим исключительно народу... Вот так чудачки: Народу!.. Ей-богу, мы же искренно старались изо всех сил... Трагикомедия! Так плакали над горем народным, что слез не хватило. И когда у нас эти слезы отняли,—жить стало нечем... Не наемники же мы буржуазии... Чорта с два! А? Революция виновата, большевики виноваты, это они вооружили вилами наш богоносный народ... Мы мечтали,—вот-вот дойдут наши мужички до Цареграда, влезут на кумпол, водрузят православный крест над Святой Софией... Земной шар мечтали мужичкам подарить,—панславянство! А нас, энтузиастов, мечтателей, рыдальцев,—вилами... Неслыханный скандал! Испуг ужасный... И начинается, милый друг, саботаж... Интеллигенция попятилась, голову из хомута тащит,—не хочу, попробуйте-ка, без меня обойдитесь... Это когда Россия на краю чортовой бездны... Величайшая, непоправимая ошибка. А все—барское воспитание, нежны очень... Не в состоянии постигнуть революции без морального обоснования, вне гуманитарного мышления... Без этого—не революция, а бессмысленный бунт, стихийное зверство... Нам ризы нужны для революции, а тут народ бежит с германского фронта, саранчей проходит по городам, топит офицеров, в клочки растерзывает главнокомандующего, жжет усадьбы, ловит купчих по железным дорогам, выковыривает у них из непотребных мест бриллиантовые сережки... Ну, нет, мы с таким народом не играем, в наших книжках про такой народ ничего не написано... Что тут делать? Океан слез пролить у себя в квартире, с коврами и телефонами, на Фурштадтской? А народ и квартирку реквизировал, и ковры увез в деревню... Вдребезги разбиты мечты, жить нечем... И мы—со страха и отвращения—головой под подушку, дру-

гие из нас—дерака за границу, а, кто позлее, за оружие схватился... Получается скандал в благородном семействе... А народ, на семьдесят процентов неграмотный, не знает, что ему делать с его ненавистью, мечется,—в крови, в ужасе... «Продали,—говорит,—нас, пропили! Бей зеркала, ломай все под корни!..» И в интеллигенции нашлась одна только кучечка, понявшая революцию,—коммунисты. Когда гибнет корабль,—что делают? Выкидывают все лишнее за борт... Коммунисты первым делом вышвырнули за борт старые бочки с гуманизмом, кованные ящики с тысячелетней моралью, бидоны с эмоциями... Это все—«старик» орудовал,—российский, брат, человек... Облегчились, и народ сразу же, звериным чутьем, почувял,—это свои, не господа, эти рыдать не станут, у этих счет короткий... Вот почему, милый друг, я—с ними, хотя произрощен в кропоткинской оранжерее, под стеклом, в мечтах... И нас не мало таких,—ого! Ты думаешь,—интеллигента на капустку потянуло,—может быть, может быть... Ты зубы-то не скаль, Телегин, ты, вообще, эмбрион, примитив жизнерадостный... А есть, видишь ли, такие, которым сознательно приходится вывернуть себя на-изнанку, мясом наружу и, чувствуя каждое прикосновение, утвердить в себе сейчас одну волевою силу—ненависть... Дратся без этого нельзя... Мы сделаем все, что в силах человеческих,—поставим впереди цель, куда пойдет народ... Вот так,—с двумя револьверами в руках,—прыгнем в самую пучину... Но ведь нас—кучка... А враги—повсюду... Ты слыхал про чехо-словаков? Придет комиссар, он тебе расскажет... Не верю,—месяц, два, полгода,—больше не продержимся... Разве, что... Нет! Обречены, брат... Кончится все—генералом... И я тебе говорю,—виноваты во всем славянофилы... Когда началось освобождение крестьян, надо было кричать: «Беда, гибнем, Европа нас сожрет!» Нам нужно интенсивное сельское хозяйство, нужно бешеное развитие промышленности, поголовное образование... Пусть придет новый Пугачев, Стенька Разин, все равно,—вдребезги разбить крепостной костяк... Вот какую мораль нужно было тогда бросить в массы, вот на чем воспитывать интеллигенцию... А мы изошли в потоках счастливых слез:—боже мой, как необ'ятна, как самобытна Россия, и мужичек теперь свободен, как воздух, и помещичьи усадьбы с тургеневскими барышнями целы, и таинственная душа народа у нас,—не то, что на скаредном Западе,—рвется не к фабрикам и чернозему, а к тому, чтобы водрузить славянский крест над Святой Софией... И вот я теперь, Телегин,—ногами топчу всякую мечту! Мочусь спиртовым перегаром на Святую Софию...

Сапожков сделал непристойнейший из жестов. Больше он не мог говорить. Лицо его пылало. Но, видимо, самого главного он так и не сказал. Телегин, оглушенный водопадом его слов, сидел, открыв рот, с остывшей кружкой на коленях. В проходе вагона слышались шаги, как будто шел кто-то неимоверно тяжелый. Дверь купэ приотворилась, и показался широкий, среднего роста, человек с прилипшими к большому лбу темными волосами. Он молча сел под лампой, положив на колени большие руки, на обветренном грубом лице его редкие мор-

щины казались шрамами, глаз не было видно в тени глазниц и нависших бровей. Это был начальник особого отдела полка, товарищ Гымза.

— Опять шпирт достал?—спросил он негромко и серьезно.— Смотри, товарищ...

— Какой такой спирт? Ну тебя к свиньям. Видишь—чай пьем,—сказал Сапожков.

Гымза, не шевелясь, прогудел:

— Так, еще хуже, что врешь. Спиртищем из окна так и тянет, в теплушках шевеление началось, бойцы принохиваются... Бузы у нас мало? Во-вторых, опять философию завел, дурацкую волынку, отсюда я заключаю, что ты пьяный.

— Ну, пьяный, ну, расстреляй меня.

— Расстрелять мне тебя недолго, это ты хорошо знаешь, и, если я терплю, то принимая во внимание твои боевые качества...

— Дай-ка табаку,—сказал Сапожков.

Гымза важно достал из кармана тряпичный кисет. Затем, обращаясь к Телегину, продолжая медленным голосом, точно тер жернова:

— Каждый раз одна и та же недопустимая картина: на прошлой неделе мы расстреляли троих подлецов, я сам допрашивал,—гниль, во всем сознались... И он сейчас же достает шпирту... Сегодня расстреляли заведомую сволочь, деникинского контрразведчика, он же сам его и поймал в камышах... Готово: нализался и тянет философию. Такая у него получается капуста,—ну, вот я сейчас стоял под окном, слушал, рвет, как от тухлятины... За эту философию другой, не я, давно бы его отправил в особый отдел, потому что он же разлагается... Он потом два дня болен, не может командовать боем...

— А если ты расстрелял моего университетского товарища?—Сапожков прищурился, ноздри у него затрепетали.

Гымза ничего не ответил, будто и не слышал этих слов. Телегин опустил голову...

— Деникинский разведчик, ну да... А мы вместе с ним слушали Алексея Борового... Вместе читали Кропоткина... Чорт его знает, зачем он полез в белую армию... Может быть, с отчаяния... Я его сам к тебе привел... Довольно с тебя, что я исполнил долг? Или тебе нужно, чтобы я комаринского насвистывал, когда его в овраг повели?.. Я сзади шел, я видел.—Сапожков придвинул коленки вплоть к коленям Гымзы, в упор глядел ему в темные впадины глаз.—Могу я иметь человеческие чувства, или я уже все должен в себе сжечь?..

Гымза ответил, так же, не спеша:

— Нет, не можешь иметь... Другой кто-нибудь, там уже не знаю... А ты все должен в себе сжечь... От такого гнезда, как в тебе, контрреволюция и начинается...

Долго молчали. Казалось, воздух был тяжкий. За темным окном затихли все звуки. Гымза налил себе чаю, отломил большой кусок серого хлеба и стал есть, как очень голодный человек. Потом, поцыкивая зубом, он начал рассказывать о чехо-ловаках. Новости были тре-

вожны. Чехо-словаки взбунтовались во всех эшелонах, растянутых от Пензы до Владивостока. Советские власти не успели опомниться, как железные дороги и города оказались занятыми чехами. Западные эшелоны очистили Пензу, подтянулись к Сызрани, взяли ее и оттуда двигаются на Самару. Они отлично дисциплинированы, хорошо вооружены и дерутся умело и отчаянно. Пока еще трудно сказать, что это,— простой военный мятеж, или ими руководят какие-то силы извне. Очевидно,—и то и другое. Во всяком случае, от Тихого океана до Волги вспыхнул, как пороховая нить, новый фронт, грозящий невероятными бедствиями.

К окну снаружи кто-то подошел. Гымза замолчал, нахмурился, обернулся.

Голос позвал его:

— Товарищ Гымза, выдь-ка...

— Что тебе? Говори...

— Секретное.

Опустив брови на впадины глаз, Гымза оперся руками о койку, сидел так секунду, сильным движением поднялся и вышел, задев плечами за оба косяка двери. На площадке он сел на ступени, наклонился. Из темноты к нему пододвинулась высокая фигура в кавалерийской шинели, звякнули шпоры. Человек этот торопливо зашептал ему у самого уха.

Сапожков, как только Гымза вышел, стал шибко раскуривать трубку, яростно плюнул несколько раз в окно. Снял, швырнул пенснэ и вдруг рассмеялся:

— Вот в чем весь секрет,—прямо ответить на поставленный вопрос... Есть бог?—нет. Можно человека убить?—можно. Какая ближайшая цель?—мировая революция... Тут, братишка, без эмоций...

Он вдруг оборвал, вытянулся, слушая. Весь вагон вздрогнул,— это кулаком в стену ударил товарищ Гымза. Свирепо-хриплый голос его прорычал:

— Ну, уж если ты мне соврал, сукин сын...

Петр Петрович схватил Телегина за руку:

— Слышишь? А знаешь—в чем дело? Ходят неприятные слухи о нашем главкоме Сорокине... Это агент особого отдела вернулся из штаба армии... Понял, почему Гымза, как чорт мрачный...

Звезды уже блекли перед рассветом. Кричали петухи между водами. На спящий лагерь опускалась роса. Телегин лег у себя в вагоне, заложив руки под голову, закрыл глаза...

Телегину порой казалось, что короткое счастье только приснилось ему где-то в зеленой степи под стук колес... Была жизнь,—удачливая и тихая: студенчество, огромный, бездонный Питер, служба, беззаботная компания чудаков, живших у него в квартире на Петербургской стороне. Тогда о прожитом нечего было сожалеть, будущее—

ясно, как линия на ладони. Он и не задумывался о будущем,—полет годов над крышей его дома был неспешен и не утомителен, Иван Ильич знал, что честно выполнит положенный ему труд, и, когда голова поседеет,—оглянется на пройденное и увидит, что прошел долгую дорожку, не сворачивая в опасные закоулки, как тысячи-тысячи таких же Иванов Ильичей. На самом деле, так и было бы, не случись в его жизни, а затем и во всем мире чрезвычайных событий.

В его простые будни повелительно вошла женщина,—Даша, и начался тревожный, восхитительный бред влюбленности. Была поездка с Дашей на пароходе, где сияли в солнечном мареве грозным счастьем серые Дашины глаза. Был день в Крыму, еще более пронзительно счастливый. И тут жизнь, прошлое—обрывается. Иван Ильич кувырком летит на вытопанные поля, в залитые кровью окопы. Тогда еще казалось, что война—случайность, недолгий эпизод, лишь бы уйти из нее живым, и впереди снова—счастье... Но вместо этого были тяжелые бои, ранение, плен, приговор к смертной казни, побег... Иван Ильич не замечал, что его, как щепку, затягивает на самое дно водоворота, не мог допустить того, что беспечальная жизнь на так хорошо начатом пути никогда не вернется... Трещали капитальные стены империи, рухнул трон, все смешалось, стопятидесятиmillionный народ рычал от боли и гнева, а Иван Ильич торопливо строил счастливый домик для себя и для Даши... И вот он снова лежит на койке в военном эшелоне... Вчера—бой, завтра—бой. Это—действительность. А встреча с Дашей в Москве после плена, свадьба, белые ночи в Петербурге, когда Даша нежно, со стыдливой страстью отдавала ему всю себя,—все это вспоминалось, как сон, который нельзя вернуть. К прошлому возврата не было. Попытки запереться с Дашей на ключик от бешеных порывов революции—жалки и смешны. Ему стыдно было и вспоминать о том, как он год тому назад суетился, устраивая квартиру на Каменноостровском. Облюбовал для спальни постель красного дерева, на которой Даша родила мертвого младенца.

Даша первая разбилась о дно водоворота. Она с каким-то даже брезгливым негодованием стала отстранять жалкие попытки Телегина поддержать благополучие. «Попрыгунчики», наскочившие на нее у Летнего сада, дыбом вставшие волосики у погибшего ребенка, потоки серого, разъяренного люда на улицах, разрушающийся Петербург, декреты, где каждое слово налито было ненавистью,—вот какой предстала ей революция. По ночам свистал ветер, плясала вьюга,—это во тьме плясала и глумилась над Дашей революция.

Вначале был ужас, но и его не стало. Даша поняла, что прошлое погибло, унесено, развеяно. Чем было жить? Остатками жалости к Ивану Ильичу... Но любить, вновь зажечь сердце?—об этом она не могла подумать без содрогания. Когда серенькая петербургская весна подула сырым ветром, закапали крыши, и с грохотом по дырявым трубам полетели вниз ледяные сосульки,—Даша сказала Ивану Ильичу (он пришел домой оживленный, румяный, в пальто на рас-

пашку, и особенно блестящими глазами поглядел на Дашу,—она вся поджалась, завернулась в платок до подбородка):

— Как бы я хотела, Иван, разбить себе голову, чтобы все забыть, навсегда... Тогда бы я еще могла быть тебе подругой... А так,—жить, чтобы жевать, ложиться в страшную постель, чтобы снова начинать бесцельный день,—пойми же ты: не могу, не могу жить, мирясь с чем-то... Не думай, мне не нужно ни роскоши, ни изобилия,—ничего, ничего... Но только—жить полным дыханием, любить, раскинув руки... А крохи, которые ты мне приносишь, — мне не нужны...

Даша всегда была сурова в чувствах,—«безусловна». Сейчас она стала жестока. Иван Ильич спросил ее: «Быть может, нам лучше на некоторое время расстаться, Даша?..» И тогда в первый раз за всю зиму увидел, как радостно взлетели ее брови, странной надеждой блеснули глаза, жалобно задрожало ее худенькое лицо... «Мне кажется,—проговорила она и положила руки ему на грудь,—нам лучше расстаться, Иван».

Тогда же он начал решительно хлопотать через Рублева о зачислении своем в Красную армию, и в конце марта уехал с эшелонном на юг. Даша провожала его на перроне Октябрьского вокзала и,—когда окно вагона поплыло,—горько заплакала, опустив вязаную шаль до бровей...

Много сотен верст исколесил с тех пор Иван Ильич, но ни бои, ни усталость, ни лишения не заставили его забыть любимого заплаканного лица в толпе женщин у прокопченной стены вокзала.

Даша прощалась с ним так, как прощаются навсегда. Он силится понять,—в чем же не угодил ей? В последнем счете, конечно, только в нем лежала причина ее охлаждения: ведь не у ней же одной родился мертвый ребенок,—погоревала и прошло... Не революция же вырвала у нее сердце... Сколько супружеских пар,—он перебирал в памяти,—теснее прижались друг к другу в это грозное, смутное время... В чем же была его вина?

Иногда в нем поднималось возмущение: хорошо, найди, милая, поищи другого такого, кто будет с тобой так же тюткаться... Мир трещит по всем швам, а ей дороже всего свои переживания... Просто—неимоверный эгоизм, распушенность, привычка питаться дорогими конфетами,—а не хочешь ли—черненького с мякиной?

Все это верно, все так, но отсюда был дальнейший вывод, что Иван Ильич сам отменно хорош и не любить его преступно. На этом каждый раз Иван Ильич спотыкался... «Действительно, ну-ка, что во мне такого особенного? Физически здоров,—раз. Умен и интересен чрезвычайно?—нет,—нормален, как десятый номер калош... Герой, большой человек? Увлечательный самец, что ли? Нет, нет... Серый, честный обыватель, каких миллионы... Случайно выхватил номер в лотерее: полюбила обольстительная девушка в тысячу раз страстнее, умнее, выше меня, и так же непонятно разлюбила»...

Так, оглядываясь на себя, он думал: не в том ли причина, что он не по росту этому времени, мал,—что и воюет-то он даже по-обывательски, будто служит в конторе. Ему не раз теперь приходилось встречать людей,—головой чуть ли не под облака, страшных в зле и добре, непомерной тенью шагавших по кровавым побоищам... «А ты бы, Иван Ильич, хотя бы врага во всю силу возненавидел, смерти бы как следует испугался...»

Ивана Ильича все это очень огорчало. Сам не замечая того, он становился одним из самых надежных, рассудительных и мужественных работников в полку. Ему поручали опасные операции, и он выполнял их блестяще.

Разговор с Сергеем Сергеевичем заставил его сильно задуматься. Развеселый, казалось, командир тоже корчился от муки... Да еще какой!.. А Мишка Соломин? А Чертогонов? А тысячи других, мимо которых проходишь бездумно? Все они в рост со временем, косматые, огромные, обезображенные муками, у иных и слов нет сказать, одна винтовка в руке, у иных дикий разгул и раскаяние... Вот она, Россия, вот она революция!..

Казалось, в эту ночь Иван Ильич вот-вот поймет новую правду, ломающую и сокрушающую людей, поймет и правду о Дашиных муках,—и Даша кипит в том же котле... Но мысли оборвались, он заснул...

— Товарищ ротный... Проснись...

Телегин сел на койке. В вагонное окно глядел золотистый шар солнца, вися над краем цыплячье-желтой степи. Суровый рыжебородый солдат, красный, как утреннее солнце, еще раз потрянул Ивана Ильича, чтобы проснулся:

— Экстренно, командир требует...

В купе у Сапожкова все еще горела вонючая лампочка. Сидели—Гымза, комиссар полка, Соколовский, черноволосый чахоточный человек с бессонно горящими черными глазами; двое батальонных, несколько человек ротных и представитель солдатского комитета, с независимым и даже обиженным выражением лица... Все курили. Сергей Сергеевич, уже во френче и при револьвере, держал в дрожащей очень грязной руке телеграфную ленту.

— ...таким образом, неожиданный захват станции противником отрезал наши части и поставил их под двойной удар,—хрипавато читал Сапожков, когда Иван Ильич остановился у двери купе.—Во имя революции, во имя несчастного населения, которое ждет неминуемой смерти, казней и пыток, если мы бросим его на произвол белым бандам,—не теряйте минуты, шлите подкрепление...

— Что же мы сделаем без распоряжения Главкома?—крикнул Соколовский. — Я еще раз пойду попытаюсь соединиться с ним по Юзу...

— Иди, попробуйся,—зловеще сказал Гымза... Все посмотрели на него.—А я вот что скажу: ступай ты, возьми четырех бойцов, вот Телегина возьми, и дуйте вы в штаб на дрезине... И ты без распоряжения не возвращайся... Сапожков, пиши бумагу товарищу Сорокину...

На травянистом кургане стоял всадник и внимательно, приложив ладонь к глазам, глядел на желтую полоску железнодорожного полотна,—по нему быстро приближалось облачко пыли.

Когда оно скрылось в выемке, всадник коснулся левым шенкелем и шпорой коня,—худой рыжий жеребец вздернул злую морду, грызя мундштук,—повернул и сошел с кургана, где по обоим склонам лежали перед только что набросанными кучками земли добровольцы — взвод офицеров.

— Дрезина,—сказал фон-Мекке, соскакивая с седла, и стеклом стал похлопывать жеребца по передним коленям,—ложись!—Норовистый конь подбирал ноги, прят ушами, все же, переупрямленный, с глубоким вздохом опустил, касаясь мордой земли, и лег. Ребристый бок его раздулся и затих.

Фон-Мекке присел на корточки на верху кургана рядом с Роциным. Дрезина в это время выскочила из выемки, теперь можно было различить шестерых людей, сверкающие штыки.

— Так и есть, красные!—фон-Мекке повернул голову налево:—Отделение!—Повернул направо:—Готовься! По движущейся цели беглый огонь... Пли!

Со звуком накрахмаленного коленкора разорвался воздух над курганом. Сквозь облако пыли было видно, как с дрезины упал человек, перевернулся несколько раз и покатился под откос, рвя руками траву. Несколько пуль неподвижно пригвоздили его к земле.

На уносящейся дрезине стреляли,—трое из винтовок, двое из револьверов. Через минуту они должны были скрыться во второй выемке за будкой стрелочника. Фон-Мекке, свистя в воздухе хлыстом, бесновался:

— Уйдут, уйдут! Ворон вам стрелять! стыдно!

Роцин считался хорошим стрелком. Спокойно ведя мушкой на фут впереди дрезины, он выцеливал широкоплечего, рослого, бри того, видимо, командира... «До чего похож на Телегина,—подумалось ему,—да... это было бы ужасно»...

Роцин выстрелил. У того слетела фуражка, и в это время дрезина нырнула во вторую выемку. Фон-Мекке швырнул хлыст:

— Дерьмо! Все отделение дерьмо! Не стрелки, господа офицеры,—дерьмо!

И он с выпученными глазами непроставшегося убийцы ругался, покуда офицеры не поднялись с земли и, отряхивая коленки, не начали ворчать:

— Вы бы, ротмистр, попрдержали язык, тут есть и повыше вас чином.

Вкладывая свежую пачку патронов, Роцин чувствовал, как все еще дрожат руки. Отчего бы? Неужели от одной мысли, что то мог быть Иван Телегин? Вздор,—он же в Петрограде...

Комиссар Соколовский и Телегин, с обвязанной головой, поднялись на крыльцо кирпичного двухэтажного дома,—станичного управления,—стоявшего, по обычаю, напротив собора на широкой немощенной площади, где в прежнее время бывали ярмарки, и шла бойкая торговля. Сейчас лавки стояли заколоченными, окна выбиты, заборы повалены. В соборе помещался лазарет, на церковном дворе трепалось на веревках солдатское тряпье.

В станичном управлении, где помещался штаб главкома Сорокина, в прихожей, забросанной окурками и бумажками, сбоку лестницы, ведущей наверх, сидел на венском стуле красноармеец, держа между ног винтовку. Закрыв глаза, он мурлыкал что-то степное. Это был широкоскулый парень с непрочесанным вихром,—знаком воинской наглости,—выпущенным из-под сдвинутой на затылок дворянской фуражки (белый верх, красный околыш). Соколовский торопливо спросил:

— Нам нужно к товарищу Сорокину... Куда пройти?

Боец открыл глаза, мутноватые от сонной скуки. Нос у него был мягкий, не серьезный. Он посмотрел на Соколовского,—на лицо, на одежду, на сапоги, потом—так же—на Телегина. Комиссар нетерпеливо придвинулся к нему:

— Я вас спрашиваю, товарищ... Нам по чрезвычайному делу—видеть главкома.

— А с часовым не полагается разговаривать,—сказал вихрястый.

— Фу ты, чорт! Это всегда в штабах такая сволочь—формалисты!—крикнул Соколовский. — Я требую, чтобы вы ответили, товарищ: дома Сорокин, или нет?

— А кто его знает.

— А где начальник штаба? В канцелярии?

— Ну, в канцелярии.

Соколовский дернул Ивана Ильича за рукав, кинулся было на лестницу. Тогда часовой сделал падающее движение, но остался сидеть на стуле, только выпростал из-за ног винтовку:

— Вы куда ж идете?

— То-есть, как—куда?—к начштабу.

— А пропуск имеется?

У комиссара даже пена выступила на губах, когда он начал объяснять товарищу часовому—по какому делу они примчались на дрезине. Тот слушал, глядя на пулемет, стоявший перед входом, на декреты, приказы, извещения, списки, которыми сплошь были залеплены стены в прихожей. Замотал, наконец, головой:

— Надо понимать, товарищ, а еще вы сознательный,—сказал он с тоской,—есть пропуск—иди, нет пропуска—беспощадно буду стрелять.

Приходилось подчиниться, хотя пропуска выдавали где-то на другом краю площади, и присутствие, наверно, было заперто, комендант ушел,—скажут—до завтра... Соколовский сразу даже как-то

устал... В это время с площади в дверь кинулась, бухая сапогами, низенькая фигура с винтовкой, в разодранной до пупа рубашке, крикнула:

— Митька, мыло выдают...

Часового как ветром сдуло со стула. Он выскочил на крыльцо. Соколовский и Телегин беспрепятственно поднялись во второй этаж, и, после того, как припухлоглазые хорошенькие гражданочки, в шелковых кофточках, посылали их то направо, то налево,—нашли, наконец, комнату начштаба.

Там, с ногами на ободранном диване, лежал щегольски одетый военный, рассматривая ногти. С крайней вежливостью и вдумчиво-пролетарским обхождением, через каждое слово поминая товарищ (при чем «товарищ» звучало у него совсем, как: граф Соколовский, князь Телегин)—он расспросил о сути дела, извинился и вышел, поскрипывая желтыми, до колена, шнурованными башмаками. За стеной начался шопот. Хлопнула вдалеке дверь, и все затихло.

Соколовский горящими глазами глядел на Телегина:

— Ты понимаешь что-нибудь? Куда мы приехали? Ведь это, что же, — белый штаб?

Он поднял худые плечи, и так и остался натопорщенным от крайнего изумления. Опять за стеной зашептали. Дверь широко распахнулась, и вошел начальник штаба,—средних лет, плотный, с большим лысым лбом, нахмуренный человек, в грубой солдатской рубашке, подпоясанной по большому животу кавказским ремешком. Он пристально, бегло взглянул на Телегина, кивнул Соколовскому и сел за стол, привычным движением положив перед собой волосатые руки. Лоб его был влажен так, как у человека, который только-что хорошо поел и выпил. Почувствовав, что его рассматривают, он жестче нахмурил одутловатое, красивое лицо с мешочками под глазами:

— Дежурный мне передал, что вы, товарищи, прибыли по экстренному делу,—сказал он важно и холодно,—меня удивило, почему командир полка или вы, товарищ комиссар, не вызвали меня к Юзу.

— Я три раза пытался соединиться,—Соколовский вскочил и вытащил из кармана телеграфную ленту, протянул ее начштабу—как мы можем спокойно ждать, когда погибают товарищи!.. От штаба армии распоряжений нет... Нас умоляют о помощи... Полк «Пролетарской свободы» гибнет, при нем обоз из двух тысяч беженцев...

Начштаба мельком взглянул на ленту и бросил ее,—она запуталась о массивную чернильницу:

— О том, что сейчас идут бои в расположении полка «Пролетарской свободы», нам, товарищи, известно... Хвалю ваше усердие, ваш революционный пыл, товарищи... (Он, как бы, подыскивал слова.) Но впредь я просил бы не развивать паники... Тем более, что операции противника в данном районе носят случайный характер... Они не серьезны... Словом, все меры приняты, вы можете спокойно вернуться к вашим обязанностям.

Он поднял голову. Взгляд был строг и ясен. Телегин, понимая, что разговор окончен, поднялся. Соколовский сидел, опустив голову, точно его пришибли.

— Я не могу вернуться в полк с таким ответом, — проговорил он, — сегодня же бойцы сбегутся на митинг, сегодня же полк самовольно выступит на помощь «пролетарцам»... Предупреждаю, товарищ, что на митинге я буду говорить за выступление...

Начштаба начал багроветь, голый, огромный лоб его заблестел. Шумно откинув кресло, он встал, в на половину сваливающихся солдатских штанах, засунул руки за пояс:

— И вы ответите перед ревтрибуналом армии, товарищ! Не забывайте, что у нас не семнадцатый год!

— Не запугаете, товарищ!

— Молчать!

В это время дверь быстро распахнулась, и вошел высокий, необыкновенно стройный человек в синей черкеске тонкого сукна. Мрачное, сильное, красивое лицо его, с темными волосами, падающими на лоб, с висячими усами было нежно-розового цвета, какой бывает у запойно пьющих и у жестоких людей. Губы его были влажны и красны, черные глаза расширены. Размахивая левым рукавом черкески, он вплоть подошел к Соколовскому и Телегину, взглянул им в глаза диким взглядом. Повернулся к начштабу. Ноздри его гневно дрогнули:

— Опять старорежимные ухватки! Это что такое за «молчать»? Если они виноваты, они будут расстреляны, но без генеральского издевательства... В революционной армии командарм простому обозному не смеет крикнуть—«молчать»...

Начштаба выслушал замечание молча, опустив голову. Возражать не приходилось,—это был сам главком, Сорокин.

— Садитесь, товарищи, я слушаю вас, — проговорил он несколько спокойнее и присел на подоконник.

Соколовский снова принялся об'яснять цель поездки: добиться разрешения Варнавскому полку немедленно выступить на помощь соседним с ним «пролетарцам», — кроме революционного долга это продиктовано также простым расчетом: если «пролетарцы» будут разбиты—Варнавский полк окажется отрезанным от базы.

Сорокин только секунду сидел на подоконнике. Он принялся бегать от двери к двери, задавая короткие вопросы. Ладная шапка волос его разлеталась, когда он стремительно поворачивался. Командовал армией он недавно. Солдаты любили его за пылкость и храбрость. Он умел говорить на митингах. И то и другое в те времена часто заменяло военную науку. Он был из казачьих офицеров, в чине под'есаула воевал в армии Юденича в Закавказье. После Октябрьского переворота вернулся на Кубань и у себя в станице Петропавловской организовал из станичников партизанский отряд, с которым удачно дрался с генералом Покровским и при осаде Екатеринодара. Звезда

его быстро всходила. Слава туманила голову. Силы плескались через край,—хватало времени и воевать, и гулять. К тому же начштаба с особенной заботой окружал его хорошеенькими женщинами и всей подходящей обстановкой для разгула души.

— Что вам ответили в моем штабе?—спросил он, когда Соколовский окончил и судорожно вытирал рот грязным комочком платка. Начштаба сказал поспешно:

— Я ответил, что нами приняты все меры к спасению полка «Пролетарской свободы». Я ответил, что штаб Варнавского полка вмешивается в распоряжения штаба армии, что совершенно недопустимо, и кроме того—создается паника, которой нет основания...

— Э, вы, товарищ, не так подходите к этому делу,—неожиданно примиряюще проговорил Сорокин,—дисциплина—да, да... Но есть вещи в тысячу раз важнее вашей дисциплины... Воля масс... Революционный порыв нужно поощрять, хотя бы это шло вразрез с вашей наукой... Пусть операция Варнавского полка будет бесполезна, пусть вредна, черт возьми... У нас революция... Запретите им сейчас, они кинутся на митинг,—я знаю этих горланов, они опять будут кричать, что я пропиваю армию...

Он отбежал к печке и уже бешено взглянул на Соколовского:

— Подайте рапорт.

Телегин сейчас же вынул бумагу и положил на стол. Главком схватил ее, прочел бегающими зрачками и, брызгая пером, начал писать:

— «Приказываю Варнавскому полку немедленно выступить в походном порядке и выполнить свой революционный долг»...

Начштаба глядел на него с усмешкой, когда же главком протянул ему бумагу, он отступил, заложив руки за спину:

— Пусть меня судит трибунал, но этого приказа я не скреплю, товарищ Сорокин...

В ту же минуту Иван Ильич бросился и схватил Сорокина за руку у кисти, не давая ему поднять револьвер. Соколовский заслонил собою начштаба. Было слышно только, как все четверо тяжело дышали. Сорокин вырвался, сунул револьвер в карман и вышел, бухнув дверью так, что полетела штукатурка...

(Продолжение следует)

В 1917 году

Из воспоминаний В. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

І. ПАРИЖ

„Шарбон у ля пе!“

Эта зима особенно тяжелая. Холодная и склизкая. Но не везде в Париже одинаково голодно, холодно и склизко.

В центре города, на бульварах, — разнузданно, нарядно. В центре — весело поблескивают умытые витрины пухлых магазинов, светлые окна теплых квартир.

На окраинах — сдержанно и грязно. На окраинах подслеповато щурятся опустевшие запыленные окна запущенных лавок. Сегодня нет мяса, нет зелени. Продается мука и хлеб. У немногих еще торгующих магазинов густые «хвосты». Над ними — угрюмость и глухая печаль... Война затянулась и не видно ей конца. Нет рабочей семьи, где бы уже не оплакивали потери близкого человека. И еще голод и холод...

Особенное возбуждение в «хвостах» близ угольных складов. «И сегодня нет продажи», хотя в мерии выдавали квитанции и в погоне за ними пришлось уже потерять полдня...

Северные угольные районы заняты немцами. Угля едва хватает на обслуживание армии, военного флота, на госпитали и тюрьмы, на барские квартиры и публичные дома, угля нет для бедняков.

...В большом грязном зале упраздненного кабачка, под низким прокуренным потолком, — живо волнующаяся масса разгоряченных голов, острых жестов, пестрых криков. Только случайно прорываются сквозь общий гул слова оратора. Женщина-простоволосая, с жестами привычного лектора. «Мы жены и сестры»... «Наш очаг осиротел»... «Война без конца, война на измор». «Нас хотят уморить». «Нет продуктов, мы голодаем — богатые не голодают». «Нет угля, его нет только для нас». «Должно быть равенство и в окопах, и в тылу». «Будем требовать: Довольно снарядов! Дайте уголь или заключайте мир!».

Каждая фраза подчеркнута одобрением, каждая фраза прорезана острым выкриком.

Мелькают листки без подписи, выделяется густо заголовоч-лозунг — «Шарбон у ля пе» («Уголь или мир!»).

...Сейчас же от дверей — стихийная демонстрация. Сотни женщин, иные с детьми на руках, исхудалые, растрепанные... но легко влитые в стройные ряды, с этим особым чувством ритма парижан сразу вступая в шаг, — быстро движутся к центру предместья. «Шарбон у ля пе!». «Шарбон у ля пе!». «Шарбон у ля пе!» и в такт резкого выкрика—быстрый четкий шаг.

Рабочим кварталом толпа растет. Одна за другой пустеют мастерские на ее пути. Здесь их не мало — мелких заводиков, подручных крупных фабрик военного снаряжения.

Каждый сарай превращен в мастерскую. Каждый рантье норовит взять с подряда выгодную работку на армию. Тысячи женщин захвачены ими. Сейчас они бросают станки, бегут на улицу в ряды демонстранток:

«Довольно снарядов!».

«Уголь или мир!».

...Площадь пред мерией ограждена конной и пешей полицией. Городовые смущенно и неуклюже уговаривают напирющую толпу. Все острее выкрики: «Шарбон у ля пе!». «Дайте сюда мера!». «Где он, толстяк?».

На крыльце мерии — показывается небольшая группка явно перепуганных людей. Из ее среды — жесты, призывающие к молчанию. «Господин мер — в городской ратуше... Оттуда сообщает, что уголь прибыл и будет завтра же роздан. Старые квитанции действительны»...

Глухой рокот... Демонстрация угрюмо рассеивается. «Что он сказал?». «Завтра будет уголь». «Ну, если завтра не будет угля, я знаю, что делать!»...

На завтра угля не было. Газеты глухо говорят о разгроме нескольких угольных складов, о побитых городских, об арестах, ну, конечно, — «это происки немцев». Газеты молчат о почти всеобщей забастовке мастерских по военному снаряжению...

Марсельеза побита интернационалом

На авеню Ваграм небывалое оживление. Перед входом в обширный концертный зал — серая, густая, волнующаяся масса. Зал уже набит до отказа, и все новые людские волны заливают широкие панели богатой авеню.

«От имени лиги прав человека и гражданина»... Олар — старый жрец исторической науки—популярен из-за своей великодушной гуманности. Добродушно слушают его монотонную речь. «В России произошли великие исторические события... Правительство царей пало. Николай II отрекся от престола. Совершился суд истории... Власть перешла в руки лучших людей страны»... Ползут закругленные искусные периоды о декабристах и «Народной Воле», о Пушкине и Тургеневе, Толстом и, конечно, Достоевском. О «борьбе» Государственной Думы и Милюкове (с места — «Скажите нам о Дарданеллах». Смех). Оратор, немного смешавшись, долго раскачивает заключительную фразу приветствия новому правительству, «верному идеалам западной демократии».

Легкие аплодисменты и вежливое шиканье, переходящее в глухой ропот, когда на трибуне, взамен Олара, появляется упитанная широкая

фигура «социалиста» Реноделя. Ренодель стремится подражать Жоресу. Но его громкий рык из луженой глотки лишен захватывающего тембра глубокого голоса покойного трибуна. Пафос Реноделя трескуч, фальшив. Пафос Жореса, пафос убитого «апостола мира», был пафосом великого сострадания и благородной надежды.

Ренодель начинает сразу с высоких нот. «Русская февральская революция очищает почву для подлинного патриотизма»... «Союзные демократии защищают дело мира и освобождения всех народов. Их великое дело было, однако, затенено кровавой тенью преступного, развратного, продажного царизма. Но союзники видели за царизмом (выкрик «Дарданеллы») великий русский народ. Великий русский народ согнал кровавые тени, великая русская демократия взяла судьбы страны в свои руки. Она поведет дело освободительной войны с удвоенной силой до полной победы».

Возглас: «Войну против войны». Аплодисменты. Возгласы: «Долой». Сотни людей с мест почти разом протягивают к трибуне правую руку, раскрывая и смыкая в щепоть пальцы. Символический жест, приглашающий оратора замолчать. Выкрики: «Та гелль!» (Заткни глотку!).

Ренодель пытается продолжать, но его трубный голос тонет в общем шуме.

В одном углу сторонники Реноделя вдруг затягивают «Марсельезу». Но первый же куплет перебит мощным «Дебу ле дамне де ля терре». «Интернационал» хоронит патриотический марш...

Несколько рослых ребят в широких шароварах и красных кушаках «террасье» (землекопов) врываются на трибуну. Председатель спасается в заднюю дверь. Ренодель слетает, теряя по дороге с лица последний остаток самоуверенной наглости.

Пение смолкает. Мощным голосом выкрикивает внеочередной рабочий оратор. «Они говорят — продажный, развратный царизм. А наша-то Республика, Марьянка, гуляющая девка! Не она ль держала Романовых на содержаньи. (Верно! Bravo!) Русский народ пришел к власти? Да, пришел. Они говорят — пришел, чтобы делать войну. Это, мол, — малая революция для большой войны. Ложь! Народ не хочет войны. Не надо ему Дарданелл. Он — за мир, за немедленный мир. Долой войну!».

Общий грохот. Опять «Марсельеза» и вновь «Интернационал». Тысячи глоток подхватывают его и выносят наружу, на переливающую народом авеню де Ваграм...

С балкона зала в толпу веером летят белые листовки. Их жадно подхватывают. «Письмо тов. Ленина к французским рабочим».

«...раскол рабочего движения и социализма во всем мире есть факт. Налицо две непримиримых тактики и политики рабочего класса по отношению к войне. Закрывать глаза на это смешно».

«...Мы провозглашаем великое международное объединение тех социалистов всего мира, которые в данной войне порвали с лживой фразой о «защите отечества» и работают над проповедью и подготовкой всемирной пролетарской революции».

„А ба ля герр!“

1 мая 1917 года.

...Зал и двор «Дома Синдикатов» переполнены. На трибуне — представители «Комитета по возобновлению международных сношений». Коренастый, четкий секретарь федерации металлистов — Мергейм, тощий худой учитель Лорио, еще кто-то из французов, С. Дридзо (Лозовский).

...Яркие речи о пролетарской классовой солидарности, рассказ о попытках воссоздания Интернационала, много — о внутренней реакции и о безнадежной зарядке «войны на измор». Не четко о социал-предателях. Не отчетливо о крахе 2-го и о создании 3-го Интернационала. Еще менее четко о войне с войной. Вяловато — о борьбе за «демократический мир, мир без аннексий и контрибуций»...

С трудом добиваюсь слова от имени русских большевиков. Выкрикиваю среди неясного шума непривычную здесь речь «об измене старых вождей социалистической революции, о переростании русской революции в мировую, переходе от империалистической войны к гражданской, — «с окопов мировой бойни к баррикадам классового восстания». Война — войне и до победного конца, до торжества социалистической революции».

Аплодируют жидковато. Здесь, среди организованных рабочих, царит авторитет старых вождей синдикального движения. А они — в лучшем случае, на правом крыле Циммервальда...

Восклицаниями согласия, аплодисментами принимается умеренная интернационалистская резолюция.

...Со двора на узкую улицу вытягивается стройное шествие. Сотни, тысячи рабочих и работниц. Откуда-то красные флаги. Быстрым темпом, меняя затяжное «А ба ля герр!». «А ба ля герр!». «А ба!», на энергично обрубленное: «Вив ля пе! Вив ля пе! Вив ля пе!» — движутся бодро к широкой площади Республики.

Впереди смешанных рядов разгоряченных женщин, суровых пожилых мужчин — несколько инвалидов войны — безруких, безногих, слепых, подерживаемых друзьями. И, возвышаясь над ними целой головой, весь пламенея возбуждением, широкоплечий парень — взмахивает время от времени костылем — обрубает ритм: «Долой войну, долой войну, долой!».

В домах, на пути толпы, распахнуты окна, вывешиваются красные флаги, несутся приветствия... Внизу лавки поспешно захлопывают ставни, двери.

С боковой улочки вдруг выскакивает пара циклистов-полицейских. Молча, под улюлюканье толпы, ныряет обратно в переулок...

Пение усиливается. Толпа растет. Крепкий шаг чеканит мостовую.

Из узкой улочки — в обширное авеню — толпа перестраивается широкой колонной, замедляя шаг... Навстречу с площади Республики четким строем — черные ряды городских. За ними — группы конников.

...Мгновенные колебания. Но злобный взмах костылей, резкий выкрик «Долой войну!». «Да здравствует мир!». И опять, отчетливо отбивая: «Вив ля пе!» «Вив ля пе!» — толпа движется вперед — палки, кулаки на-готове...

И вот смешались в яростной свалке. Передние ряды — инвалидов и женщин — смяты; гигант-вожак долго еще держится один, яростно крича: «Долой войну», отражая костью удары полицейских. Задние напирают. Но из боковых улочек выскакивают новые группы городских с матраками (резиновыми дубинками).

Отчаянно отбиваясь, рабочие отступают, держась плечо к плечу, втягиваются вновь в узкие переулки, откуда вынесли на площадь свое проклятье войне...

На площади Республики спокойно и резко высится внушительная статуя «Марьяны»: дебая, огромная баба с добродушной улыбкой, в окружении грузных плодов — символ изобилия и благосостояния Франции.

На площади Республики — четкие группы конных городских и, под ногами лошадей, несколько грязных каскеток, поломанных палок и... пятен крови...

II. В ПУТИ

Франция, милая, прекрасная страна пылких, порывисто-великодушных пролетариев, прощай!

Совсем было подготовились дать ходу нелегально в Швейцарию, чтоб оттуда, хотя б «запломбированными» двинуть через Германию — «домой».

Вдруг французское правительство разрядилось — политические эмигранты, без различия мнений, могут покинуть Францию. Англия, в свой черед, их пропускает.

В Лондоне. Ждать неопределенное время, когда придет оказия пересечь Северное море в Скандинавию, — ведь Англия блокирована германскими подводками.

Мы, эмигранты-интернационалисты, «большевики» — под неустанным, негласным, но вполне ясным наблюдением.

Урываемся, однако, в рабочий клуб в Уайтчепеле, где можно кой-кого повидать.

Рекомендованный товарищ — француз, лондонский старожил, восторженно-общителен. Жадно слушает о революции, нашей, не буржуйской. «Так это она идет, пролетарская». «Социаль». «Советы рабочих депутатов! Это хорошо. Это повторяет, но исправляя, парижскую коммуны».

Знакомит нас с несколькими англичанами-рабочими. Сухие энергичные ребята. Через француза разговариваемся с ними. С спокойной флегмой рассказывают о настроениях на заводах. Война совсем не популярна в массах. Надоела, хотят скорее кончать. Проповедь гражданского мира уже не действует. Вот только что началась грандиозная забастовка механиков. 300.000 требуют повышения заработной платы и отказа от мобилизации.

Остальные рабочие все сочувствуют механикам. Того и гляди движения разрастется...

Переходят на «русские дела».

Точно ставят вопросы и не сразу высказываются. «А, как вы думаете кончить войну?». «Братание... А, если немцы на него не пойдут?». «Прежде всего, революция у себя, до конца? А немцы прорвут фронт, что тогда?..»

Тут еще — груз сомнений и националистических пережитков. Но искреннее желание понять.

А на прощанье, — крепкое пожатье: «Ол райт! Пусть будет вам удача. Мы не позволим вам мешать!».

...Посетили могилу Карла Маркса. В обширном кладбище, на склоне холма, скромная плита с лаконичной надписью: имя, года жизни.

«По завещанию, — раз'ясняет наш француз, — на могиле не должно быть никаких украшений».

«А куст красных роз нельзя посадить?».

Выясняется, что можно.

Француз—немного садовник—легко это устраивает. На могиле Карла Маркса — густой куст красных розанов, на кусте дощечка с надписью по-русски: «Освобожденные революцией буржуазной во имя революции социалистической».

...Две недели прошло. Негаданно, поздним вечером срывают нас, отводят на вокзал. Через несколько часов — мы в каком-то шотландском порту. Здесь — спешная погрузка на пароход. На рассвете уже плывем Северным морем... Едва видны за волнами — спереди, сзади миноносцы охраны. А на волнах порою — вдруг бревна, лоскутья, какие-то обломки. Говорят, вчера удачно работали немецкие подводки...

Как свежий сон, мелькнул голубой фиорд. Берген. Солнцем залитая, облаканная Христиания. И вот — хмурый Стокгольм. Здесь — нам пересадка, и рядом с нашим вагоном — вагон какой-то французской миссии, едущей в Питер. Говорят, сам Альбер Тома, министр военного снабжения...

Вот они — группка лощеных господ у спального вагона.

Импровизируем концерт. Хором основательных глоток скандируем. «А ба ля герр», «а ба ля герр», «а ба!» и режем четко—«Вив ля пе!» «Вив ля пе!».

Французов перекашивает. Смываются в вагон.

К вечеру — у Торнео. Тут уже «наши». На пароме — через речку. Видим красное знамя нашей границы. Дружно хором: «Вставай, проклятьем заклеимный!».

Выехавшие на встречу — какой-то таможник и «представитель» Временного правительства — недовольно хмурятся, что-то ворчат. На берегу — погранохрана, офицер: «Нельзя ли прекратить пение, господа?».

«Ах ты, язви тебя!» — срывается кто-то из наших, видать сибиряк.

«Погоди, товарищ! — успокаиваем. — До Питера погоди».

Сошли... Продолжительный осмотр... Чорт с ними! Скорее—в Питер!..

Это было в начале июня 1917 года.

III. В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

В красном подполье

«...Идемте. Нас ждут. Не задерживайтесь...» Наспех отпустив нескольких посетителей, дав необходимые указания заместителю по секретарству в Военно-Революционном Комитете, выхожу следом за Невским и Подвойским.

В белесых сумерках осеннего вечера автомобиль долго крутится разными закоулками, наконец, останавливается на одной из улочек Выборгской стороны... Прошли еще пару переулков, внимательно оглядываясь. Наконец, убедившись в отсутствии слежки, гуськом проскользнули в ворота одного из неказистых домов.

На условный стук — открыли. Хозяин квартиры, приземистый пожилой рабочий, легко признал моих спутников.

— Входите, Ильич сейчас будет...

Ждали недолго.

Ну, кто б его узнал, нашего любимого, до малейших, кажется, морщинок знакомого, товарища-вождя! Перед нами стоял седенький, под очками, довольно бодренький старичек добродушного вида: не то учитель, не то музыкант, а, может быть, букинист.

«Ильич» снял парик, очки и искрящимся обычным юмором взглядом сразу окинул нас.

— Ну, что нового?

Новости наши не согласовались. Подвойский выражал сомнения. Невский то вторил ему, то впадал в уверенный тон Ильича. Рассказываю о положении в Финляндии. Моряки с крупных судов настроены весьма революционно, часть пехоты тоже, но команды некоторых миноносцев и подводок мало надежны, свеаборгские артиллеристы все еще в плену у соглашателей. Казаки-кубанцы внушают опасения, но выборгский гарнизон берется не выпускать их из Финляндии.

«Ильич» перебивает: «Нельзя ли направить весь флот к Питеру?».

— Нет, прежде всего, фарватер не допустит, потом крупные суда побаиваются подводок и миноносцев. Наконец, оголять фронт матросы не захотят.

— Но должны же они понимать, что революция в большей опасности в Питере, чем на Балтике!

— Не очень понимают.

— Что же можно сделать?

— Можно дать два — три миноносца в Неву, прислать сборный отряд матросов и выборжцев. Всего тысячи три.

— Мало, — недовольно и укоризненно говорит «Ильич».

И я чувствую будто вину свою, что так мало могу обещать.

— Ну, а северный фронт?

— По докладу его представителей там прекрасное настроение и можно ждать оттуда большой помощи против частей, двинутых с других фронтов... Но, чтоб знать точно, надо бы туда съездить.

— Съездите. Нельзя медлить.

...Осторожно выходим на улицу. У самых ворот — высокая фигура, прилаживающаяся влезть на велосипед.

«Неужели шпик?» Только сегодня в газетах было заявление Временного правительства, что напали на след Ленина и Зиновьева, и что арест «большевистских вождей» неминуем.

Невский повернул опять в дом — предупредить. Прохожу за угол, сжимая револьвер. Подвойский — у другого угла.

Велосипедист тронулся. Через пару минут «Ильич», вновь неузнаваемый, переправляется в другое логово.

Мы успокоенно зашагали к автомобилю.

В С м о л ь н о м

Здание бывшего института благородных девиц непрерывно гудит, как приглушенный, но могучий мотор. У под'езда, под чехлом чутко дремлет трехдоймовка.

Комендант — матрос Маньков, — выбивается из сил, чтобы наладить караул. И идет, идет в Смольный и из Смольного, через размякшее осеннее поле, почти непрерывная людская волна, Идет простота — солдаты, рабочие, барских пальто не видно, лаком не блестит.

Внутри деловая суета. Как она непохожа на то «оживление», что царило тут в совсем недавние дни меньшевистского засилия. Тогда все было аккуратненько и чистенько, студентики, курсистики, на дверях бумажонки, номерочки. Этакий вылощенный порядочек.

Теперь ворвалась улица в Смольный. Всюду следы толп... Вот тут караулка, рядом штаб Красной гвардии. Накурено, наслежено. Ящики с винтовками, патронами, с провизией. В углу за простым столом штаб с выдержанным Юрениным. № 18 — постоянная толкучка — комната фракции большевиков с неизменным и неутомимым Лашевичем. Во втором этаже — помещенья исполкома Петроградского Совета, ряда разных советских объединений — созданы Петроградского областного и северного Советских с'ездов. Боевые, ощеренные комитеты. И унылый ряд пустующих запертых комнат с аккуратными надписями — «Междугородный Отдел ЦИК», «Председатель ЦИК»... Редко, редко проскрипит здесь какой-либо заблудший меньшевик. Все они сбежали из Смольного в Мариинку, где заседает так называемый «Совет Республики», печальный соглашательный ублюдок, порожденный пресловутым Демократическим Совещанием...

Вот большой зал, где почти каждый день бурлят собрания то Петроградского Совдепа, то профессиональных союзов, то какого-либо с'езда. А в третьем этаже — Военно-Революционный Комитет — штаб революции и Военный Отдел Петроградского Совета.

Смольный насторожен. Постоянно трещат телефоны. Мчатся ординарцы. Работает во-всю связь от воинских частей. Почти ежедневно — гарнизонные собрания, собрания фронтовых делегатов.

В Смольном скрещиваются тысячи волей, надежд, призывов со всех концов страны. Смольный по края насыщен великой энергией, бодрой и грозной жизненностью.

...Сегодня (23 октября) особенно важное заседание Военно-Революционного Комитета. И почти все его члены в сборе. Энергичный Подвойский, рассудительный Мехоношин, стесняющийся своего левоэсерства Лазимир, постоянно уносимый вихрем забот Карахан, наконец, Лашевич и специально

вызванный Троцкий. Комиссар Петропавловской крепости Тер-Арутинянец сообщает, что комендант отказывается его признать, грозит арестом во исполнение приказа окружного штаба. Это решительный момент. Обеспечение Петропавловской крепости за Керенским крайне упрочит позиции Временного правительства. Овладеем крепостью мы — это будет страшным ударом керенщине, — падет ее основной опорный пункт в Питере, и арсенал со 100.000 винтовок будет нашим.

Настаиваю на решительных мерах. Опираясь на верную нам часть гарнизона, ввести в крепость батальон вполне надежный лейб-гвардии Павловского полка. Поддерживает Тер-Арутинянец и еще кто-то. Большинство возражает: «Нельзя рисковать. А если крепость окажет сопротивление!».

Спор решает Троцкий. Надо попытаться взять крепость изнутри — провести митинг и склонить гарнизон на сторону Советской власти. Большинство решено: Троцкий и Лашевич отправятся митинговать в крепость... И чутье не обмануло председателя Петроградского Совета. Могучая волна возмущения против буржуазной войны и против бессильного и гнусного соглашательского правительства, волна, поднявшаяся во всей стране, не минула и солдат, введенных с фронта в Петропавловскую крепость. Они восторженно встретили представителей Петроградского Совета. Почти единогласно приняли резолюцию о необходимости Советской власти, о своей полной готовности с оружием в руках восстать против Временного правительства.

Петропавловская крепость—главная опора керенщины в Петрограде—сдалась без выстрела.

Громадный арсенал перешел в руки восставших рабочих.

Это была решительная победа рабоче-крестьянского восстания.

Конец Временного правительства

...Двенадцать часов 25 октября. По словам коменданта Петропавловки Благодрава все в крепости готово. Орудия накатаны на валы. Обстрел Зимнего можно начать по первому сигналу... Из Смольного сообщают, что захват всех правительственных зданий и вокзалов обошелся без кровопролития. Соглашательский предпарламент — «совет республики» разогнан в два счета. Съезд Советов должен открыться в два часа дня. Надо скорее кончать с правительством Керенского.

Миноносцы из Гельсингфорса прибыли и с рассветом вошли в Неву. «Аврора» продвинулась к самому Николаевскому мосту.

Но вот что-то Дашкевич запаздывает — оцепления по Мойке из гвардейских частей все еще нет. Кронштадтцы известили, что раньше трех часов дня не смогут прибыть на транспортах.

...Быстро несет катер мимо нахохлившегося Зимнего дворца (на набережной какое-то движение, кажется, выдвигают орудие) к «Авроре». Славные ребята — моряки! Кой с кем мы знакомы по совместному сиденью волей Керенского в «Крестах». Выясняется, что обстреливать окружной штаб, где засело Временное правительство, с «Авроры» невозможно. Услав-

ливаюсь, что, по сигнальному выстрелу с Петропавловки, «Аврора» даст пару холостых выстрелов из шестидюймовки. Передаю миноносцам, чтобы проникли за Николаевский мост и развернулись по сигналу для обстрела Зимнего... Ну вот! «Кронштадтцы едут». Изрядно запоздали. Несколько тысяч молодых, стройных парней с винтовками в надежных руках заполняют палубу транспорта. Говорю им краткое приветствие именем Советской власти, указываю им цель. Вот Зимний — последнее прибежище керенщины. Его надо взять. Сейчас они высадятся у Конногвардейского бульвара, войдут в связь с первым флотским экипажем и после артиллерийского обстрела атакуют Зимний.

Говорю им, гляжу на эти энергичные нетерпеливые лица. Нет, этих не к чему агитировать. Могучий молодой вал докатился из Кронштадта. Держись, Керенский!

...Опять — в крепость. Точно ли все в порядке? Ультиматум, написанный в крепости еще утром, только что отправлен Временному правительству: «Если к 6 ч. 20 м. вечера не ответите, что сдаетесь, — с верков крепости и с судов будет открыт обстрел Зимнего».

— Только вот артиллеристы заявляют, что стрелять нельзя, — докладывает Благодрагов. — Снаряды не подходят, какого-то масла нет, панорам.

— Как? Но вы же говорили, что все готово! Вас просто надувают. Пойдем к батареям.

Уже темнеет. Мы изрядно плутаем в дебрях Петропавловки... Ну, конечно, эти господа просто стараются все сорвать. Ничего у них не ладится. Об'яснения путаны.

— Ладно. Вызовите артиллеристов с Морского полигона. Выстрел дайте из сигнальной пушки.

Поднялась суета, подозрительно долго возятся с сигнальной пушкой...

Совсем стемнело. Грозно, зловеще все напряглось вокруг Зимнего. Из Смольного нас торопят.

— Из-за вас может чорт знает что произойти, — упрекаю Благодрагова...

На той стороне вдруг вспыхивает перестрелка. Кто-то вбегает в комендантскую. «Они сдаются. Ультиматум принят». Благодрагов покачнулся, бросается со слезами ко мне, раскрыв об'ятья.

...На моторе — в штаб округа. Пробираемся сквозь наши заставы на Миллионной. У дворца беспорядочная стрельба... В штабе сдались несколько военных, правительство укрылось в Зимнем.

...Темнота. Всплески выстрелов, таканье пулеметов. По Миллионной беспорядочная толпа матросов, солдат, красногвардейцев то наплывет к воротам дворца, то отхлынет, прижимаясь к стенкам, когда с дровяных баррикад юнкера открывают стрельбу.

...Наконец-то! Глухо донесся орудийный выстрел. Еще и еще. Заговорила Петропавловка.

— Не предложить ли им сдаться? — спрашивает Чудновский, приведший часть павловцев и как всегда отважный и говорливый.

Артиллерийский обстрел подействовал. Сдались ударницы, какая-то школа юнкеров. Тут же на панели складывали винтовки и под конвоем уходили по Миллионной. Остальные юнкера упорствовали еще час. По узкой извилистой лестнице атаковать их было трудно, несколько раз они отразили натиск осаждавшей толпы.

Но и эти, наконец, дрогнули. Прислали сказать, что сопротивление прекращают. Поднимаемся в палаты дворца. Повсюду разбросаны остатки баррикад, матрацы, огрызки, обоймы, оружие. Разношерстная толпа за нами расплылась по всем этажам. Юнкера сдавались... Но вот в обширном зале у порога какой-то комнаты — их неподвижный четкий ряд с ружьями на изготовку. Осаждавшие замялись... Мы с Чудновским подходим к этой горсти юнцов, последней гвардии Временного правительства. Они как бы окаменели. Стоило труда вырвать винтовки из их рук.

— Здесь Временное правительство?

— Здесь, здесь,—заюлил какой-то юнкер.—Я ваш,—шепнул он мне.

...Вот оно — правительство временщиков, пытавшихся удержать неудержимое, спасти осужденное самой жизнью — последнее буржуазное правительство на Руси. Все тринадцать (только Керенский сбежал!) застыли они за столом, сливаясь в одно трепетное, бледное пятно.

«Именем Военно-Революционного Комитета объявляю вас арестованными!».

«Чего там! Кончить их!.. Бей!».

Матросы с «Авроры», несколько знакомых красногвардейцев помогли оттеснить раздраженную толпу. Наскоро составлен список бывших министров. Спешно сформирован караул. Передав Чудновскому комендатуру Зимнего, веду арестованных, под сильным конвоем, в Петропавловскую крепость.

З а р а б о т о й

(Набег Краснова)

...— Ну, как у вас? Что нового?

Докладываю подробно Ленину о положении на фронте. У Керенского сил немного. Казачья дивизия генерала Краснова. Пехоты незаметно. По слухам, ударники движутся через станцию «Дно». С юго-западного фронта Керенским снята дивизия пехоты, но задержана в пути. На северном фронте латыши и сибиряки разогнали соглашательские комитеты, обещают поддержку. Из Финляндии к нам прибыл сводный отряд моряков — тысячи полторы. Отборный народ. Выборжцы обещают отряд с артиллерией. Им удалось удержать на месте Кубанскую казачью дивизию. Против Керенского уже действует рабочая гвардия, моряки; у Пулкова — стрелки; остальные несут караулы; казаки, донцы 1, 4 и 14 полков сидят в казармах под неусыпным наблюдением. Наш правый фланг вполне прочен. Центр укреплен. Керенский угрожает Царскому Селу, Павловску, Пулкову. Угроза серьезна, ибо у нас слабо с артиллерией. У казаков артиллерия превосходна. Действует с ними также сильный бронепоезд. Путиловцы обещали изготовить бронеплощадку с зенитными орудиями, да что-то все их нет.

Ленин выражает нетерпение:

— А вы уверены, что выполнят?

— Они делают все, что могут, но не мешало бы подтолкнуть.

— Смотрите!

— Хотите лично убедиться, можно съездить и подтолкнуть заодно. Легко соглашается.

...Пронизывает до костей эта питерская предзимняя сырость. В открытом автомобиле Ильич почти совсем замерз, когда, наконец, мы подкатили к Путиловскому заводу. Завод освещен и гудит нутряным трудовым гулом... Пробираемся дворами в помещение фабрично-заводского комитета...

...Вздохмаченные, вымаранные, усталые, но деловые фигуры. Как-то не удивились нашему появлению. Как-то мало задержались вниманием на личности глубокопочтимого вождя. «Товарищ Ленин»... И опять в дело с головою. Некогда... Толково раз'ясняют, что делается и в чем задержка. Да, за пару дней наворочено столько, сколько за две недели раньше не вырабатывали.

Мы молчим, возвращаясь в Смольный. Ильич светло улыбается..

У Нарвских ворот — заставы красногвардейцев. Всюду их патрули, бдительные, неутомимые. В жалких пальтишках в чортову стужу, но бодрые и уверенные... Что же с этакой силой смогут поделывать дикие казаки — последняя ставка Керенского!

Но как она еще неуклюжа и грузна, — эта силушка! Эти доморощенные батареи, передвигаемые вручную. Этот бронепоезд путиловцев, насквозь пробиваемый пулями, но до краев насыщенный энтузиазмом...

И все же сломлена сила казачья мужеством питерских рабочих, матросов-балтийцев, атаковавших на «ура» бронечерепаху Керенского (сколько их полегло под Гатчиной, под Пулковым — родных, безымянных!). Казаки разбиты, Краснов в плену, Керенский сбежал. Юнкера разоружены...

И красный Октябрь гудит по всей стране.



Милое детство

И О С И Ф У Т К И Н

Глава из поэмы

Зеленая лирика

Летом — прекрасно!
Ни вши,
Ни снежка,
Выше колен
Знамениты гачи ¹⁾,
Бредень — на плечи
Под «же» — корешка ²⁾,
И
На протоку рыбачить.

Если плашкетам
Удача далась,
Если сумели
Местечко нащупать, —
Бьется в мотне
Золотистый карась,
Синий налиим
И крылатая щука.

Жизнь на протоке
Сыта и тиха...
Ляжешь к костру,
Убаюканный ленью,
Тихо и вкусно
Воркует уха,
Тихо и кротко
Воркует течение.

Луг за протокой
И пышен и ал:
Тлѐет и пышет
Цветочное благо!
Смотришь —
И кажется,
Кто разбросал
Национальные флаги...

Испорченная биография

Так протекала бы
Скромная жизнь,
Если не этот бы
Случай проклятый,
Если в судьбу мою
Не вяжись
Сам —
Генерал-губернатор!

Кто-то
И где-то
Калечил жену.
Лирик по сердцу,
Грабастая глыбу,
Бью я —
Без промаху...

Н-ну... и ну...
Глаз оказался
Выбит...

Город Иркутск
Удивительно мал:
Утром
Сморкнетесь, —
Звучит до заката.
Тут обо мне
Впервые узнал
Сам генерал-губернатор.

Ну, так повестка!
Повестку прочел
И, пораздумав...
Не поднял перчатки.
Нет, я не струсил,
Я пред-по-чел

¹⁾ Штанины.

²⁾ Товарища.

Лучше уж
Не встречаться.

Зимнее небо
Роняет снег,

Летнее небо —
Звездные свечи;
Что же может
Простой человек?
Маленький человечек?!

Небольшой диалог и большие дела

Но губернатор
Был не поэт.
Он был сторонник
«Твердых позиций».
Ну, если так,
Почему бы и «нет»?
Можно сразиться!

На губернаторе
Синий сюртук,
По сюртуку —
Горизонт из медалей.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте,
Милый друг!
(— Давно, — говорит, —
Не видались.)

Старый барон
Был сугубо суров.

Главное — глазки:
Не смотрит:
А... греет!
— Ну-с, — говорит, —
Ты...
...из жидов?...
— Нет, — говорю, —
...Из...
...Евреев.

Тут, невозможно
Гремя и трубя,
Стал он
Описывать круги.
— Да, я т-е-ебе!
Да, я
Из те-бя
Сделаю
Кугель!

Моя первая любовь

Дома — скандал!
Но знакомый народ
Мать утешал
Высотой поднебесий:
— Бог... не без сердца...
Может... помрет
А не помрет...
Так повесят...

Только один,
Один человек,
С бледным лицом,
С голубыми глазами,
Слезы скрывая,
Не поднял век,
Горе скрывая...
Замер...

— Милая Леля,
Да... И для нас

Счастье могло бы
Чуть-чуть покапать.
Но!...
У тебя,
Кроме скромных глаз,
Есть еще...
Па-па!
Дом трех-этаж-ный!
(Кроме коня,
Кроме пролетки
На толстых шинах!)
Что трехэтажного
У меня,
Кроме ма́терщины?..

Нет, не с тобой,
Да, не с тобой
Мне эту грустную
Пристань оставить!

.

Мудро глядит
Горизонт голубой
Над городской заставой

— Ой, че-ло-век,
Человек молодой!
— Что?
— И куда?
— И доколе?

И покачает
Седой бородой
Облако над раздольем,

Но, — ни о чем,
Но, — ни о ком,
Этой единственной ночью,
Под голубеющим
Колпаком,
Под золотым
Многоточьем!..

Путь двух джентльменов

С детства романтик —
Я шел,
Как на бал.
Друг был настроен,
Кажется, дрянно.
Друг возмущался,
Друг загибал,
— В господа!
— В драбодана!!!¹⁾

Он произнес
Знаменитую речь:
— Гад — на гаде,
Два гада — рядом...
Гадов — поджечь,
Гадов — пожечь!...
Будь я...
Гадом!!
...Справа река.
Над течением бел
Пар поднимался
Крылатым и сизым,
А в высоте,
Как открытый, горел
Бронзовый механизм...

— Костя, фартовый!
Это — не Рим.
Нерон — не ты,
Не треплися впустую,
Город — не знаю,
А мы — погорим²⁾,
Если к утру
Не плитуем³⁾.

— Слышишь, отец,
Никакого огня:
Будет на радостях малохолить!...
...Костя, пойми же
Ведь там...
У меня...
Все-таки
Леля...

Каждая тварь
По душе,
По крови
(Кто бы он ни был,
И что бы он ни был),
Просит немного
Тепла и любви
И голубого
Хорошего неба.

Так, ни о чем,
Так, ни о ком...
Вздыхая попеременно,
Шли на восток,
Шли босиком,
Два молодых
Джентльмена.

Пересекая последний вал,
Я оглянулся:
Далеко-далеко
Город как будто бы
Отплывал,
Сверкая созвездием окон!

1927 г.

¹⁾ Такое хорошее слово. ²⁾ Будем арестованы. ³⁾ Сбежим.

Зеленая дверь¹⁾

МИХАИЛ ПРИШВИН

Начало добра и зла

Друг мой, только теперь, когда умерли почти все родные и половина друзей, я начинаю немного понимать наше старое время. Для меня теперь интерес к новому состоит главным образом в том, чтобы иными, углубленными, глазами смотреть в прошлое, иногда очень отдаленное: читаю Эсхила и вот даже Эсхил не совсем тот самый: за эти трудные годы что-то и к немуросло.

Особенно это заметно по молодежи, когда сравниваешь, какие стали они, и какими были мы с вами. Мой сынишка по всем признакам должен бы выйти таким же застенчивым, как и я в его возрасте, между тем, новое время, кажется, совершенно уничтожило в нем этот мучительный недостаток. В его классе всего только трое: юношей и сорок девушек. Эти сорок единогласно выбрали его старостой и он стал общественным мальчиком. Обязанности старосты: вести заседания, наблюдать порядок в классе, быть представителем в школьном совете и множество всего другого. Я спросил его:

— Как же ты управляешься?

— Отлично управляюсь,—ответил он,—ведь если бы мальчики были, то, конечно, едва ли бы я легко справился, а девочек я всегда поверну, как мне хочется.

— Но ты их не стесняешься иногда, знаешь, все-таки девушки...

— Какой ты, папа, чудак, если бы одна была, с глазу-на-глаз, то, может быть, я бы и постеснялся, а то ведь сорок их под моим началом. Потом они, — сорок-то! если бы захотели, могли бы, конечно, выбрать себе своего женского старосту, а вот меня выбрали, значит, они хотят кого-то слушаться, и я их веду.

Так все просто! А мы, бывало, всего один раз в год допускались в женскую гимназию и не по делу, а только на бал. Дожидаешься там заветного танца, когда дамы сами приглашают себе кавалеров. С трепетом глядишь, как из большой и неопределенной толпы гимназисток

¹⁾ «Зеленая дверь» — вторая часть романа «Любовь» (I часть см. «Нов. Мир» 1927 г., кн. 2-я). «Любовь» является II томом романа «Кашеева цепь» (1-й том. Гиз. 1927 г.).

выходит одна, приближается и прикалывает к мундирчику красный бант: это значило, я избран, и она будет единственная у меня на целый год до следующего бала в женской гимназии.

До сих пор от этих балов осталось что-то похожее на волнующий запах весенних тонко ароматных цветов. Она раз приколола мне бантик, я танцевал с ней длинный котильон и за все время не сказал ни одного слова. Больше ничего и не было, а значение было безмерное, одно только имя ее, произнесенное вслух, заставляло меня вспыхивать, а когда начинали прямо дразнить, я дрался, и часто побеждал сильнейших противников. При том я хорошо помню, что в то время застенчивость моя была вовсе не от каких-нибудь тайных пороков, я был даже несколько неестественно чист и дрался за свою даму, как рыцарь.

Все это было тогда очень мучительно, слабые погибали в пороках, сильным открывался слишком рискованный путь. И теперь, признаюсь, я с удовольствием думаю, что у моего мальчугана не одна недоступная, а сорок обыкновенных. Правда, присоединив потом к тонкому чувству жизни упорную силу труда, для себя я добился какого-то счастья, были даже восторги, но почему-то не хотел бы помолодеть и начинать все сначала, а тем более еще желать сыну путь, на котором лишь редкий не свернет себе шею. Да, будь у меня сорок, я, наверно, и не пытался бы изобразить эту любовную историю Алпатова, столь несоответствующую нашему времени.

Но, мой друг, совершенно так же, как я, отец, говорю теперь о своем сыне, так же говорили и о нас отцы, когда мы были только сынами. Ведь это дочка шепчется с матерью о своих тайнах, а сыновья редко открываются отцам и это так хорошо: в этом мужском стыде заложена красота и сила действия на больших кругах. Очень, очень возможно, что и мой сынишка только маскируется своими сорока девушками, опасаясь, как бы не заметил я в нем чего-нибудь особенного и не поднял бы на смех его сокровенные чувства.

Старый друг, вспомните то наше время, когда все хорошее называлось прогрессивным и местом происхождения такого добра считалась Европа. В то время—помните?—слова европейский прогресс повторялись у нас так же часто, как теперь закат Европы. Тогда еще жили святые писатели, предметом любви которых был наш темный мужик. И я еще застал деревенских учителей с филологического факультета и совершенно бескорыстных врачей, иногда отличных хирургов, достойных университетских клиник. Вспоминаю, когда, бывало сделаешь что-нибудь неладное, наша добрая бестужевка выпалит:

— Какой эгоизм!

И чувствуешь себя совсем уязвленным.

Другое слово у нее было альтруизм,—когда она это скажет, является предчувствие высокого подвига.

И так через эту бестужевку мы узнавали, что начало добра есть альтруизм и начало зла — эгоизм.

Помнятся ее удивительные рассказы о европейских дорогах — аллеях с фруктовыми деревьями, по которым люди идут и не трогают спелых плодов. От этих рассказов нам грезилось иногда там, где-то в ином прекрасном европейском мире чудесные аллеи с грушами, яблоками, сливами, неприкосновенными для злых людей. Тем более сладки были эти сны, что у нас в деревенской действительности никакому отдельному хозяину нельзя было посадить огурцов: кто посадил — нарасхват; в полях некоторые сеяли горох и непременно с молитвой, чтобы уродился и на воровскую долю; не помогала молитва: весь горох доставался ворами.

Ужасно скучно казалось бы детям читать Глеба Успенского, но мы читали его, как набожные люди читают священное писание с благоговением. Особенно загадочным казался рассказ о Венере Милосской, как она выпрямила душу страдающего человека.

— Милая,—спрашивали мы с братом,—объясни нам это чудо, что значит выпрямила душу?

И бестужевка отвечала:

— Спасла человека.

Раздумывая теперь об этом, я прихожу к тому, что слова падают ребенку от взрослых, как на землю семена с высоких растений и вначале начинают прорастать непременно тайнами. И это, конечно, была у нас одна из самых значительных тайн,—что Венера Милосская спасла человека.

Помню, через много лет потом, в Лувре как-то нечаянно с левого глаза увидел я настоящую Венеру Милосскую и, признаюсь, безрукая каменная женщина после сообщенной мне в детстве тайны и множества виденных фотографий, в оригинале не была мне большой новостью, сладость ее выпита была мною уже раньше, в детстве и потом в юности в тысячах зеркальных отражений ее в музыке, и поэзии. Мне приходила в голову даже одна дерзкая мысль, о которой я не хочу сейчас говорить, потому что мой современник Алпатов ею больше страдал и в его поступках она будет лучше видна. Не удержусь, однако, и намекну вам: Венера в Лувре в сравнении с той, моей детской, живой Венерой показалась немножечко идолом...

Еще привозили нам в детстве фотографии отца с сыновьями, страшно напрягающих мускулы в борьбе с обвивающими их тела змеями, и много слышали мы рассказов о коллизе, травле христиан дикими зверями, об умирающем гладиаторе. Но не так удивительны были все эти чудеса святой земли Европы, как обыкновенные рассказы о жизни современной, что будто бы там самый обыкновенный извозчик в ожидании седока читает газету и курит сигару.

Дивлюсь я живучести и сладости этих своих воспоминаний о читающем извозчике. А мать моя, женщина шестидесятых годов, пела куплеты о каком-то необыкновенном обеде:

— Какой обед нам подавали!

— Каким вином нас угощали!

Помню, что в этих куплетах самыми изысканными блюдами обеда назывались: «И сосиски, и компот», и в то же время сама же мать моя, распевая об этом старом, в восьмидесятих годах ела сосиски и компот, как самые заурядные блюда. Совершенно так же теперь, постоянно видя на улицах Москвы извозчиков, читающих и «Рабочую Москву», и в особенности «Бедноту», дивлюсь тому из своего мира немецкому извозчику, читающему «Форвертс»: то были какие-то волшебные извозчики для меня, как для матери моей волшебными казались первые, очевидно, в шестидесятих годах получившие у нас распространение европейские сосиски и компот.

Так видно, друг мой, пережитое всегда нам является немного с компотом, если мы смотрим только в себя, но стоит вникнуть через своих же ребятишек в настоящее, как является потребность рассказывать о прошлом для понимания настоящего и, оказывается, все прошлое живет в настоящем и через настоящее приобретает какое-то особенное, совершенно иное значение. Будем же, старый друг, скупы на лирику и спрячем ее поглубже в поступки нашего героя Алпатова, чтобы и наш молодой друг мог принять участие в нашей интимной беседе.

Алпатов пересел в иностранный вагон в Вержболове и мчится в ту самую страну грамотных извозчиков, дорог с фруктовыми деревьями и всего светлого, что выражалось в слове прогресс. Через дым паровоза в наступающих сумерках можно было едва-едва рассмотреть довольно скучные прусские возделанные земли, но Алпатов все глядел туда страстно, как будто пытался через дым и сумерки узнать там где-то спасающую человека Венеру Милосскую. Пусть там пока и нет ничего, но все равно завтра же все непременно покажется, и от этого душа Алпатова переполняется, и хочется ему об этом сказать кому-то, перелить другому избыток своей радости. Он готовится писать своему другу Ефиму Несговорову и ему просятя на язык первые слова:

— Дорогой Ефим, приезжай и ты...

А дальше, как обыкновенно бывает, когда не пишут, а обдумывают письмо, обязательство выражения в литературной форме распадается и чувства непосредственно обращаются к другому лицу. Ни солнце родины, ни детские игры, ни мать, ни сестра, ни братья не приходили на память при этой разлуке, был в прошлом только Ефим Несговоров, единственный по-настоящему близкий ему человек во всем мире. Было что-то крепко решенное вместе и навсегда в этом союзе, похожем на брак, и только через это единственно Алпатов определялся в огромном беспорядочном мире. То было, как слепому бы открыли глаза, когда мир предстал разделенным на классы, в которых последний через мировую катастрофу должен сделаться

первым, и тоже стало понятно, что господствующий класс находится во власти безумно расточительной женщины и что сила рабочего класса в таком же целомудренном союзе, как вышло у него с Ефимом.

Казалось, ничуть не мешая решенному вместе с Ефимом делу, присоединялась теперь радость увидеть завтра же своими глазами ту самую Европу, где была и Венера Милосская, и грамотные извозчики, и волшебные аллеи фруктовых деревьев на проезжих дорогах. Но вот удивительно было, что, когда Алпатов сел на диван и, желая написать Ефиму именно об этой новой радости, стал пробовать передать свои новые чувства словами на бумаге, все было неопределенно и в отношении к Ефиму почти глупо и сентиментально.

— Вы, наверно, русский студент?—спросила его сидящая напротив белокурая барышня.

Алпатов очень обрадовался выходу из трудного положения и оставил писание. Он поспешил назвать свою фамилию и барышня ответила ему:

— Нина Беляева.

Алпатов стал разговаривать с ней, как с родной сестрой: ведь у него в душе была его тюремная невеста Ина Ростовцева, и такой был Алпатов, что если место занято, то все другие девушки через это становятся как бы сестрами. Алпатов много рассказывал Нине Беляевой, как было ему в одиночке, и как он обрадовался жизни, когда его выпустили и что теперь он чувствует приближение чего-то великого в его жизни.

— Хотя вы и много испытали,—говорила она,—все-таки смотрите на жизнь через розовые очки.

— А если вы через дымчатые,—ответил Алпатов,—то зачем же вы едете учиться за границу?

— Есть возможность и еду: надо же куда-нибудь деваться. За границей интересней.

— Значит, есть для вас интересное и вы признаете прогресс и радуетесь достижениям?

— Не особенно радуюсь, идеал все равно недостижим.

— Почему? Я достигаю свое, и когда достигну, буду радоваться, а после меня будет другой, и в конце концов, так хорошо достигать. Мне кажется, если сильно захотеть чего-нибудь, то всегда и достигнешь—идеал достигим.

И Алпатов стал рассказывать, как, спасая свое здоровье в тюрьме, он отправился в будто-путешествие к северному полюсу, целый год, отсчитывая метры, ходил из угла в угол, и вышел из тюрьмы невредим: значит, достиг полюса.

— Так делают все мужчины и забываются в каком-нибудь деле, но я не могу себя забыть: женщина живет только в мелочах, и в этом не может забыться: идеал недостижим.

— Как это, наверно, тяжело?—сказал Алпатов сочувственно:— всегда только я и больше ничего, — весь мир вокруг я: это болезнь.

Уязвленная Нина стала рассказывать о своем печальном детстве, о братьях-эгоистах, о ссорах с матерью: она всегда оставалась одна и никто не хотел этого знать и потому она всегда думает о себе. Только одна у нее была близкая подруга и то они с ней разошлись после Смольного.

— Так вы в Смольном учились,—встрепенулся Алпатов,—а как звали вашу подругу?

— Вы не можете ее знать,—ответила Нина,—я чувствую, вы из какого-то совсем другого нам мира, но хорошего, лучшего, чем наш. Мне с вами удивительно легко говорить, такой откровенной я еще ни с кем не была, и никто не слушает так внимательно и сочувственно: у вас глаза, как у святого. Вы это, наверно, нажили себе в тюрьме?

Алпатов смутился и очень покраснел. Может быть, он немного догадывался о происхождении своей «святости»: он думал об Ине и какой-то хороший остаток от этого оставался и Нине. Но это было вовсе не потому, что он, как святой, любил всех людей и безразлично, мужчин и женщин.

Устроившись под пледом, Нина сказала Алпатову:

— Вот удивительно как-то засыпать на людях, не хочется и голове прятать под одеяло, а дома в своей комнате, одна, я непременно сплю с головой: чего-то страшно. Вы верите в бога?

— Ну, вот еще,—ответил Алпатов,—я это потерял в четвертом классе гимназии и не жалею. Я не понимаю, как это можно верить и тут же не делать. По-моему, люди выдумали бога, чтобы увернуться от обязанностей к человеку. Неужели вы все еще верите?

— Не знаю. Сейчас, и вообще на людях, не очень верю, скорее, мне все равно, а когда ложусь спать и закрываюсь одеялом, мне кажется, будто на том свете мы непременно опять все встретимся. Это бывает с вами?

— Бывает, но из этого ничего не следует, мало ли что может быть, если спрятать от страшного свою голову под одеяло.

Нина весело засмеялась и последние слова ее перед сном были:

— А на людях я всем кажусь веселой и меня в институте знаете как дразнили?

— Как я могу это знать?

— Меня дразнили Ч и ж и к о м.

После того они замолчали и каждый думал о своем, Алпатов о предстоящей встрече с Ростовцевой, Нина о необыкновенных глазах Алпатова, похожих на глаза доброго зверя, когда он догадывается о значении слов человека. Может быть, эта худенькая белокурая девушка, засыпая, позволила себе слишком подумать об этих глазах. Так очень часто бывает, что после дружеского разговора во сне прибавится что-то свое, и потом уже при встрече не бывает прежней свободы. Во сне Нину окружили разные разъяренные звери и ей бы очень плохо пришлось от них, если бы вдруг не явился огромный

медведь с святыми глазами, не расшвыряя все зверье и не провел Нину в Смольный в дортуар к ее самой близкой подруге—Ине Ростовцевой.

Алпатов в это время видел за границу, как огромный парк с фонтанами и там среди статуй прекрасных женщин была вырубленная из финского порфира каменная баба, в которой была скрыта Ина Ростовцева. Она слышит его приближение, и голос ее из глубины порфира звучит, как музыка и наполняет весь парк голосами. Она просит его разбить камень и он берет молот...

А Нина видит будто медведь ушел, и она ложится рядом с койкой Ины. Та, конечно, только притворяется, будто спит: они перед этим сильно поссорились. Нина тоже притворяется, но нечаянно глаза их встречаются и вдруг огромное доброе медвежье чувство охватывает Нину, в то же самое время это же происходит и с Иной, обе девушки выскакивают из-под одеял и бросаются друг к другу в крепкие объятия...

Когда утром Нина открыла глаза и увидела, что Алпатов сидит против нее и смотрит на нее точно такими же, как ей снилось, глазами, она вспыхнула и Алпатов этого не мог не заметить. Он один только раз в тюрьме через двойную решетку видел Ину Ростовцеву и то под густой зеленой вуалью и все-таки чувствовал себя до того связанным с тюремной невестой, что приближение другой, какой-то Нины Беляевой, было ему неприятно и как бы отталкивало. Он решил, что эта барышня должна ему в чем-то мешать, и задумал на вокзале от нее улизнуть. Если бы только он знал, что его таинственная Ина была самая близкая девушка Нине Беляевой! Молодым людям стало даже как будто неловко сидеть друг против друга. Но это продолжалось недолго: поезд подходил к берлинскому большому Центральному вокзалу, все русские ужасно засуетились и расставание молодых людей вышло естественным. Алпатов сказал:

— Конечно, мы встретимся в университете на лекциях.

Исторический марш

В Берлине уже давно была круговая железная дорога, но внутри этого круга, по улицам и переулкам, граждане перемещались в конках и более богатые на извозчиках: лошадей на улицах было тогда в Берлине, пожалуй, побольше, чем сколько до сих пор еще их сохранилось у нас в Москве. Возле Фридрихштрассе стоял именно такой волшебный извозчик, о котором нам в детстве рассказывали; извозчик читал социал-демократическую газету «Ф о р в е р т с» и похивал дешевой ф у р м а н с к о й сигарой. Даже на самых верхних этажах, не страшась каменной пропасти, горничные в белых передниках, как фарфоровые куколки, вертелись на подоконниках, иногда улыбались и посылали воздушные поцелуи в окна соседних домов. Всюду, не стесняясь, выставляли, вывешивали на воздух пуховики,

одеяла, подушки, а внизу мыли асфальт и чистили щетками так прилежно, так много лилось воды, что все пахло водою и камнем. Сотни тысяч рук свежим утром прибирали город для нового бодрого трудового дня. И вот такое берлинское, едва ли повторимое в других городах Европы, утро встретило русских, приехавших из недр России с подушками, одеялами и чайниками. На первых порах Алпатов, конечно, не мог разобраться и понять что от чего, все главное, казалось ему, было в этом аромате воды и камня. Однако настоящий европейский извозчик, совершенно такой, как рассказывали в детстве, с сигарой и газетой, сразу привлек его внимание. Алпатову лично извозчик не был нужен, его хорошо научили не брать с собой ничего в страну, где все так дешево можно купить, в руке его был только баульчик с одной переменной белья. Но ему надо было сделать опыт с своим немецким языком. Он сомневался в понимании берлинцами лифляндского наречия, которое в Риге считается самым чистым немецким, а в Берлине признается за русский язык. Так с волнением подходит он к простому извозчику, и, переводя в уме русские слова на немецкие, говорит со всей вежливостью:

— Извините меня, господин извозчик, смею ли я вас спросить, как можно найти в Берлине самое дешевое жилище?

Удивленный извозчик поднял голову и оглядел иностранца в довольно приличной одежде: ведь иностранцы самые богатые люди и обыкновенно едут в дорогие отели.

Прошло несколько секунд, во время которых Алпатов вверился в доброе сердце извозчика, и в голове его даже мелькнуло, что московский лихач непременно бы ему ответил сразу и высокомерно: «Я почем знаю?».

— Вы, мой господин,—спросил извозчик,—наверно, приехали сюда искать работу?

— Нет,—ответил Алпатов,—я приехал учиться в университете, я — студент.

— Вы студент?—изумленно спросил извозчик,—зачем же вам дешевая квартира?

В это время газета в руке извозчика обернулась титульной стороной и Алпатов с большой радостью заметил «Ф о р в е р т с». Это значило, что извозчик был одинаковых с ним убеждений, такой же, как и все его русские друзья.

— Товарищ,—сказал Алпатов,—я потому спрашиваю дешевую квартиру, что у меня мало денег.

— А если у вас мало денег, товарищ,—ответил извозчик,—то зачем же вы приехали учиться?

Теперь и Алпатову настал черед задуматься. Слово т о в а р и щ было для него, как перебегающая искра мировой катастрофы; студент и товарищ в России много значат даже для неграмотных людей, а вот в Германии человек читает «Ф о р в е р т с» и никак не может понять, что бедный стремится к науке.

— У нас в России...—начало было Алпатов, но в это время крикнули фурмана. Извозчик быстро передал Алпатову газету, показал на последнюю страницу об'явлений о жилищах для рабочих, и поехал на зов.

В об'явлениях было множество дешевых квартир в Шарлоттенбурге, были указаны и ночевки в семьях рабочих с бельем и кофеем за несколько пфеннигов. Осмелевший в разговоре с извозчиком, Алпатов спрашивает теперь совсем не стесняясь дорогу в Шарлоттенбург. Все указывают ему на городскую железную дорогу: несколько минут езды и стоит всего десять пфеннигов. Но Алпатов непременно хочет пешком и этим крайне удивляет деловых людей. Однако терпеливо и вежливо ему все-таки объясняют путь пешком, верно, иностранец им кажется в роде ребенка.

Но, может быть, люди потому так предупредительны, что через этого ребенка узнают радости своей собственной жизни? Ведь прошло всего только несколько недель, как Алпатов вышел из тюрьмы и обрадовался людям. Ему представляется, будто это обычное для берлинца мытье улиц, чистка жилищ, бодрый ход масс на работу, заглядывание на ходу в зеркальные стекла магазинов, постоянное узнавание чего-нибудь нового,—все это является городским людям новой даровой прибавкой к жизни, обеспеченной силой земли. Вот это какое-то даром против обыкновенной жизни, к чему в городе привыкли и не чувствуют, светилось в глазах Алпатова, и потому деловые люди при его вопросах охотно останавливались, а иногда и провожали.

В особенности рискованным казалось подойти к прусскому офицеру в шинели-фуэляре, с волочащейся саблей, с усами вверх, как у императора. Но Алпатов не задумался.

— Смею ли я узнать у вас, очень уважаемый лейтенант,—спросил он,—где находится рейхстаг и знаменитая улица Подлипамии?

На поклон Алпатова офицер приложил руку к козырьку и, улыбаясь, сказал:

— Почему знаменитая?

— Потому,—ответил Алпатов,—что вблизи нее должен находиться и королевский дворец, и рейхстаг, и Аллея Победы. В наших московских газетах постоянно пишут об этом, мне так хочется на все посмотреть.

— Вы из Москвы?—с интересом спросил офицер.

— Нет,—ответил Алпатов,—моя родина Елец.

На это офицер вдруг сказал по-русски:

— Елец,—это вблизи губернского города Орэль?

Это было так неожиданно для Алпатова, что он приостановился. Офицер взял его под руку и пошел с ним дальше.

— Орэль,—так ли я выговариваю?

— Арел,—ответил Алпатов,—но зачем это вам?

— Я буду скоро обер-офицером и должен сдавать экзамен по-русски.

— Это для военных целей?

— Очень возможно.

— А мы, русские, все думаем, как бы вообще прекратить войну.

— Вы большой дипломат, — сказал офицер.

Алпатов не понял насмешки и удивленный остановился.

— Как дипломат? Я говорю вам искренно, разве не знаете вы, что пишет Лев Толстой о войне?

— Лев Толстой—писатель,—улыбнулся офицер,—вот если бы это ваш царь написал... а впрочем, тоже ничего бы не вышло, занятия литературой обыкновенно даже и вредны царям.

— Да царю бы никто не поверил,—ответил Алпатов,—ваш император, например, так много говорит о прекрасном, а вы учитесь русскому языку на случай войны.

Офицер испугался, не зная, как быть дальше с ужасным ребенком, но, всмотревшись в лицо Алпатова больше, вдруг что-то понял. Он сказал:

— Ваши глаза очень симпатиш.

Потом наклонился к нему и вполголоса:

— Наш император говорит немножечко много лишнего, милый юноша.

В это время налево от них показалось большое тяжеловесное здание с золотым куполом и Алпатов догадался: рейхстаг.

— Как вам нравится?—спросил офицер.

— Прахт-фолль,—ответил Алпатов.

— Немножечко много плюмп,—сказал офицер,—вы мне не скажете, что значит по-русски немецкое п л ю м п ?

— Тяжеловат, — ответил Алпатов.

— Очень вам благодарен, я с вами прощаюсь, дорога в Шарлоттенбург все прямо. А куда вам надо в Шарлоттенбурге?

Алпатов вынул из кармана «Форвертс».

— Зачем у вас этот глупый лист?—спросил офицер.

Алпатов схватился:

— Как глупый, это «Форвертс»!

— Я же знаю, — сказал офицер, — в этой газете ужасно много врут, она не к лицу образованному человеку... бросьте эту дрянь... Идите все прямо. Живите благополучно..

— Всего хорошего, — ответил Алпатов.

— Благодарю вас, я буду говорит, как и вы: всего карошего.

Офицер потонул в толпе, как в воде, и показался потом перебегающим на ту сторону между экипажами. Алпатов идет все вперед по этой улице, на несколько верст прямой, как линейка, всматривается в отдельные лица, хочет понять страну по выражению лиц, но сколько ни вглядывается, все ему кажется, что это не новые, какие-нибудь особенные, а обыкновенные люди, такие же, как и в России. А между тем он в Германии же! Вглядывается вновь, чтобы охватить чисто немецкое, но очень редко показывается какой-нибудь тип немца

и то, появляясь, не оставляет права перенести свои национальные черты на всех. От этого кажется Алпатову, что немцев в гораздо больше в России, чем у них на родине. Почему это так?

И все-таки это были и не русские люди. Чудесно было знать, что тут уж никто не подглядывает, не смотрит в упор, не спрашивает: «Чьи вы»? Казалось, человек тут виден не с лица, а вывернулся всем своим рабочим механизмом наружу и так сошелся в деле с другим. Тут весь человек шагал все вперед и вперед своим историческим маршем.

Вот, видно, почему так и кажется, будто в Берлине немцев меньше, чем в Москве: потому что все моховые извилистые ручейки народностей тут, в огромном европейском городе, вошли в одно прямое широкое русло всего человеческого потока в каменных берегах. Там, далеко, далеко, в моховых истоках, где-то в темной хижине в России мерно всю ночь пилит сверчок. Это вспоминается почему-то, и даже понятно, этот мерный звук не напрасная тропа времени: ведь и тростинка в русском потоке не напрасно мерно склоняется, шевелясь в струе, тоже и она отмечает, сколько прошло русской воды в общий поток.

Широко, просторно, пахнет только водою и камнем, и среди грохота и шума русская песня сверчка преобразается в музыкальный исторический марш человека, всегда человека, вперед и вперед!

Так на ходу представлялось Алпатову, а между тем незаметно и непонятно все стало переменяться. Были все те же огромные городские дома, но уже без украшений: просто дома, очень похожие друг на друга. Раньше между высокими домами была своя загадочная таинственная сень, как в аллее из густых деревьев: в этой сени деревьев постоянно перебегают или светлые зайчики солнца, или тени пролетающих птиц; также и в сени высоких чудесно разукрашенных домов постоянно показывались разнообразные следы сложной жизни: один раз в окне, обрамленном тонкими кружевами, солнечный луч открыл золотую рыбку в изумрудных водорослях, маленькая рука повернула кран и фонтан аквариума рассыпался радугой. Было много разных чудес в сени каменных домов и вдруг все переменялось: дома стали похожи один на другой, на асфальте начался сор, из дворов на улицу стали выбегать плохо одетые дети, толпа поредела. Совершенно так же, как и в России, остановились на углу два знакомых, стали долго разговаривать и загородили собой путь другим. Оба эти знакомые были сносно одеты, у одного в руке был наполненный землей цветочный горшок. Казалось, они разговаривали спокойно и были друзьями, как вдруг один взял свой горшок и с силой бросил его в лицо другому. Тот пошатнулся, схватился рукой за окровавленное лицо, а ударивший бросился бежать. Но человек с разбитым лицом скоро одумался и пустился догонять обидчика. На отлично умытом утром асфальте остались черепки и земля.

Тогда музыкальный марш человека прекратился.

Алпатов был в рабочем квартале.

Русский жучок

Вам, наверно, случилось, мой друг, в пасхальную ночь переходить из церкви католической в лютеранскую и переживать это всегда неприятное для русского разумное упрощение того, что по существу своему неразумно. И вот совершенно так же было юноше, воспитанному в России поколениями революционеров на идее мировой катастрофы, прямо почти из тюрьмы попасть в чистенькую комнату немецкого социал-демократа с умывальником под мрамор и вышивкой под точеной ручкой для полотенца: «бог есть любовь».

Это было на Рудерштрассе, № 3. Металлист-рабочий Отто Шварц занимал здесь квартирку в три комнаты: спальня и столовая были для себя, а третья маленькая отдавалась двум ночлежникам по 50 пфеннигов с каждого за ночь, с постельным бельем, утренним кофеем и круглой булочкой с маслом. Отто был на заводе, когда в его квартиру позвонился Алпатов. Мина Шварц, совсем молодая женщина в белом переднике, провела русского студента в крохотную комнату, в которой этим утром был вымыт и вычищен каждый вершок. Кроме двух кроватей в комнате было на каждого жильца по ночному столику и общий умывальник под мрамор с полочкой для полотенца и вышивкой.

Было так удивительно чисто вокруг, что Алпатов стеснительно посмотрел на свой загрязненный баульчик и нерешительно поставил его возле умывальника. Мина сейчас же взяла его, протерла тряпчочкой над умывальником и поставила на полку возле кровати. Она спросила, не нужно ли Алпатову еще что-нибудь, и когда недогадливый русский отказался, сама поманила его и показала в коридоре необходимости. Усталый с дороги из России и от большого перехода по Берлину, Алпатов хотел-было прилечь на кровать и открыл одеяло. Но под одеялом оказался пуховик в чистых простынях и под ним была еще другая перина. Видно было, что Мина целое утро посвятила устройству таких сложных постелей, и Алпатов не посмел расстроить порядок для дневного спанья. Подумав немного, он сел на стул и сразу же тут задремал. Тогда ему стало совсем понятно, почему на родине он томился так долго в камере одиночного заключения: потому что там миллионы людей жили под соломенными крышами вместе с животными, с божницами, наполненными черными тараканами.

Там на родине был закон для совестливого человека: «так жить нельзя». Тюремная камера там казалась единственно возможным жилищем для совестливого человека, временным страданием до исполнения срока мировой катастрофы, после которой разрешено будет жить хорошо, потому что тогда не будет ужасного неравенства.

Алпатов, конечно, очень устал и потому, засыпая на стуле, возвращался домой: так ведь и все мы, в минуты усталости пробуем вернуться на какую-то свою милую родину.

Однако не сразу дается сон в сидячем положении. Засыпающий, убегая мыслью на родину с запрещенной порядочной жизнью для интеллигента, вскидывает голову, узнает новые предметы: чистые кровати с пуховиками, полочки, умывальник под мрамор, с вышитыми над ним словами. И ему кажется, что здесь, в этой комнате весь темный лик русского бога с черными иконами, с лампадами, коптящими усы и бороды изъеденных тараканами угодников божиих,—все это страдание людей и богов на русской земле обернулось в любовь над умывальником социалдемократа и эта любовь означает: скромная жизнь порядочному человеку в Германии разрешается.

Все это, однако, засыпающему было не материал для критики, как непременно выходит, если записать словами, а скорее он ставил в вину себе отсутствие восторга перед жизнью людей, преданных всецело обязанностям каждого дня.

Между тем, Отто Шварц на своем заводе много отвалов и лемехов натаскал за утро из литейного в свое отделение, и шел домой обедать, не подозревая, что у него в квартире днем спит русский студент. Узнав от Мины, что к ним явился русский, он заволновался: русских он никогда не видал и только слышал о них много необычайного. Несколько раз во время обеда он тихонечко открывал дверь и оглядывал спящего Алпатова и дивился: русский с виду ничем не отличался от молодого немца. Жена, однако, таинственно ему прошептала, что русского ей пришлось познакомить с «тетей Мейер» («тетей Мейер» у Шварцев называли отхожее место). Мина при этом высказывала догадку, что в России, наверно, как-то иначе обходятся.

— Я где-то читал,—ответил Отто,—что они выходят на двор и зарывают лопаточками, каждый русский ходит с лопаточкой.

— Я слышала тоже,—сказала Мина,—но мне кажется так делают китайцы.

— Это все равно,—ответил Отто,—Китай и Россия в одной стороне.

Пообедав наскоро, Отто побежал на свой завод и до вечера очищал уголь с лемехов и отвалов. После работы он был на коротком собрании своего профессионального союза и там за кружкой пива рассказал своему двоюродному брату Августу о русском, и просил его завтра утром по случаю воскресного дня непременно зайти к нему: может быть, русский расскажет что-нибудь любопытное.

В этот вечер, однако, не суждено было Отто Шварцу познакомиться со своим жильцом. Отдохнув на стуле полчаса, Алпатов отправился по объявлению в газете и дешево купил себе подержанный велосипед. До вечера он объездил весь Шарлоттенбург, побывал в разных парках, видел озера и, когда вернулся домой, кровать его была открыта. Он забрался в пуховик и заснул по-настоящему непробудным сном до утра.

Первая мысль его была, когда он проснулся, идти к Отто Шварцу, узнать у него о больших рабочих собраниях с Бебелем, Либкнехтом и другими вождями. Но было поздно разговаривать с Отто:

он был уже на заводе. Тогда каким-то удивительным образом мысль его перескочила от Бебеля к Ине Ростовцевой. Так, верно, это крепко связалось все в тюрьме: мировая катастрофа с ее пророком Бебелем, Германия с музыкальным голосом его тюремной невесты с лицом, закрытым густой вуалью. Там в тюрьме казалось так просто найти ее, узнать и восстановить неясный облик по музыке голоса. Теперь он приблизился к ней, они в одном городе, но почему-то стало казаться, что очень трудно найти. Все-таки она же сама указала путь, она звала его учиться, значит, надо ехать в университет.

Теперь он едет по той же самой асфальтовой улице, где вчера встречал с таким удивлением соединенного человека. По мере того, как он приближается к сердцу Берлина, сгущается все больше и больше толпа на панели, теснят экипажи. Но стоит только нажать немного педаль, и все теснящие экипажи становятся неподвижными.

Однако трудно передать это наслаждение от быстрого движения на кипучей улице между экипажами. Так стриж с ликующим визгом пронесется между стаями тяжелых птиц и стремительно мчится под облака. Мало движения тела, чтобы это понять, надо вспомнить свою собственную музыку, игравшую когда-то в юности в часы напряженного ожидания встречи с невестой, забыть совершенно серую сеть морщин, причин и теорий...

И вот среди грохота экипажей чей-то голос отчетливо называет по имени.

Алпатов затормозил и прислушался: зов повторился, рука дрогнула. Сзади наехала тяжелая лавина экипажей. Он едва успел соскочить у самого края панели и стал дожидаться. Потом вышла из толпы девушка с лицом, закрытым зеленою вуалью...

...Улыбаюсь вам, друг, через разделяющие нас годы и страны, я забываю мои толстые щеки, покрытые конской щетиной жизни, мне кажется, щеки мои, как в юности, тонко огибают кудрявую улыбку сохраненного духа. Вспомните же и вы это наше время, и спешите улыбнуться, потому что рано или поздно начнутся мои письма из ада.

...Встреча была совсем недалеко от университета. Подавая руку, она сказала:

— Вижу, вы меня не узнаете, мы с вами вместе приехали из России, не прошло еще и трех дней, как вы уже и забыли.

Алпатов пришел в себя, узнавая под зеленой вуалью не тюремную невесту, а обыкновенную Нину Беляеву.

— Нет, — сказал он, — я вас узнал, вы Беляева, а растерялся потому, что экипажи могли меня раздавить. Это не легко ехать на велосипеде по такой улице.

И, болтая, они вместе входят в старое здание университета, столь почтенное и несоответствующее новому времени. Эта простая внешность Берлинского университета не может быть понята русским юно-

шей сразу, как прелесть: германские ученые не рядятся в тоги, доктора философии позволяют себе отличаться от других людей только немного более широкими полями своих шляп. Конечно, и Нина Беляева, и Алпатов слышали о Паульсене и прежде всего хотят записаться на его введение в философию. Им советуют спешить занимать места в большой аудитории и прибить свои карточки поближе к кафедре: Паульсен уже стар, говорит не очень громко. А ведь непременно Ина Ростовцева, если только она в Берлине, тоже прибила свою карточку на летний семестр. Нина ищет два места рядом на первых скамейках, — ей это нужно. Алпатов ищет среди визитных карточек имя своей невесты. Медленно проходит первые ряды, потом быстрее, и, наконец, остается назади одна только карточка, последняя надежда и вот нет: не она! А Нина нашла два свободные места в третьем ряду. У социолога Земмеля, в маленькой аудитории, почти одни только русские имена, тут есть, где поискать, и опять с последней карточкой исчезает надежда: нет, не она! — и опять своя карточка прибита рядом с Ниной Беляевой. Так и у Вагнера, и у Шмоллера, и у историка Маркса, — нигде нет желанного имени. Нина допытывается:

— Отчего вы такой рассеянный и как-будто печальный?

Алпатов сконфуженно улыбнулся: у него слишком много впечатлений, не может справиться. И прощается, извиняясь, что с ним велосипед, и трудно вместе итти. Нина желала бы, однако, тоже купить велосипед, если это не дорого. Алпатов называет цену самых дорогих английских машин. Это невозможно для Нины.

— А, верно, так хорошо? — спрашивает Нина.

— Да, но сильно парит, — отвечает Алпатов, — весь мокрый делаешься, легко простудиться.

Нина опускает зеленую вуаль, исчезает в толпе. Алпатов находит специальную дорожку для велосипедистов и мчится во весь дух неизвестно куда по Тиргартену и дальше через Шарлоттенбург в далекие парки с озерами, пересекает полотно железной дороги. Колесо велосипеда вертится так быстро, что не видно заполняющих его спиц, так точно и в голове своей иногда человек не чувствует мысли только потому, что множество их там слишком часто мелькает. Но вот велосипед остановился у переезда через железную дорогу и явилась определенная мысль о письме. У одного ларька он сходит с велосипеда, покупает двойную открытку для адресного стола, пишет имя, национальность своей невесты, свой адрес, опускает в почтовый ящик, и мчится по шоссе все дальше и дальше, пока вдруг силы совсем не оставляют его. В этом опасность очень быстрой езды на велосипеде: незаметно сразу прекращается способность вертеть ногой колесо и становится невозможным двигаться дальше. Приходится итти пешком и, когда сошел, хочется есть так, что кажется, если не с'есть сейчас же кусочек чего-нибудь, то и не строишься с места даже пешком, а вокруг лес с отлично отделанными дорожками: для велосипедистов, для всадников и пешеходов. Разве

спросить кого-нибудь, где ближайший ресторан? Вот идет старая женщина с большой корзиной. Она говорит, что до ресторана 5—6 километров. От человеческой речи как-будто прибавилось сил. Пробует ехать и опять не может: пять километров кажутся бесконечными. Потом спать захотелось, и это можно... Свертывает на глухую тропинку и дремлет на траве возле дерева, трава такая же, как и русская, совершенно так же, как и на родине, ползет красная божья коровка. В голове, как на тихой воде океана, и нет границ, отделяющих себя от всего; божья коровка сама всползает на палец, палец сам подымается вверх, и все делается, как положено: достигнув конца, жучок выпускает из - под красной крышки какую - то свою мятую юбку и улетает...

Война и пожар

Оказалось, это ложь, что за границей не существует «русского» гостеприимства. Разница с Россией только, что за границей время измерено и гостеприимство бывает по воскресеньям. Утром, как только Алпатов умылся, Отто Шварц взял его за руку и повел к своему столу, где Мина варила утренний напиток в кофейнике, похожем на русский маленький самовар. Кофе в таких самоварчиках получается такой крепкий, что от одной чашки у старых кофейниц щеки становятся красными. На столе были сыр и масло, возле чашек лежали маленькие уголком сложенные салфетки. Мина очень постаралась для русского.

Видеть раскрытый «Форвертс» за утренним кофе, читать его не таясь, как обыкновенную газету, Алпатову все еще непривычно. И об этом он и начинает разговор:

— Вы социал-демократ?

Отто неохотно пробормотал:

— А кем же ему еще быть, как не социал-демократом?

Алпатов спросил:

— Например, если бы свободомыслящим?

Отто спросил в свою очередь:

— А какая мне выгода быть свободомыслящим?

Странно звучало это слово **выгода**.

Алпатов знал и твердил тысячи раз, что рабочее движение все основано на интересе, но в личных отношениях он, русский, не встречал еще у себя на родине ни одного студента, ни одного рабочего, кому революция была бы лично выгодна в данный момент. И потому Алпатов в замешательстве сказал нескладно:

— Выгода.. выгода... а я ведь тоже социал-демократ.

На это Отто:

— Разве в России тоже есть фабрики?

— Ну как же, никакое большое государство и даже маленькое, теперь не могут обойтись без фабрик.

Отто обернулся к жене:

— Слышишь, Мина, в России тоже есть фабрики.

— А я слышала,—сказал Мина,—там очень много медведей.

Алпатов улыбнулся:

— Они работе на фабриках не мешают, в лесах есть медведи, но в городах они не показываются.

— Никогда? — спросила Мина таким разочарованным голосом, что Алпатов из вежливости уступил:

— Почему никогда, конечно, бывают случаи. Но зато волки встречаются всюду.

— Вот видите!—сказали вместе и Отто и Мина.

Алпатов вдруг понял, чего ожидают от него эти простые добрые люди, и ему захотелось доставить им удовольствие рассказами о своей необыкновенной стране.

— Сила земли там столь велика, — начал Алпатов, — что люди полей, где нет совершенно лесов, сжигают для отопления своих избышек солому и навоз—земля там родит без навоза.

— Не может родить земля без навоза, — возразил Отто, — это сказки. Вы смеетесь над нами.

— Нет, я не смеюсь, добрый хозяин,—серьезно сказал Алпатов,—там чернозем в аршин толщиной и долго может давать урожай собственной силой. А в лесу иногда рубят охотники огромное дерево только, чтобы выгнать маленькую белочку: дерево в таком лесу ничего не значит. В России есть края, где летом солнце светит и ночью, а на другом конце не бывает зимы. Там в России ни в чем нет счета и меры, как в Германии, и если начнутся поля, то это поля: никакой глаз не может досмотреть их до конца, все рожь или пшеница, овес и картофель. А если начнется лес, то и не говорят: «там-то лес», в России скажут: «и вот л е с а п о ш л и».

— Леса ходят,—смеясь, повторила Мина,—а как же люди общаются в таких огромных пространствах?

— Люди мало общаются, — ответил Алпатов, — люди там больше сидят, но если встречаются иногда в вагонах...

— А все-таки, значит, есть и вагоны,—сказал Отто.

— Очень немного,—ответил Алпатов,—совсем пустыки, но все-таки есть. Люди разных стран, лесные и полевые, встречаются в пути очень далеко, в вагонах, иногда на лошадях едут вместе, а то просто пешком идут по тропинкам. На промыслах, в монастырях сойдутся и начинают рассказывать друг другу о своей стране, и так они все узнают не по газетам и книгам, а из устных рассказов: там живут слухом. И для слуха там есть два самые ужасные слова, от которых женщины начинают выть, и у мужчин иногда волосы встают дыбом: такие два слова в России: п о ж а р и в о й н а. Это очень принижает наших людей и мы их подымаем.

— Вы — люди образованные?

— Более или менее, эти люди у нас самые бедные и называются революционная интеллигенция. Против слова «война», мы даем им

слово «революция», а против слова «пожар»—«социализм». Мы верим, что в самом близком будущем, еще при жизни нашего поколения совершится мировая катастрофа, война кончится на всей земле и пожары перестанут в новой культуре.

— Благодаря бога, — сказала Мина, — у нас теперь не боятся пожаров.

— А войны?

Мина посмотрела на Отто.

— Война большое несчастье, — сказал Отто, — рабочему человеку война невыгодна, мы насколько возможно боремся против войны. Только сразу ничего не сделаешь.

— А как же Бебель-то сулит мировую катастрофу еще при наших днях?

— Август Бебель, о, да, Август Бебель!

Отто подумал немного и вспомнил:

— О, да, Август Бебель: «Женщина и социализм».

Больше он ничего не мог сказать и в разговоре получилась заминка. «Хорошо бы теперь вернуться к интересным рассказам о России», — думали Шварцы. Но Алпатов спросил, можно ли ему где-нибудь видеть Августа Бебеля.

— А вам зачем его нужно видеть?

— Он такой замечательный, — мне интересно на него посмотреть.

Отто понял Алпатова, вдруг осветился любовью к своей земле, гордостью и счастьем все показать иностранцу. Он быстро заглянул в газету и сказал:

— Бебеля мы сегодня увидим и еще увидим старого Либкнехта, и еще увидим адвоката Гейне.

Отто совсем повеселел:

— Да знаете что, может быть, нам удастся сегодня, и я вам покажу, я вам покажу такое... я вам покажу самого императора.

— Настоящего императора, Вильгельма? — удивился Алпатов.

— Вот погодите-ка только, я вам покажу нашего императора: по будням он гуляет, а по воскресеньям катается в Тиргартене. Выйдет, да, выйдет непременно: я вам покажу. А до этого всего я хотел бы показать вам свой картофельный участок. Поскорей бы только Август пришел.

И тут как раз позвонили.

Август пришел с женой и детьми. Жена его Эльза, дети — Роберт, Эмма и Элла. Они все хотят слышать рассказы Алпатова о медведях. Но Отто теперь уже крепко забрал себе в ум, что тоже интересно и свое все показать русскому: есть что показать!

— А есть у вас в России пиво? — спрашивает он весело.

— Есть, — говорит Алпатов, — только наше пиво я не люблю: русские пьют горькое пиво.

— Это не идет: горькое пиво! А если я, например, угощу вас мартовским мюнхенским темным, как вам это покажется?

— Нам так неверно наговорили,—сказал Алпатов,—будто гостеприимство только у русских людей,—оказывается, у вас тоже очень любят гостей.

— Вот погодите, вот погодите только!—радовался Отто,—кто знает, может быть, мы успеем попасть сегодня и на праздник стрелков.

Всей семьей, окружающей русского, они выходят на улицу и еще выходят из того же дома семьями другие рабочие. Неузнаваемо стало теперь там, где вчера несся поток деловых людей. Все как-будто замерло и так заметно было, что посередине улицы бежала трусцой большая санбернарская собака в ошейнике и с бантиком. Казалось, собака тоже собралась куда-то по случаю праздника в гости, может быть, даже и в церковь неустанно, ровно, как по метронному, тиликал смешным для русского слуха, каким-то слишком аккуратным звонком, наверно, очень небольшой колокол в кирхе.

Аромат земли

Алпатов в изумлении стоял на картофельном участке. Вверху по насыпи мчался поезд круговой железной дороги, в дыму паровоза исчезали дома, и снова показывались в верхних этажах маленькие фарфоровые хозяйки, убирающие свои квартиры. Тоскливо жалось сердце, Алпатов все через себя понимал и себя как-то через право человека на счастье с постоянной готовностью на последнюю беду: от сумы и тюрьмы не отказывайся. Так он, попав на картофельный участок берлинского рабочего, представил себя русским фабричным с мечтой поехать на свой годовой праздник в деревню...

Прощай, Россия, прощай, воля и надежда вернуться к празднику, или под старость в свой родной уголок, где покосившаяся на деревянных столбах хижина с забитыми окнами столько лет терпеливо дожидалась хозяина. Все кончено: с двух сторон тесно зажали каменные стены клочек земли величиной в небольшую комнату, на клочке в одном углу беседка, в другом сортир—и все! Рядом с этим соседний участок, точно такой же картофельный с беседкой и сортиром и так без конца, потому что эти участки рабочих колоний составляют в Берлине кольцо, совершенно так же, как у нас в Москве Садовая улица — Садовое кольцо.

Вдали дым паровоза закрыл ряды огромных сверкавших на солнце окон какой-то фабрики, тут ближе глядели окна рабочих квартир, в этих чистых квартирках была заключена мечта о свободе, и последним вздохом заключенной земли был картофельный участок с беседкой и сортиром. И земля эта уж не пахла. Алпатов даже взял в руку немного, понюхал: совершенно не пахло землей. Отто и Август, и Мина, и Эльза, жена Августа, и дети Августа — Роберт, Эмма и Элла, все окружили Алпатова и спрашивали, почему он нюхает землю, и разве земля в России как -нибудь особенно пахнет?

Алпатов рассказывал, что у него на родине чернозем толщиной в аршин так прекрасно пахнет, что каждый рабочий, рожденный на этой земле, непременно рано или поздно возвращается на родину. Алпатов замечал по себе, что больше всего связывает с родиной человека запах земли, ее трав, хлеба, цветов. И если земля не пахнет, то значит все остальное существует обманчиво.

— О, да, да,—ответил Отто,—я и понятия не имею о настоящей земле: мой отец и мой дедушка работали в Берлине на фабрике.

Но Мина вздохнула: она понимала Алпатова. Ведь у нее тоже прекрасная родина—Саксония, там горы и лес. И она очень хорошо знает запах родной земли. А тут какая земля! Да, какая это земля, если даже не пахнет. Но, слава богу, что и это есть: можно немного по воскресеньям тут позабавиться.

— Ну, да, конечно, позабавиться,—сказал весело Август.

И, пощупав мускулы Алпатова, предложил ему побороться.

— Можно,—ответил Алпатов.

И, быстро обхватив Августа, уложил его на живот, сам сел на него, Август приподнялся на руках и коленках. Алпатов поехал, как на лошадке. Дети стали смеяться. Все смеялись и женщины повторяли:

— Эти русские — очень веселые люди!

Потом оказалось, что где-то тут совсем близко можно выпить по кружке отличного баварского пива, только по одной кружке и на собрании с Бебелем. А Эльза уведет детей к теще и вернется прямо туда к ним на собрание.

В маленькой кнейпе и Отто и Август шепчутся с толстым хозяином, показывают на Алпатова, и хозяин очень доволен, он кивает головой: да, непременно так надо сделать, хотя бочка еще и не кончилась, но для русского гостя надо начать новую свежую бочку мюнхенского мартовского темного пива.

Большой зейдель очень темного пива был на одну треть сверху наполнен буроватой пеной, пахнувшей сильно не то дубом, не то ячменем, как пахнут только первые зейдели из только что пробитой острым концом крана бочки. Верно, много веков трудовой культуры должно было пройти, чтобы научиться сохранять человеку аромат земли в таком напитке. Алпатов одним духом, не отрываясь, опустошил весь зейдель. Но он чуть-чуть ошибся: необходимое проз и т ему надо было сказать перед тем, как приложить губы к стеклу, он же выпил и после сказал. И от этого в ответ на его запоздалое проз и т, ему сейчас же налили еще. Все смотрели на него, и рабочие, и хозяин, с наслаждением, может быть, гораздо большим, чем испытывал гость от питья: ведь гость только пил пиво, а хозяева наслаждались неизвестным русскому интеллигенту чувством гордости и радости за дело своей страны. Толстый хозяин не удержался и спрашивает:

— Есть ли и у вас в России подобное пиво?

Алпатов ответил:

— Нет, в России все пьют какое-то горькое пиво.

Хозяин очень доволен, он просит еще: ведь он денег ни за что не возьмет. Алпатов настаивает. Нет, он рассчитается только тем, что выпьет еще зейдель пива. И видно так уж и надо в Германии.

— Прозит,—говорит Алпатов, выпивая третий огромный сосуд.

— Мойн, мойн, мойн,—дружно отвечают ему все за столом.

А потом на улице, по пути на рабочее собрание, чуть-чуть колыхается панель под ногой, но зато оказывается, что на свете нет чужих людей и народов и что это его собственная алпатовская придумка, так устроиться в чужой стране; не нужно никаких гостиниц и всяких условностей и через это просто и сразу понимается все, и вкус германского пива как будто открывает характер народа. Потом Алпатов с изумлением замечает: посередине улицы легкой рысцой возвращается, как-будто из церкви, та же самая знакомая большая санбернарская собака в ошейнике и с бантиком.

Ему даже представилось, что это действие пива и вспомнился пудель из «Фауста» и что, может быть, казалось ему, всякий народ создает свои художественные образы отчасти под влиянием своего национального напитка: и пудель у Гете вышел от пива. А собака все бежала и бежала, вот поровнялась, вот уже назади. Отто заметил интерес Алпатова к собаке и спросил его:

— Бывают ли в России на улицах собаки?

— Очень много,—ответил Алпатов,—но только у нас я не видел больших собак с бантиками, и наши собаки в церковь не ходят.

Алпатов, конечно, шутил, но изумленные Отто, и Август, и Мина остановились: неужели он думает, что в Германии собаки в церкви бывают?

— А как же,—ответил Алпатов,—когда мы утром выходили из дому, в церкви звонили и бежала эта собака,—помните? А вот теперь тоже звонят, кончилась служба, народ расходится из церкви и опять эта собака бежит.

Алпатов так серьезно сказал, что все подумали, будто русский и вправду так понимает. Но ведь это же ужасно смешно, это совсем невозможно! И все стали смеяться так сильно, так заразительно, что некоторые прохожие, и не зная причины веселия, тоже смеялись.

Катастрофа

Собрание металлистов было в большой танцевальной зале с эстрадой. Для президиума на эстраде теперь был поставлен стол и около висела черная доска для писания мелом. В зале было множество столиков, за которыми сидели рабочие, иные с женами, многие пили пиво и курили сигары. Президиум, верно, был выбран еще до прихода Алпатова: через боковые двери вошли три хорошо, по-праздничному, в воротничках и манжетах, одетых рабочих и заняли места

за столиком. Потом как-то совсем незаметно пришел и сел тоже около стола скромный старичок, очень похожий на русского кустика-игрушечника из Сергиева посада или на башмачника из Талдома.

— Август Бебель, — сказал Отто Шварц.

Но Алпатов сам узнал его по много раз виденной карточке, и не был смущен; Бебель действительно был очень похож на русского кустика, а такие старички в России часто высказывают самые удивительные мысли. Вскоре после Бебеля вошел высокий старик с белой бородой, капризный, как показалось Алпатову, сердитый. Это был Вильгельм Либкнехт. И, наконец, — молодой, вполне интеллигентный адвокат Гейне. Председатель открыл собрание и объявил повестку дня: первым на очереди был вопрос, возможна ли победа, если металлисты в Берлине забастуют? Голос предоставляется адвокату Гейне, и молодой человек подходит к черной доске, начинает мелом выписывать колонки цифр, и время от времени пояснять их значение словами, мало понятными Алпатову. Однако, и раньше выпитое пиво, и новое, которое как-то само собой у всех появилось, помогло Алпатову понимать все по-своему. Дело шло, как думал Алпатов, о мировой катастрофе, которую должны начать металлисты своей забастовкой. Просто, на глазок, Алпатов догадался, что этому адвокату нет никакого личного дела до переворота и он только оправдывает свое неверие научными вычислениями. Вспомнилось ему детство, когда он с тремя мальчуганами пробовал убежать в какую-то забытую страну Азию и как ужасно было, когда холодной осенней ночью один из ребят стал доказывать, что такой Азии нет на свете и потому надо вернуться домой. У него тогда нашлась сила зажать рот этому ничтожному малому, и верно Бебель теперь тоже сумеет разбить все эти математические доказательства. В конце речи Алпатов ненавидел этого Гейне, хотя настоящего смысла ее почти не понимал. Все рабочие, однако, выразили адвокату одобрение. Но вдруг как будто огонь сверкнул в уголке за столом и это, оказалось, в глазах Бебеля: глаза его стали большими, прекрасными, а щеки и рот сложились совершенно в такую же усмешку, какую так хорошо знал Алпатов у своего друга Ефима. В глазах Бебеля было, было что-то от святого разумника Белинского, а улыбка от сатир Щедрина. Это сразу Алпатов узнал, как свое русское, и очень обрадовался. Бебель сказал едва слышно какие-то два-три слова и будто молнию бросил в собрание.

В один миг все вспыхнуло, все хохотали, стучали ногами, кружками по столу и некоторые кричали и хлопали руками. Председатель долго не мог остановить беспорядка.

— Что он сказал? — спросил Алпатов соседей за столиком.

Ему что-то ответили быстро со смехом, но Алпатов не мог понять Plattdeutsch, и решил, что Бебель смеялся над математическим доказательством невозможности мировой катастрофы.

Однако, переждав смех, Гейне снова выступил с мелом в руке и начал выводить новые колонны своих белых войск на черной доске. После этого Бебель не возражал, не было смысла, казалось Алпатову, тратить слова там, где никому верить не хочется и кажется жить и так хорошо. И все единогласно голосовали против забастовки.

Выпив разом свою кружку пива, Алпатов вдруг спросил Шварца, верит ли он, что когда-нибудь пролетарии всех стран действительно соединятся и перевернут весь мир и любовь?

— Да, я это слышал не раз,—ответил Отто.

— И что же?

— Да что, мне мало приходится думать об этом, когда мне думать-то?

— Но почему же вы социал-демократ?

— А кем же мне быть, как не социал-демократом?

Отто посмотрел на часы и вдруг встал, и многие встали: дальше начинались маленькие вопросы текущей жизни. Август разглядел пробирающуюся к нему между столиками жену Эльзу, и тоже встал. Все вышли на улицу, а через два-три переулка были в Тиргартене.

Неузнаваемо было в Тиргартене сравнительно с будничным днем. По дорожкам пешеходов движется плотная масса по-праздничному разодетых людей, и все идут в одну сторону куда-то на праздник стрелков. Всадники на отличных лошадках мелким извращенным галопом скачут по своим отдельным дорожкам. Алпатов обратил внимание на огромную распаренную женщину на велосипеде, за ней ехали на маленьких велосипедах ее дети и под конец отец со множеством узелков и у себя на пуговицах и прицепленных сзади и спереди к велосипеду.

У небольшого пивного ларька Отто остановился и предложил Алпатову и Августу большую Берлинскую Белую. И когда Алпатов опустошил этот огромный, почти в человеческую голову, стеклянный сосуд солодового пива, ему опять показались все очень добродушными и очень хорошими. Но в толпе началось отчего-то смятение, потом все остановилось, и пешеходы, и всадники, и та толстая женщина стояла с велосипедом у дерева, а вся ее семья собралась кучкой. Вдали раздавались крики, все приближаясь, пока, наконец, ясно можно было различать слово «hoch», и Отто, в восторге схватив Алпатова за руку, вскричал:

— Император, я вам говорил, покажу императора.

И показался Вильгельм. Алпатов сразу узнал его по усам, вздернутым вверх. С ним в экипаже сидел генерал. Вокруг все кричали «hoch», и многие бросали вверх фуражки. А когда коляска поровнялась, Отто и Август тоже сняли фуражки. Мина и Эльза закричали «hoch».

Император проехал и все снова двинулось вперед в прежнем порядке, Отто обернулся к Алпатову радостный, и сказал:

— Ну, вот, я вам обещал и показал, только извините меня, если в другой раз вам придется встретиться с императором, — надо кланяться.

— Вот еще,—ответил Алпатов,—почему же я должен кланяться вашему императору, если я и своему царю бы не поклонился.

— Потому,—ответил Отто,—что я поклонился, и вы идете со мной, как знакомый. Ведь если вы поклонитесь своему знакомому, должен и я поклониться. Такой обычай у нас.

— Но разве император достоин поклона социал-демократа?

Отто смешался и добродушно задумался.

— Август Бебель, например,—продолжал Алпатов,—он бы, наверно, не стал кланяться и кричать императору «hoch».

— Бебель—вождь,—сказал задумчиво Отто,—ему ведь это можно и нужно, я же человек обыкновенный, нечего скрывать от себя, вы сами видели, у нас в народе любят императора, все кланяются, все кричат, зачем же я буду отставать от всех, разве этим возьмешь?

И Алпатову показалось в искреннем голосе Отто какая-то правда, маленькая, коротенькая местная правда, но из-за которой никак нельзя, и не прилично и глупо, ставить ежом большую правду: все равно же и Бебель не стал говорить о мировой катастрофе, когда цифры доказывали маленькую правду невозможности даже простой забастовки. И эта коротенькая необходимая правда ему опять показалась свойством доброго немецкого пива, каким-то непостижимо простым и необходимо смиренным законом, почти в роде: «хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Праздник стрелков раскинулся по склону холма у озера. Тут всего было много: палатки, ларьки, музыка, столики, карусели, и в тирах слышались частые выстрелы и разные звуки в ответ попаданиям. Сразу же нашлись у Отто какие-то знакомые, потащили всех к своему столу и там за столом нашлось еще много других знакомых и незнакомых с пивом, сигарами, некоторые женщины дремали, отдыхая головой на плечах мужей, но все подняли головы, когда узнали, что среди них сел русский.

Алпатову теперь больше не нужно было думать о пиве, что кому-то надо платить, спорить о плате, как в той маленькой кнейпе: пиво само появляется, как только он кончает зейдель, сигарами все угощают,—ведь он человек лесов и диких зверей, он явился из страны всяких чудес и сказок. Он теперь хорошо понял, что нужно этим добродушным людям и рассказывает им о медведях самые удивительные вещи,—как ходят они на овес и их стерегут на деревьях крестьяне, а то и прямо сажают их на рогатину. Удивляются, что до сих пор бьют рогатиной, думают, что в России не умеют стрелять. Но Алпатов уверяет, что русские отлично стреляют, и хочет доказать это. Тогда все с большим удовольствием ведут его к тиру. Там множество фигур зверей и людей, звери рычат, люди машут руками, как только пуля попадает в определенную точку. Только в маленький ша-

рик, пляшущий на струе фонтана, никто не может попасть. Алпатову дают ружье и он, конечно, стреляет в пляшущий шарик. Случайно его пуля разбивает вдребезги шарик, но шарик опять появляется на струе фонтана и его Алпатов должен три раза разбить: а то, может быть, правда, он случайно попал. Алпатов, однако, хорошо заметил, что курок он спустил, когда шарик был на самом верху, и мушка была под шариком. Он стреляет, как в первом случае, и шарик опять разлетается вдребезги, и когда, наконец, пуля и в третий раз попадает, Алпатову дают жетон стрелкового общества, и в толпе слышатся замечания: наверно, это переодетый русский унтер-офицер.

— Почему же не офицер?—спрашивает Алпатов.

Ему отвечают:

— Офицеры ведь умеют только учить, а попадают лучше всех простые солдаты, и за то их делают унтер-офицерами.

Напрасно хочет объяснить Алпатов, что он студент, а не военный, никто не верит, потому что унтер-офицер почему-то кажется им лучше студента, и им всем так хочется ему сделать хорошее. Теперь с торжеством его ведут к какому-то огромному столу, и тут он пьет без счета, без меры. Был последний вопрос:

— Много ли в своей жизни вы застрелили медведей?

Алпатов на это ответил почему-то:

— Сорок.

Потом все оборвалось между звездами и он медленно стал опускаться на парашюте в темную бездну.

(Окончание следует)

Матросы

Из „Морских рассказов“

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

Пепельный берег

Казав мини батько: —
В море не ходи,
Сиди, сыну, дома,
Хозяйство гляди...

Грузясь хлопковым семенем, неделю стояли в Александрии. Ноябрь был тепел и тих, дни проходили сквозные и легкие, в белёсом небе высоко и знойно стояло солнце. Это высокое солнце, пятом расплывавшееся в африканском пустынном небе, знойным светом пронизывало порт, море и город. В его ослепительном свете мертво белели стены, мертвыми и жестяными казались метельчатые верхушки пальм, мертвым и нарочным показывался переполненный людьми и движением большой город. Солнце было жестокое,—оно не пекло, как у нас в июле, не пригревало по-майски,—оно стояло высоко и чуждо, заливая город и море сквозным, палящим, проникающим всюду, мертвенно-белым светом и—как бы подчеркивая эту его жестокость и мертвенность—от пальм, от людей и строений пепельно ложились на камень и воду прозрачные, чуть розоватые тени. Город был большой, плоский и каменный, странно мешавший в себе европейское с первобытным, давно отжитое с самоновейшим. От порта, где непрестанно грохотали на пароходах лебедки и синел-розовел лес пароходных флагов, мачт, труб и вант и краснели крыши пакгаузов,—в город бегал маленький открытый трамвай. Трамвай, трубя, пробегал узкими базарными улицами, наполненными снующею, пестрою, многоязычною толпою и, мимо бесчисленных лавченок, увещанных товаром, как цветным монистом, поднимался в центр города, на длинную площадь, где среди высоких, нарядных, белых европейских зданий, на черном чугунном коне высился человек в чугунной чалме, а в кофейнях под полосатыми парусиновыми навесами, расставив круглые колени и поблескивая перстнями на пухлых пальцах, дремали сытые, гладко выбритые люди в панамах и малиновых фесках. Европейцы в остроносых ботинках и просвечивающих цветных носках; европейки в белых платьях и белых чулках (ослепительными пятнами

выделявшиеся из толпы); ногастые, сухие, курчавые и губатые феллахи в голубых, выгоревших, надетых на темное тело, капотах; феллашки в черных широких платьях, коричневыми руками придерживавшие на лицах покрывала; маленькие итальянцы, рослые англичане, черноволосые французы, греки, голландцы, арабы, негры, американцы, немцы; купцы, рабочие, чистильщики сапог, туристы, разносчики, моряки, погонщики мулов, контрабандисты, рассыльные, продавцы лимонада и папирос—живым кипучим потоком наполняли город; ходили, ехали, бежали, терялись, кричали, беседовали, размахивали руками, сидели в кофейнях за наргиле, в конторах, в тавернах, с намыленными задранными подбородками восседали в блестящих зеркалами пирульнях, и над всем этим, заливая мертвенным ослепляющим светом, высоко и неподвижно стояло жестокое, знойное, расплывавшееся в небе африканское солнце. Иногда, разрезая и расталкивая густую толпу, непрестанно звоня и крича, прижав к обнаженным грудям бронзовые кулаки, мелькая голыми голеньями, серединою улицы пробегали лоснившиеся потом черноголовые скороходы, а за ними в высоких откидных колясках следовала свадьба: каштановолицый жених с белой грудью и белым цветком в петлице и невеста в белой фате и наколке, в букете белых роз хоронившая свое темное счастливое лицо. Толпа оглядывалась, густела, затихала на минуту и забывала тотчас же, как только исчезало видение, и опять плыл, переливался и шумел по улицам города живой и широкий человеческий поток.

За городом, куда тянуло бежать, в конце широких, белых и пустынных улиц, застроенных домами со спущенными зелеными жалюзи, обсаженных жестколиственными, не дававшими тени деревьями, пустынно и чуждо лежали коричневые поля, засеянные хлопком и маисом, и, похожие на высокие мурашечьи кучи, темнели глиняные хижины феллахов-крестьян, а в блестящих лужах—остатках древнейшего канала—отражалось белесое, мутное, безоблачное небо; высокие, тонкие, в серых кольцах, чуть сгибавшиеся (так сгибаются в наших лесах высокие семенные березы) пальмы высоко поднимали свои сухие, легкие метелки с гроздьями запекшихся, прикрытых рогожами, спелых ягод. И, как это бывает в городах и землях, давно отживших свое далекое прошлое и подчинившихся новому прошлому, здесь с особенно отчетливостью противостояли: бедность и богатство, нищета и благополучие, сила и слабость. Там, где кончались за городом, затененные садами и жалюзи, тихие виллы и особняки, на берегах заплывшего сизым илом канала, в немногих верстах от огромного порта, в котором всякий день останавливались и разгружались океанские, блистающие чистотой и порядком, пароходы,— под старыми пальмами скрипели древние, накачивавшие из канав нильскую воду, коромысла, топтались в первобытных топчанах быки, и одетые в черное женщины с глазами, изъеденными трахомой, держа за руки голых коричневых курчавоголовых ребят, с кувшинами на плечах библейски проходили на каменные круглые колодцы. И по тому, что с великою

скупостью была использована и обработана каждая земная пядь, было видно, как несказанно дорога людям эта коричневая, испепеленная солнцем, перетроганная миллионами человеческих рук, сухая земля.

В городе былолюдно, богато и шумно, гудели машины, степенно благополучные прохаживались полицейские; в зеркальных, прикрытых маркизами магазинах горело золото и сверкал хрусталь; в порту ежедневно грузились и разгружались океанские пароходы, выкидывали толпы благополучных нарядных людей, и на пристанях было тесно от сложенных в штабеля ящиков, бочек, тюков, жестянок, не вмещавшихся в портовые склады и ожидавших отправки. Ночами над городом в осыпанном играющими звездами черно-черно-синем небе полыхало светлое зарево, и над темнеющей пустынею моря все зажегался и беззвучно сгасал белый огонь маяка. Город был, как освещенный корабль в безбрежном море и, как перехлестнувшая через борт соленая морская волна напоминает пассажирам корабля об окружающем их страшном море,—окружавшая большой город страшная иная жизнь напоминала о себе ползавшими под ногами толпы ужасными, изъеденными трахомой, волчанкой и мухами, нищими, вопившими такими жуткими голосами, что мороз пробежал по спине; девушкой-арабкой с неприкрытой коричневой детской грудью, растерянно прижимавшейся к раскаленной стене и глядевшей на толпу большими испуганными глазами; наглыми, полуголыми, худыми людьми, появлявшимися тотчас же, стоило остаться на улице одному,— теми людьми, что остановили у ворот порта запоздавшего в городе матроса Придворова и, оглушив кастетом, пригрозив ножами, раздели его до гола, до носок на ногах. А еще больше напоминала о себе эта страшная, окружавшая город жизнь скрытым недобрым огнем, загоравшимся в глазах людей, и как бы утверждавшая, что нет и нет благополучия на земле...

В порту стояли неделю. Днем матросы работали в трюмах, перевязав платками лица, чтобы не дышать пылью, стоявшей таким густым, едким туманом, что в трех шагах в трюме не было видно человека. Семя грузили арабы; скрываясь в клубах пыли, они широкими лопатами разгребали серые пыльные вороха и с корзинами на плечах вбегали на пароход по сходням, перекликались, смеялись, ссорились, обедали на ходу пареными бобами, которые варились тут же на пристани в высоких глиняных кувшинах с узкими гордами. Палубу наполняли неведомые полуголые люди,—они толклись в коридорах, в проходах, жадно заглядывали в камбуз, где возился с кастрюлями китаец - кок и остро пахло едою, протискивались в кубрик и в каюты, целясь на то, что лежало поплосе. На них кричали, бранились, вытаскивали, и они опять возвращались, как мухи возвращаются на небуданный стол.

У входа в кубрик, раздвинув острые колени и подобрав под себя пятки, сидел на солнце, на высоко сложенных люках, старый, иссохший, как черная кость, араб-фокусник. Маленькая, высокая, обтяну-

тая сухой блестящей кожей, серебряно-седая голова его была небрежно обмотана полосатой грязной чалмой. Тонкими старческими пальцами он брал длинные булавки, лежавшие между колен в подоле балахона, и одну за другою глубоко втыкал в свои исколотые запавшие щеки, в высунутый сизый язык, в иссохшие мускулы тонких рук и в заросшую седыми колечками волос, открытую черную грудь. Глаза его с вывороченными нижними веками, с коричневыми белками, пустынно, жалостно и тупо оглядывали толпившихся над ним кочегаров. С торчавшими в теле булавками, он медленно поворачивал на тонкой шее обезображенную, с проткнутым языком и щеками, старческую голову и протягивал ладонью вверх длинную дрожавшую руку. Кочегары клали в его темную ладонь никелевые дырявые монетки и, поживаясь брезгливо, отходили. Тотчас к ним подбегал молодой полуголый и татуированный араб с курчавой, как густой барашек, круглой головою и, улыбаясь толстыми губами, таинственно вынимал из сигарной продырявленной коробки, которую держал под мышкой, горбатого, сонного, лениво расправлявшего свои ручки-лапы, хамелеона. Он сажал это серое маленькое чудовище на свою голую руку, и на глазах оно начинало густо темнеть, перенимая коричнево-каштановый цвет руки. Молодого араба сменял юркий слезливый человечек—продавец похабных картинок и игральных карт. И до позднего вечера, наступавшего по-африкански быстро и незаметно, в кубрике и на палубе толклись худые, обожженные солнцем оборванцы—продавцы гашища, египетских папирос, шпанских мушек, перьев страуса, поддельных скарабей и всяческой туземной дребедени.

Работы на пароходе заканчивались поздно, когда над городом высоко вставало электрическое зарево и город казался большим, таинственным и манящим. И матросы умывались, ужинали и одевались наспех, чтобы, не отдыхая, итти в город, манивший их огнями, шумом и ожиданием встреч.

Смеясь и разговаривая, они проходили порт, ворота и пустынные складские улицы, в которых было темно и гулко, как в порожней церкви, раздавались шаги и голоса. В городе матросы и кочегары заходили в таверну, где над непокрытыми деревянными столами плавал и колыхался табачный дым, гудели многоязычные хмельные голоса. Матросы занимали стол, спрашивали дузику, пили, весело чувствуя, как бросается в голову кровь, как приближаются, добреют, колышутся в сизом тумане лица соседей. К ним, разбирая стулья, подсаживались кочегары-французы в синих куртках, в спущенных на глаза кепках,—дружелюбно и вежливо улыбались и, узнав русских, пили за Россию, стуча о стол доньшками стаканов и пожимая матросам руки. Из таверны матросы вываливались возбужденные и хмельные и, как водится, всюю гурьбою шли на тартуш.

С большой, освещенной, переполненной толпою улицы они сворачивали в знакомый по прежним посещениям, узкий, как щель, проулок, пахнувший человеческим и собачьим пометом,—поднимались по

выбитым каменным ступеням и попадали в тесный, крикливый, похожий на большой шумный базар, арабский город.

Здесь не было ничего похожего на тот залитый светом, с катившимися автомобилями, с витринами и подъездами, европейский город, из которого матросы только что вышли. В перепутанных и узких улицах арабского городка было что-то от недосыгаемо далеких времен,—от времен морских пиратов и невольничьих рынков, когда по этой же земле, прогретой солнцем, и в таких же шумных и перепутанных улицах и проулках ходили, кричали и ссорились, увешанные оружием, черные от загара, исполосованные татуировкою и зажившими шрамами, полуголые люди, и понуро, опустив непокрытые головы, сидели и дожидались своей судьбы толпы смуглых невольников и обнаженных невольниц. И то, что была над землею ночь, что ярко горели вверху звезды (эти же играющие крупные звезды горели и над невольничьим рынком), что плакала о чем-то несказанно-древнем неведомо откуда выходящая тягучая арабская музыка и гукал подземно барабан,—укрепляло и усиливало это чувство далекого прошлого.

Об этом чувстве давно отжитого матросы не думали и не замечали невыразимой тоскливости музыки,—держась друг дружки, они весело проходили тесными, тускло освещенными электричеством улицами, мимо маленьких домиков, у порогов которых сидели черные, коричневые и белые женщины, что-то кричавшие им хриплыми провалившимися голосами. Женщины сидели, высоко задрав ноги в чулках и браслетах,—перекликались, курили, жевали серу, перебегали с места на место, смеясь и заглядывая в лица матросов. У порогов их домиков-клетушек в жаровнях дымился ладан и пахучий, приторный дым слоями плавал над полуосвещенными улицами. На перекрестках улиц, на низеньких камышевых табуретках восседали рыжие, обвешенные побрякушками, похожие на злых ведьм, старухи (такие же ведьмы-старухи, должно быть, восседали здесь много веков назад, окарауливая молодых невольниц) и ястребиными желтыми глазами внимательно следили за женщинами, с порогов своих хижин заманивавшими гостей.

Матросы, не останавливаясь, стараясь не глядеть в лица женщин, проходили из улицы в улицу. Рукастая, с длинной спиной, сухоногая негритянка, звеня браслетами, подбежала сзади и со звериною цепкостью сорвала с отставшего молодого кочегара фуражку. Визжа и кривляясь, она скрылась в дверях своего домика. Кочегар, улыбаясь и бранясь, неловко пошел за нею. Тотчас же за ними захлопнулась и задрожала оклеенная цветною бумагою дверь. Матросы остановились, закурили, терпеливо ожидая товарища. А через пять минут он вышел, неловко держа в руках измятую фуражку, конфузливо оправляя сбившиеся волосы и не глядя в глаза матросам. Негритянка с длинной папирсой в черных пальцах равнодушно провожала его на пороге хижины и из ее черного, матового, изуродованного татуировкою губатого лица темно, нагло и нечеловечески-печально глядели большие, круглые, глубокие глаза.

На углу полутемной улицы матросы завернули в кофейню, где было сизо от дыма, и на развернутом пестром ковре, побрякивая блестяшками, танцевала высокая толстозадая женщина. Одетый в белый, свисавший складками, балахон, старик-слепец сидел на утоптанной земле, широко раскинув черные, высохшие, как кость, ноги, играл на длинной деревянной дуде, оперев раструб ее между черных ног в землю (звуки музыки, словно бы исходившей из земли, матросы слышали раньше, но не могли догадаться о их происхождении, так они были глухи и ни на что не похожи) и на белом, мертвом, с заросшими глазами, лице старика, как два огромных пузыря, нечеловечески и страшно растягивались и надувались щеки. Он набирал в них, как вольтник в меха, воздуху и звук был непрерывный, трепещущий, жалобный невыразимо. С ним сидел на земле худой, с голой грудью и сережками в оттянутых ушах, молодой араб и, склонив курчавую голову, палкою бил в высокий, издававший глухое уханье, барабан. Под их музыку кружилась и останавливалась на ковре женщина, долго крутила толстыми бедрами и животом, дергалась жирной грудью и, на нее глядя, округ сидели арабы в капотах и пиджаках, сосали из мундштуков холодный дым наргиле, и, когда она стала,—несколько серебряных монет шлепнулось о ее платье и упало к ее ногам на ковре.

Ночью матросы и кочегары ходили в другой отдаленный квартал, куда их провожали длинноногие босые мальчишки, назойливо липшие к ним и повторявшие два надоевших слова: «Маруська, Маруська! Маргарит!»... Там было «по-европейски» чисто (в этот квартал ходили капитаны, помощники и механики с кораблей), в «заведениях» блестели у стен позолоченные трюмо, и женщины, изображая европейских дам, чинно сидели на малиновых бархатных диванах. В одном из домов матросам привели русскую,—высокую, русоволосую женщину, и она ничуть не обрадовавшись землякам, вяло и неохотно расспрашивала матросов об Одессе и Витебске, рассказывала об Аргентине, куда собиралась ехать на заработки, показывала платье, и матросам было с ней скучно.

По дороге в порт, под утро, у ворот таможи матросов остановил рослый феллах-таможенный. Он грубо и привычно обыскал матросов, отобрал у кочегара Мити початую бутылку и осведомился зло:

— Инглиш?

— Ноу.

— Италиен?

— Ноу.

— Френч?

— Ноу, ноу,—весело отозвался ему Митя, подмигивая и смеясь.—

Ай эм рошиен! Москòв.

Феллах вдруг оскалился, подобрел и, отдавая Мите бутылку, заговорил дружелюбно и быстро:

— Москòв, москòв! Бòльшевик?

— Тò-то,—ответил Митя, пряча бутылку и добродушно похлопывая таможенного по плечу.—Свои, братишка, свои!..

В море

В море вышли на седьмой день. Как всегда после долгой стоянки, весь тот день убирались, чистились, скатывали и скребли палубу, принайтовывали и укладывали снасти, опускали и крепили стрелы. Все утро матросы, босые и без шапок, с голиками и щетками ходили за боцманом, таскавшим за собою длинный, с брызгавшими фонтанчиками соленой воды шланг, терли и скребли палубу, смеялись и окатывали друг дружку. Боцман, высокий, крутогрудый и краснолицый, в кожаном фартуке и высоких резиновых сапогах, пальцем прижимая отверстие шланга, перебрасывал по палубе упругую, тонкую, переливавшуюся радугую струю. Где-то, в самой глубине парохода, словно живое сердце, билась и kloхтала донка¹⁾. Матросы убирались весь день, а к вечеру на пароходе установилась привычная, налаженная и ровная жизнь, которою живут большие грузовые пароходы, неделями остающиеся в море. На палубе было просторно и ослепительно чисто, сиреневая катилась по бескрайнему морю зыбь, глубокое и голубое простиралось море, и в нем—над морем и пароходом—не жарко стояло ноябрьское солнце.

Вечером матросы сидели в кубрике за длинным столом, обедали и шумно вспоминали недавние береговые встречи. Маленький, с желтым лицом, с мешками под оплывшими глазками, Хитрово, посмаргивая носиком и обсасывая жирную баранью кость, в сороковой раз «травил» о когда-то влюбившейся в него красавице-американке, поившей его дорогими винами и укладывавшей спать под атласное одеяло,—об одесских, далекой памяти, барышнях-«чудачках», «швартовавшихся» к нему, когда он был молод, гулял по бульварам, носил «дрейки» на тужурке, фуражку с «ракушей», душился духами «гвоздика» и «гелиотроп»,—о замечательной своей бабушке, прожившей ровно сто тринадцать лет и наставлявшей его самому трудному на свете искусству—жить,—о том, как учил его первый его начальник, хохол-шкипер, готовить флотский борщ.

— Дело давнишнее,—рассказывал Хитрово, морщась, сплевывая и стараясь над костью.—Утек я в Одессу от отца-матери еще сопловым мальчишкой, и с лёту засел на декохт. Дело известное: полдня бегаю по пароходам, пытаю вакансий, полдня—окурки на бульварах собираю... Подвернулся тем временем мне человек: «Пойдем, говорит, есть важный шкипер, шукае себе на парусник кока!»... Пошли мы до того шкипера к морю,—вижу, сидит себе на мешках босый дядько, ноготь на большом пальце, как копыто, и сам, как бугай, черный,—

¹⁾ Скатывать палубу—мыть, окатывать; принайтовывать—привязывать, крепить (при выходе в море на кораблях принайтовываются все предметы и снасти, могущие сдвинуться во время качки); стрела—наклонно подвешенное к мачте бревно, служащее опорой при подеме грузов лебедкой (в пути стрелы опускаются на прилаженные для них опоры); донка—паровой насос.

на стульчаке перед ним кварта... Гляжу на тот его ноготь, слушаю, как у меня пытается: «Чего, говорит, хлопче, можешь?..» — «Могу всё!» — «Ой, ой, хлопче, могла девка всё, да наскочила!.. Флотский борщ варить можешь?» — «Можу!» — «Ну, — вира! — приноси вещи, да смотри, сучий сын, не даром тебе буду платить три карбованца!..» Смотался я в город, принес робу, сунул под койку. И опять говорит мне тот шкипер: «Как тебе звать-то, хлопче?» — «Михайла». — «Доброе имя! А ну, Михайло, свари мне сегодня наш флотский борщ...» А я того борща не видывал и во век... Навалил я в котел капусты, накрошил луку, насыпал соли, налил воды, — варю, а сам себе думаю: нехай, может чего и выйдет!.. Сварил я тот борщ, сели обедать. Шкипер откушал, усы протер: «Гарный, говорит, борщ! А ну, ходи сюды, Михайло!» Подошел я к нему, стою... «А ну, достань из-за борта ведро соленой воды!» Достал я воды, а он то ведро взял, — раз воду в борщ!.. Эге, сам себе думаю, — дело не ладно, — скорей на ванты, — раз, раз! — сижу на клотике, как воробей, а он на меня снизу ревет, в руках смолёный конец: «Слезай, чортов сын!..» — А моей бабушке сто тринадцать лет, она меня учила, как в таких положениях быть...

Рассказывая, Хитрово морщил свое обезьянье личико, чмокал над костью и потешно поднимал брови. Матросы ели, слушали и, посмеиваясь, поддразнивали Хитрово:

— Сколько за бортом? — насмешливо спрашивал с конца чей-нибудь голос.

— Сорок! — ничуть не смущаясь насмешкою и смешно морща свое желтое личико, отзывался Хитрово.

— Мало, трави еще!..¹⁾

До Гибралтара проходили спокойно. Дни были тихие, легкие, днем высоко стояло солнце, и ночью над морем рассыпались звезды, серебряным корабликом плыл месяц. Просыпаясь и засыпая, матросы слышали, как бурлит под кормою винт, как гулко хлещется о борта зыбь, — работали, отстаивали вахту, сменялись, отдыхали, ели и пили, спорили, играли по вечерам в карты. По утрам в кубрик приходил боцман, поднимал матросов, присаживался бочком на скамейку, шутил и матросы поднимались неспешно, натягивали «робу», мылись, завтракали и в восемь выходили на работу. И было весело и приятно отстаивать вахту, поглядывать на компас, перекидывать из руки в руку точеные рожки штурвала, чувствовать, как покорно слушается руки большой пароход, — встречать по утрам игравшее солнце...

Уголь брали на Мальте. Опять до полудня было на пароходе суетно и неловко, черною копотью ложились на палубу угольная

¹⁾ При отдаче якоря с грохотом выходит в воду якорный канат, и, время от времени, капитан окликает на баке боцмана, следящего за канатом: «Сколько за бортом?» Боцман кратко передает, сколько саженой вышло каната. — «Трави еще!» — приказывает капитан. Все это вошло в матросский жаргон: «Травить» — врать, брехать. «Сколько за бортом?» — смеются над завравшимся Хитрово. — «Трави еще!».

пыль,—угрюмо и тяжело, словно огромные утюги, дремали на рейде серые броненосцы и сновали, бороздя лазурную воду, дымившие катера. И городок на берегу лежал белый, залитый солнцем, обдутый морскими ветрами, а с палубы было видно, как по белой набережной проходят женщины в шелковых, надуваемых ветром, покрывалах и весело бегают дети.

Вечером опять уходили и опять пустынно и бескрайно лежало впереди море, пламенно закатывалось за море солнце, выскакивали и падали над синею зыбью летучие рыбы, дымчато-голубой и легкий, открывался испанский берег... За Гибралтаром океан ходил тяжело и холодно. Ночью из мрака шли на пароход волны, не ослабевая дул и свистел ветер, хлестал над пароходом холодный и косой дождь. Волны ухали в левый борт и от их ударов гудел и содрогался пароход, черно и мутно висела над океаном ночь и было удивительно думать, что всего три дня назад—жарко светило над пароходом африканское солнце и сине и ласково расстиралось теплое море. Случалось, что со всею силою обрушивалась на пароход зыбь и, кипя, не вмещаясь в стоки, журча и клубясь, покрывая палубу белой рокочущей пеной, долго каталась от борта к борту. Люди ожидали минуты и торопко перебежали, хватаясь на ходу за ванты, чтобы не упасть на мокрой, взлетающей и падающей палубе. Однажды огромная волна обрушилась на заднюю палубу и заставила тяжело задрожать пароход, кипящим рокочущим потоком наполнила коридор и, разбив дверь, ворвалась в кубрик. Разбуженные матросы, поднявшись на койках, увидели седую, зеленовато-мутную, вливавшуюся во всю дверь волну. Минуту всем казалось, что пароход идет к дну, что спасения нет,—потом волна спокойно разлилась по палубе кубрика, смешалась с грязью, и по ней, колыхаясь, мирно плавали окурки и матросские сапоги.

В Бискае капитан приказал вахтенным лазить на мачту, чтобы высматривать огни маяков французского берега. Это было самое страшное: в крошечном мраке размахиваться вместе с мачтой над бушующим невидным внизу океаном, цепляться за мокрые ванты и скобы, бороться с отрывавшим от мачты ветром, знать, что внизу, в пятнадцати саженьях,—бушующая бездна, перебрасываться, затаив дух, с вант в железную бочку и сидеть одиноко, летая над бездной, слушать, как глухо и грозно ревет океан...

Лоцмана брали в Дувре. Две ночи и день с непостижимым упорством он безотдышно ходил по мостику взад-вперед, цепко ступая короткими, обутыми в толстые ботинки ногами. На затылке его, за ушами, на толстой короткой шее, выступавшей из белого воротника свитера, пятнами багровела кожа. Иногда он останавливался над компасом, смотрел на колебавшуюся под мокрым стеклом картушку¹⁾ и,

¹⁾ В морском компасе, вместо стрелки, подвешивается бумажный круг, разделенный на градусы с прикрепленными к нему намагниченными стерженьками— это и есть карташка. Компас—необходимейшая на всяком судне вещь. Моряки слово компас выговаривают с ударением на а: компас.

не выпуская изо рта черной обкуренной трубки, часто моргая красными веками, приказывал рулевому, смешно выговаривая по-русски:

— Пять градус лева!..

Несколько раз на день на мостик поднимался с подносом толстозадый китаец-бой в белой короткой куртке, с вороно-черной блестящей головою, с трепавшейся под локтем салфеткой. Короткими, поросшими рыжею шерстью мокрыми пальцами лоцман брал с подноса стаканчик, вынимал изо рта трубку и выпивал залпом, багровел гуще и опять продолжал ходить взад-вперед под дождем и ветром. Сменявшиеся рулевые подмигивали на него глазом и тишком говорили друг дружке:

— Этакой чорт рыжий!..

В Северном море две ночи дул злейший норд. Над кипевшим, изжелта-седым морем, задевая самые верхушки мачт, сизыми клоунами низко пронесли штормовые облака. Пароход шел, едва продвигаясь против ветра, махаясь в бортовой качке, и штурвальные шалели, стараясь держать на курсе. Ночами слышнее ухали о борта волны, высоко и тускло мотались над пароходом топковые огни и выходящий из-под колпака свет холодно освещал покрытое солеными брызгами лицо рулевого...

На место пришли на рассвете. Тонкой синевеющей полосой лежал впереди берег. Над городом, над устьем широкой, отливавшей молочным опалом реки, неподвижно и чуждо висела сизая мгла; в просветах быстро пробежавших поднявшихся облаков холодное и зеленое проглядывало небо. В обед, вместе с приливом, два маленькие буксира протискивали пароход в док, и мимо текли блестящие лужами асфальтовые берега, белелись штабеля досок и краснели крыши доковых складов. Матросы работали на баке и на юте, готовили для отдачи проволоку, травили и выбирали шлепавший по воде буксир. На берегу, поглядывая равнодушно на входивший из моря большой пароход, стояли люди в коротких пальто и серых, надвинутых на глаза, шляпах, курили, спокойно опершись на трости. С парохода были видны их гладкие, отливавшие здоровою сизиной лица, и работавший во второй вахте Бабела, неведомо за что ненавидевший благополучия иностранцев, поднявшись от работы, ни с того ни с сего, выругался солоно и сердито:

— Ряжки, черти, наели!.. Пожди, будете мякину жрать...

— Тебе-то чего, чорт брюхатый?—сказал ему Медоволкин, рукавицами перебирая мокрый, выходящий из воды конец.

— Поедят мякинки.

— Жаден ты, чорт, больно...

В обед на пароход поднялись люди в черном, привычно и наскоро огляделись и, отбив положенную формальность, как водится, зашли в кают-кампанию выпить с капитаном за счастливый приход. На пристани у парохода, задравши голову в серой шляпе, стоял толстый человек, и, протягивая через борт печатные карточки, по-русски, с гомель-

ским выговором, приглашал матросов пожаловать в его собственный магазин, где можно было достать всё в кредит и по самым выгодным ценам... И, рассеянно его слушая, перевесясь через борт, жадно вслушивались матросы в шумевший за лесом мачт город.

А вечером матросы опять брились и чистились, вынимали из чемоданов слежавшиеся костюмы, непривычными руками повязывали галстуки,—и город за воротами дока встречал их ошеломительным шумом, блеском пробегавших трамваев, ослепительными огнями магазинных витрин. Возбужденные городом, они весело шли освещенными, со вспыхивающими колеями рельс, улицами, мешались с гудевшею голосами толпой, легко и весело шли-плыли в ней. Женщины плыли встречу им, четко отстукивая каблучками, улыбаясь лукаво и молодо, и матросы влюбленно и подолгу оглядывались на их легкие обтянутые ноги, на их покатые и круглые плечи, на белые и тонкие, державшие сумочки, руки... Толпа рекою наполняла улицы, текла и растекалась и матросы, покорно отдавшись течению, с удовольствием чувствуя под ногами твердую землю, проходили мимо ярко освещенных витрин; — забредали на залитые шумною толпою площадки, где кружились, позванивая колокольцами, пестрые карусели, хлопали в тирах ружья и кипел, плыл, как густая сельдь в море, звонко смеялся румянолицый, задорный, звонкоголосый человеческий молодняк; — заворачивали в «румы», где было тепло и уютно и люди сидели домашне, поставив над головами на дубовые полки недопитые стаканы. Матросы пили пиво и уиски, смотрели, как бойко и весело, действуя голыми локтями, накачивает за прилавком пиво хозяин, рассматривали висевшие на стенах старинные картинки. Веселые и хмельные, они брели дальше и город им казался огромным и светлым, не похожим на тот африканский, по которому они бродили недавно,—над городом, над двигавшейся толпою, над крышами и невидным в ночи лесом труб и мачт торжественно и гулко плыл звон колоколов, гудели и скрежетали передачами катившиеся по гладкому асфальту бесчисленные авто, перекликались по-бабьи тонко над городом свистки паровозов,—и опять встречу матросам широким освещенным потоком, покрывая все, шли-плыли, ярко улыбаясь и приветливо блестя глазами, легкие и прекрасные женщины.

Сусликов

Пароход был большой, океанский, после войны застрявший где-то в Америке, и поэтому все на нем носило след американского благополучия и порядка, отличавшего его в портах от других пароходов, как отличается в толпе оборванцев празднично одетый человек. Из Америки шли с грузом через Панаму, Океан, Гавайские острова, Японию и дальше—на Индию, Суэц, Константинополь, Александрию, Гибралтар—в Европу. Как всегда в долгом плавании, все эти месяцы жизнь на пароходе текла своим положенным, лишь изредка нару-

шавшимся короткими береговыми стоянками, привычным чередом.— О России, о том, что совершалось в ней в тот год, знали мало и смутно и Россия была далека, как тридевятое царство. Всякий день открывалась перед глазами величественная бескрайность океанов, пальмовые и туманные проплывали берега и было трудно верить, что где-то попрежнему топят бабы печи, а в высоком осеннем небе над сжатыми полями недвижно стоят ястреба и под дубами, на лесных закрайках, по-осеннему пахнет печеным хлебом... Матросы смутно слышали о когда-то готовившемся на пароходе бунте (уже в Англии, вычищая канатный ящик, матросы нашли спрятанные от тех времен две винтовки и револьвер), о том, что была высажена команда и отправлена в тюрьму на острове Яве, что долгое время плывал пароход с туземной командой, что многое знают и крепко молчат о тех временах Бабела и боцман. Россия представлялась, как далекий и смутный сон и то, что в ней совершалось, казалось недостижимым, далеким и притягательно-страшным. И матросы думали, спорили, говорили о России, а еще больше думали и говорили о своем простом и всегдашнем.

И редко, редко бывало на пароходе: задумается кто-нибудь, глядя на море, и неожиданно скажет:

— У нас теперь, чай, зима, снег, вешки по дорогам торчат, зайцы находили... Бывало, насажаем девок полные сани... У нас на деревне три гармошки...

Всех в кубрике было пятнадцать. И, как бывает всегда, когда люди подолгу живут обочь,—каждый занимал свое положенное место и о каждом знали точно: знали, что у здоровяка Оборина лежат на сохранении у капитана деньжонки, что с самой Японии лечится толстый Бабела от нехорошей болезни, что под подушкой у красавца Македонского хранится фотографическая карточка чернобровой невесты, уж который год дожидавшейся его в Одессе, что любит погулять широко Сусликов. А больше всего в кубрике говорилось о женщинах. С женщинами знакомились и сходились на улицах в городах, в портовых кабаках и притонах, брали на память карточки и забывали, уходя в море. Говорили о женщинах грубо и солоно, но, случилось, находила минута, ложась и скидывая через голову рубаху, вдруг вспомнит кто-нибудь родную сестренку-невесту, задумавшись скажет, и на малую минуту станет в кубрике тихо... И почти у каждого лежал припасенный в Россию подарок. И всякий мог бы не мало порассказать о тайных своих думах и сердечных делах...

А больше всех мог бы рассказать об этих делах любимец кубрика, легкая душа, «царь-человек» Сусликов...

Это был сухощавый, долгоносый и длиннорукий, жилистый человек с тугими рабочими руками, на которых повыше запястий проступали заросшие шерстью крепкие мослоки. Койка его, крайняя слева, лучшая в кубрике, была опрятно и нарядно застелена. На крашеной обшивке над койкою висел увеличенный портрет женщины в платочке и маленькой девочки—его жены и ребенка, в кои-то веки покинутых

им в России. Из России Сусликов уехал давно, еще до войны (он был сибиряк, томчанин) и четырнадцать годов прожил на Гавайских островах, в Гонолулу. Четырнадцать лет жизни на далеких тропических островах с чужими людьми изменили его российскую внешность: он подсох, гладко, по-американски, брился, носил воротнички и подтяжки, по-русски говорил, растягивая гласные, с тем немного неприятным акцентом, к которому привыкают русские люди, долго говорящие по-английски. На пароход он поступил в Гонолулу, надеясь пробраться в Россию, куда его после четырнадцати лет сытой и привольной жизни потянуло неудержимо, точно так, как в эти годы неведомо почему неодолимо звала Россия многих и многих давно отбившихся от нее русских.

По своему уменью Сусликов был столяр и столяр отличный. Матросы в свободное время любили ходить под бак, где работал на верстаке Сусликов, смотрели, как ходко кипит под его руками работа, как вьется над волосатыми пальцами и падает на железную палубу кучерявая стружка,—на его жилистые, державшие инструмент руки, на потное, строгое на работе лицо:

— Горяч ты, Сусликов, на работу.

— Девочек любит, вот и горяч...

Сусликов останавливался, поднимал от работы потное носастое лицо и отвечал весело, прямо глядя своими зеленоватыми, тесно поставленными глазками:

— Девочек любить надо, на то девки и сотворены!—отвечал он, растягивая гласные, сморкаясь и вытираясь лбом о засученный рукав куртки.

Как все мастера, Сусликов был горд и цену себе знал точно. И в кубрике Сусликова почитали за его талант, мастерство и легкий для людей характер. Со всеми в кубрике он был уживчив, общителен, прост и милое было дело пойти с ним на берег выпить: Сусликов хорошо умел копейкам свертывать головы!..

На Гавайях, в Америке, он зарабатывал много и приволок на пароход кое-какое добришко. А по матросскому званию он был бы на пароходе богат, не стрясись с ним горе-беда,—не повстречай она на своем пути бедовую бабу.

Беда эта стряслась с ним в Константинополе...

Пароход тогда стоял в Золотом Рого, на весь порт блистая привезенным из Америки благополучием и чистотой. Матросы, кочегары, машинисты, механики, штурмана, горько стосковавшиеся по России, приняли Константинополь, как преддверие всем морякам родной мамы-Одессы. Матросы всякий день ездили на берег, бродили по галатским перепутанным улицам, куда неведомо как переселились одесские, прежней памяти, «спуски» и кабаки,—пили, шумели, плясали и знакомились с женщинами. И всю неделю на пароходе было необычно пьяно, шумно и безалаберно, как на базаре. Однажды на пароход в матросский кубрик зашла женщина с берега, поставила корзину с бельем, присела на кончик скамейки и, кокетливо оправляясь, заго-

ворила бойко, с певучим хохлацким приговором. Сусликов — один в кубрике—собираясь в город, брился, размазывая по лицу мыло, скоблил по подбородку бритвой и женщина смотрела на него прищуренными лукавыми глазами и кокетливо оправляла платочек. И то ли, что бойко сыпала словами задорная баба, что по-русски просто было повязано платочком ее круглое лицо, что давным-давно не выдывал Сусликов русскую женщину,—случилось, что в тот же вечер они вместе сели в узкую, колыхавшуюся у трапа на черной воде лодченку сандалджи-турка и, желтеясь во мраке фонариком, поплыли к горевшему великим множеством огней, шумевшему ночным шумом городу... Вернулся Сусликов на пароход утром, веселый, легкий и полупьяный. Весь день он соколдом ходил по пароходу, шутил, играл песни и поил матросов коньяком. Стоя у трапа на вахте, он смотрел хмельными глазами на расстилавшийся перед ним город, на кипевший густою толпою мост, на маленькие пароходы, пыхавшие дымом и бороздившие черную воду залива, ел кислый виноград, и, когда по трапу, поскрипывая, поднялся на спордек оборванный, похожий на бездомную собаченку, давно уже заседавший на безнадежном «декохте» Хитрово и, морща обезьянье личико, осведомился, — нельзя ли повидать старшего и нет ли на пароходе местишка? — Сусликов взглянул на него такими веселыми ободряющими глазами, так добродушно, уверенно похлопал его по плечу и обнадежил:—«Поступишь!»,—что у Хитрово по лицу, как по воде ветер, пробежал счастливая улыбка. Он угостил Хитрово виноградом и сам повел к старшему, сидевшему под навесом и глядевшему на город такими же, как у Сусликова, шальными глазами,— и счастье, казавшееся Хитрово недостижимым, досталось ему, как воробей в руки. Старший, нарядно одетый под американца, взглянул на Хитрово хмельно и туманно (в каюте старшего, отделанной Сусликовым под красное дерево, ту ночь провела женщина с берега) и, поигрывая носком лакового ботинка, кратко приказал Хитрово приносить на пароход вещи...

В Константинополе, так же, как потом в Александрии, стояли неделю. И всю неделю Сусликов не ночевал дома, а в кубрике знали, что замутила Сусликова на берегу хитрая прачка. И случилось — в кубрике об этом проведали скоро — так повела хитрая баба, что в одну неделю фукнули, как легкий дым, сусликовы кровные денежки, скопленные еще в Гонолулу, а следом за деньгами, полетело туда же новое ненадеванное пальто, синий американский костюм и ботинки,— и уж кое-кое-как схоронили матросы от разгулявшегося напропалую, потерявшего голову «царь-человека», ящик с его инструментом — последнее его достояние и хлеб... Накануне ухода из Константинополя он сидел в кубрике над столом, положи горькую голову на жилистые свои руки и зелеными мутными глазками не моргая смотрел на горлышко стоявшей на столе початой коньячной бутылки, а с ним собутыльничал, лычком вился и «травил» праздновавший свое поступление на пароход, пьяненький Хитрово...

Весь рейс от Константинополя до Александрии был шальной. В Константинополе пили, гуляли, не жалеючи пускали на ветер и пыль трудовые деньжонки. И то ли, что далека была и недостижима Россия, что каждый в глубине души мучился тем же, что легок рабочий человек ставить на ребро последний грош, — полкубрика из Константинополя выходило с порожними карманами. И Константинополь остался в памяти, как самый отчаянный и головоломный порт.

До самой Александрии в кубрике резались в карты. По вечерам в кубрик приходил боцман, приводил своего земляка-плотника, усатого и мрачного чухонца, и по столу начинали гулять карты. В карты играли те, у кого шевелились деньжонки и кто думал на картах навёрстать константинопольскую проруху. Боцман играл зло, молчаливо, все время выказывая из-под усов белые свои зубы и сухо постукивая по столу костяшками пальцев. Земляк его сидел сумрачно, не играя, и осоловело глазел на летавшие над столом карты, на переходившие из рук в руки деньги и угрюмо почесывал под столом спину белой, не отстававшей от него, привязавшейся к нему на берегу, сученки. Бывало, что играли в кубрике до утра под привычное покачивание парохода и до белого утра в кубрике было сизо и мутно,—свежо и дерзко врывался поутру в раскрывавшуюся дверь морской пахучий ветер. Те, у кого совсем не было денег, понуро смотрели на игравших и ложились рано, стараясь заснуть поскорее, чтобы не слышать, как звенят по столу деньги, как жирно скрипит, выигрывая пенсы Бабела.

Сусликов, в тельнике, с голыми руками и шеей, свесив босые длинные ноги, сидел на своей койке и застыло смотрел на игравших. Однажды, не выдержав, он соскочил с койки, обулся на босу ногу и побежал к машинистам занимать на игру денег. Воротившись и все так же смотря застыло, он сел за стол и потребовал карту. Играя, он крепко тер красную свою шею, жевал губами и деньги отчаянно выкидывал на кон. На час ему повезло: перед ним кучкою лежали белые измятые бумажки и грудкою высилось серебро. Потом, как бывает, все пошло прахом: он опять бегал по пароходу занимать деньги, будил сердившегося приятеля машиниста, отчаянно садился к столу, и опять под скрипучий смешок Бабелы, игравшего по копейке, таяли и текли из его рук занятые деньги...

В Александрии Сусликов четыре дня совсем не ходил на берег, был мрачен и трезв, сурово отказывал приглашавшим его в компанию, собиравшимся в город матросам. Четыре дня он был сумрачен и молчалив, работал зло, в работе думая утопить свое горе, а на пятый, вечером, когда в кубрике остались только те, у кого совсем не было денег,—нежданно сорвался с койки, на которой лежал раздетый, и побежал к старшему просить под жалованье денег. Старший, уважавший Сусликова за его талант и смекалку, за его умение на всяком деле быть лучшим, знавший об его константинопольской прорухе, взглянул на него понимающе и хитро и, вынимая из шкатулки деньги, спросил:

— К девочкам на тартуш?

— К девочкам!—откровенно и покорно ответил Сусликов.

— Смотри,—шутя сказал старший, отдавая деньги,—девочки тут кусаются...

На берег Сусликов пошел, прихватив для компании Хитрово. И они долго и мутно пили в каком-то, переполненном крикливыми полуголыми людьми грязном портовом кабаке. Сусликов хмелел туго, угощал тухлою водкою распоясавшегося во всю Хитрово, слушая его нескончаемое вранье, зелеными глазками смотрел на гудевшую, кутившуюся сизым табачным дымом кабацкую шать. Потом они вместе, легонько пошатываясь и разговаривая во все горло, бродили по тартушу и им казалось, что над ним колышутся и падают шипя фонари. В проулке, где было тесно и шумно и, протягивая высохшие черные руки, хрипел и ползал по земле нищий, они остановились у освещенного балагана. Черноусый грек, нагло улыбаясь и показывая под усами золотые коронки, заговорил с ними по-английски. Он развернул на прилавке большой замусоленный альбом, где были грубо нарисованы синей краской пылающие огнем сердца, якоря и корабли с распущенными парусами—образцы татуировки, которою загулявшие моряки, в воспоминание о далеких портах и днях, любят украшать свои волосатые руки и груди. По совету Хитрово, Сусликов выбрал из альбома картинку, изображавшую толстобрюхую голую бабу и грек, намазавши на его мохнатую с синими жилами руку густую краску, электрической трещавшей иглою, пробивавшею кожу, стал переводить рисунок...

Потом они опять где-то пили и Сусликов, потеряв Хитрово, сидел в освещенной тусклой лампочкой, оклеенной отстававшею от стен бумагою, тесной клетушке, занятой широкой кроватью, и на коленях его змеино вертелась толстозадая, голая, черная, как шоколад, негрятянка. Она заглядывала ему в лицо своими темными, с коричневыми белками, глазами, цепко и грубо обнимала и тербила его своими длинными матовыми руками и, ломая английские слова, просила денег. Сусликов близко видел ее приплюснутый нос, черные татуированные щеки и большие темные губы, под которыми зверино открывались желтоватые зубы,—чувствовал масляный и терпкий запах ее черной и матовой кожи.

На тартуше его повстречали свои. Они валились гурьбою, серединою улицы, шумя и горланя, и головою над всеми был кочегар Митя. Завидев Сусликова, он остановился, заорал благим матом и Сусликов долго ходил за гурьбою, потом, отстав незаметно, неведомо куда один побрел узкою улицей. Тотчас к нему прилипли, стали напирать плечами два курчавоголовые оборванных человека. Сусликов оттолкнул одного, а другой, ту же минуту ударив его в переносье, вырвал из куртки карман... Сусликов долго стоял, промаргиваясь и протирая заслезившиеся от удара глаза и округ собирались темнолицые длинноногие люди, сожалеюще цокали языками... Тот вечер

Сусликов пришел на пароход поздно: он один брел пустынными припортовыми улицами, слушал, как пустынно и гулко звучат шаги, смотрел на мертвые, запертые ворота складов и ему было непривычно тяжело и тоскливо.

Хитрово и Митя

Самый приметный на пароходе человек был — бывший борец, гроза и буря припортовых кабаков и притонов — кочегар Митя. Хорошо помнили Митю одесские спуски и карантин, где он вывертывал руки непокорным, знали и в галатском тартуше, у Лейзера и Абрамки, и во многих портах, куда заходили русские пароходы. А крепко помнили Митю стамбульские и галатские греки — «пиндосы», менялы и торгаши, которых он на великую потеху голозадой «братве», неведомо за что из всех сил ненавидевшей греков (быть может, причиною этой ненависти была близкая память о бегстве из Херсона и Одессы многотысячной, снаряженной вьючными ослами и походными тарелками, одетой с иголки, греческой армии), — не раз мял и трепал в тесных галатских проулках, где всякое утро полиция подбирала неудачных участников ночных побоищ и драк. И, как быть должно, — врагов у Мити было больше, чем друзей, — перед ним заходили и лебезили, крепко веруя в его кулаки, а в спину кричали задорно: «Подожди, подожди, нарвешься!..».

Однажды Митя нарвался. В Константинополе, в кабачке, он наскокил на белобрых, румяных по-девичьи американцев, пивших уиски и плясавших с накрашенными девицами вальс. Митя — особенно в тот вечер задорный — задирали их долго и настырно, пока, выведенные из терпения, они отпустили своих дам, расплатились и, поставив к столу стулья, попросили Митю наружу. И в переулке, на воле, они доказали Мите все преимущества бокса перед российской медвежьей хваткой. На Митино побоище и позор, жуя серу и ловко надувая лопавшиеся на губах пузыри, с порогов освещенных кабачков равнодушно смотрели женщины в коротких юбках и похотывали сидевшие задами на тросточках носастые митины враги — греки... На долгое время на митиной славе осталось пятно и радовались его позору явные и тайные многочисленные его враги. Мите урок не прошел даром: с того злополучного разу он осторожнее стал задирали иностранцев и, в отместку, злее и беспощаднее стал со своими, наполнявшими в тот год галатские подворотни, и все чаще за его спиной махались сжатые кулаки и сыпались нелестные пожелания.

Росту Митя был огромного, рыхлый, с толстыми губами и маленьким, в пятак, лобиком, под которым дерзко и насмешливо глядели белесые глазки. На широких и толстых плечах его, раздиравших синюю кочегарскую куртку, конусом поднималась толстая шея и толкачем стояла небольшая, стриженная под корешок головка, темная от угольной пыли. Ходил он упрямо, быком, по-борцовски и растопырку

нося локти и задорно расталкивая встречных, и, на него глядя,—на его дерзкие белясье глазки, синюю от угля шею, на его голую, белевшую под сеткою грудь, каждый спешил отступить в сторону и стереться. До поступления на пароход Митя долго подвизался на Галате, куда в тот год, неведомо какими путями, подалась вся карантинная и кабацкая Одесса-мама и, не ведая себе поперечника, в ежовом кулаке держал сидевшую «на злом декохте», трепетавшую его портовую шать и голь. И, как многие сильные физически и уверенные в себе люди, на язык он был неожиданно насмешлив и зол и горько приходилось тому, кто попадал на его зубок.

На пароходе доставалось от него Придворову и Хитрово, двум матросам, вместе с ним обогревавшим галатские подворотни, хорошо знавшим о его позоре и в одно время с ним поступившим на пароход.

Хитрово Митя донимал дворянским и штурманским званием, его слабостью к воспоминаниями о минувших золотых денечках. Это бывало так: сидит Хитрово на юте, под шляпкою, курит, благодушествует, «травит» матросам о своих похождениях и сердечных победах и вдруг над трапом с палубы показывается митина упрямая голова и митины широкие плечи. Хитрово замолкает, жметя в тень шлюпки, всячески стараясь, чтобы не увидел его Митя. А Митя непременно замечает его, подходит, садится рядом на пахнущую смолою бухту, обнимает Хитрово своею тяжкою лапищей и, огромный, в расстегнутой куртке, с черными от угля ноздрями, с подведенными угольной пылью глазами, одесским викающим говорком говорит ласково и притворно:

— Капитан, друг-товарищ, одолжи папироску.

— Да ты ж не куришь!—морщась и отодвигаясь, плаксиво говорит Хитрово.

— Папиросочку!—подмигивая и налегая на Хитрово, продолжает приставать Митя.

— Отстань, чорт!

— Ах ты, курва, стерва!—ревет вдруг Митя, на смех матросам прижимая к палубе Хитрово, как малую липку.— А помнишь, как я тебе давал, ты молчал!..

И, получивши папиросу, неумело держа ее в своих толстых пальцах, горой стоя над маленьким Хитрово, он сверху продолжает реветь:

— Капита-ан!.. Штурма-ан!.. На одесских бульварах плавал, на скамейку к чудачкам швартовался, у утоплого грека в портках зашелся!. Я за тебе двух копеек не дам!..

А Хитрово жалобно и покорно, как под кустом заяц, смотрел и моргал на махавшие над его головою митины страшные руки.

А бывало и так: докурив папиросу, добрел, замолкал Митя, смотрел на вечернее дышавшее тихою зыбью море и мирно и неподдельно говорил сидевшему с ним веселевшему Хитрово:

— А ну, Хитрой, давай петь. Пой!

И, помолчавши, забывши недавнее, они делали строгие лица и, братски обнявшись, ладно и чисто запевали таявшую над вечерним морем морскую, страдательную:

Казав мини батько:
В море не ходи,
Сиди, сыну, дома,
Хозяйство гляди...

— Хозяйство гляди-и!...—тенорком выводил Хитрово и с его голоса подхватывал Митя тонким и жалобным, неидушим к его огромному росту и толщине, голосом и, раскатившись на последнем куплете, закатывая глаза, переводил на плашкетскую, бойкую:

Р-рассыпаются лимоны,
Да по чистому полю...
Собирайтесь, блатные,
Будем делить д-долю...
Три косых на д-долю...

Митя очень любил пение. Напевал он всегда—на ходу, лежа на койке, на работе у топки, где гудел в вентиляторах ветер, а ревевшее в топках пламя багрово освещало его большое, мокрое от пота, с выпуклыми округлостями груди, голое до пояса тело,—пел даже, когда болели зубы (как многие сильные люди, он плохо переносил боль и с зубами ходил смешной и скисший)...

Доставалось от Мити и Придворову. Это был большой, нескладный, неказистый лицом, недалекий парень из керчинских рыбалок. Плавал он прежде на рыбацких парусных судах, умел шить и чинить парусину и на пароход поступил впервые: взял его старший по рекомендации приятеля-капитана, которого Придворов когда-то спас в море от смерти. В этом большом, неуклюжем, говорившем тяжкими бедными словами человеку было две смешных слабости: он до смерти, до медвежьей болезни боялся лазить на мачту и во всяком порту искал и никак не мог найти себе подружку. Сердечная жажда так разжигала его, что, должно быть от этого, он вскакивал по ночам, скрежетал зубами и выделял такие смешные штуки, что в кубрике покатывались с хохоту;—в городах он один бегал по улицам, часами мокнул под дождем в ожидании встречи, и над ним смеялись, писали ему любовные подложные письма, а он верил всему и матросы для потехи ходили смотреть, как он часами стоял где-нибудь на углу, спиной подпирая стену... А еще смешнее казался матросам его смертельный страх перед работой, когда требовалось забираться на мачту, откуда палуба и пароход казались игрушечными. В этих случаях Придворов прикидывался больным, не выходя из кубрика, катался по койке, жаловался на живот, стонал и плакал. В такие-то разы и донимал его Митя.

Митя приходил в кубрик с самым сочувствующим и соболезнующим видом, садился на край койки, брал ручищу Придворова, шупал

голову и пульс и, высказывая всяческое внимание, говорил ласково и нежно:

— Заболел, друг Ванюша?

Придворов, сбитый с толку митиным ласковым обхождением, отвечал тонко и жалобно:

— У мене в середке трусится...

— Покажи язык!—докторски-строго приказывал Митя.

Придворов (в кубрике, в насмешку над его нескладностью, кликали его «Кевелем») смотрел на сидевшего над ним Митю и недоверчиво улыбался.

— Язык, стерва, покажи!—ревел Митя. И когда Придворов вываливал перед ним свой большой сизый язык, Митя орал еще страшнее:

— В середке трусится? Нажралась на чужбинку!.. Ах, ты, чорт, Кевель,—тебе руки насоли, ты чорта удержишь!..

Умел Митя зло произдеваться и над его любовными неудачами и, случалось, выведенный из всякого терпения митиными жестокими шутками, Придворов грозно вскакивал с койки, хватался за нож, грозя убить Митю и, обливаясь слезами, на потеху всему кубрику, выворачивал такие страшные керченские рыбацкие ругательства, что в кубрике, казалось, трескались бимсы...

Смеялись в кубрике и над Хитрово, с первых же дней добровольно взявшем на себя роль пароходного шута. В кубрике знали о нем, что в кой-то веки учился он в мореходке, имел диплом лоцмана, в войну командовал в порту паровым катером, спился и долгое время пропадал на галатском тартуше, скитаясь по подворотням.

В жизни своей, как полагается настоящему моряку, Хитрово выдывал виды. На море он убежал еще от отца-матери сопливым мальчишкой (его выгнали из гимназии за тихие успехи и громкое поведение), долго скитался по одесским бульварам и спускам вместе с такими же, как он, легкими хлопцами, ожидавшими у моря своего счастья, всякий день, в поисках «вакансий», обивавшими сходни приходивших из чудесных стран, пахнувших морскими ветрами пароходов. Он часами, с великою завистью, вглядывался с берега в кипевшую на этих пароходах жизнь, засматривал в загорелые лица стоявших у сходней матросов, перекликавшихся короткими горловыми словами,—с жадностью вслушивался в шумную портовую жизнь, в разговоре с приятелями сыпал морскими словечками: «майна», «вира», «полундра», ходил по-морски в развалку и с великим обожанием провожал глазами загулявших, возвращавшихся с берега матросов и кочегаров. Самый запах порта казался ему родным и милым.

Однажды с приятелем-другом они забрались и спрятались в трюм уходившего в Европу большого иностранного парохода. Выползли они на свет только в море, захотевши есть и пить, и англичане-матросы их накормили (это была первая, покорившая сердце Хитрово, «морская» ласка), устроили в кубрике на порожнюю койку. Весь рейс они широкими глазами присматривались к новой для них пароходной

жизни, прислушивались к лающей речи бритых, короткошеих, коренастых людей, куривших вонючие трубки и жевавших табак. В Лондоне, куда пришел пароход, они сошли на берег и их накрыл, затопил, как океан лучинку, поразивший их своею величиной и шумом великий город. В первые дни они чуть не погибли от страха и голода, потом нашли земляка—старого кока и он указал им ночлежку у Вест-Индия-док, где в ночных темных притонах загулявшие матросы, воротившиеся из дальнего рейса, нередко в неделю спускали до последнего пенса зажитое полугодовой адской работой... И в ночлежке они узнали, что нужно перебираться на север Англии, в Гуль, где легче было получить на корабле место. Бог ведает, как выбравшись из Лондона, питаясь чем попало, они в неделю пешком продрали всю Англию и невредимые заявили в Гуль. В Гулле—шумном портовом городке—их залучил еврей-шипмастер, поставлявший на суда дешевые руки, напоил в кабаке спиртом и на другой день они очнулись в открытом море на паруснике, прямым рейсом идущем в Австралию, в Сидней. Шкипер-хозяин показал им бумажку, где они обязывались прослужить у него восемь месяцев и под хмельную руку собственноручно расписались в получении жалованья вперед, за все время. Шкипер так выразительно помотал над их бедовыми головами концом просмоленного линя, что им осталось покориться. Шесть месяцев они мотались по океану, ели плесневелые сухари и гнилую солонину, пили затхлую воду и только на седьмом, на обратном пути, в Копенгагене, им удалось сбежать на берег, где их выручил и отправил на родину российский консул... Это и было первое морское крещение Хитрово, определившее всю его судьбу...

На пароходных сытных харчах, после Константинополя, Хитрово необыкновенно скоро, как петух на бобах, отелся, потолстел и отрастил подбородок (Митя, проходя мимо, никогда не мог удержаться, чтобы, ущипнувши его до синяка, не сказать: «Ух, стерва, отелась на чужбинку!»)... В кубрике он ходил веселый и всякий день рассказывал необыкновенные истории из своей и морской жизни, и в кубрике знали наизусть о его губернаторе-дядьке и бабушке, прожившей сто тринадцать лет,—об американке-любовнице, имевшей три миллиона долларов и обещавшей озолотить Хитрово,—о том, как, спустивши у Дафиновки шлюпку, спрашивали одесские горе-мореходы у мужика, купавшего с берега лошадей: «А скажите нам, дядько, это якого царя земля?»; как задумал один старый капитан жениться на «образованной и благородной» девице и сваха доставила ему на пароход невесту,—как, гуляя с капитаном по судну, невзначай обмолвилась та невеста: «А туточки у вас чего такое?..»

— Что ты сказала? «Туточки»? Боцман, гони ее в шею!—закатываясь мелким смешком, повторял Хитрово слова капитана, разочаровавшегося в невесте.—Что ты сказала? «Туточки»?.. Гони!.. Гони!..

— Спой, Хитрово, «Чайника!»—в шутку просили Хитрово смеявшиеся над ним матросы.

И, всегда готовый на смешное, он делал тупое баранье лицо, набирал воздуху и начинал дичайшую карантинную, которую певала на спусках одесская шпана:

Найшев тебе я босу,
Галодну, бизвалосу,
Долго в порядок приводил..
— Зачим же ты ми-не ча-а-айник причипил-а!..

Последние бессмысленные слова он выкрикивал таким отчаянным фальцетом, что у слушавших его матросов и кочегаров треском трещали уши.

— А ну жарь, жарь, Хитрой!—смеялись они, затыкая уши.

И, краснея с натуги, на потеху матросам, Хитрово выводил куплет за куплетом своего карантинного ужасного «рѳманса»:

Купил тебе ботинки
И шелковы резинки..
— Зачим ты, курррва, чайник при-чи-пи-ила-а-а!..

В А н г л и и

В Англии простояли зиму.

Выгружали пароход грузчики-англичане, в коротеньких пиджачках, в насунутых кепи и вязаных шарфах, закрывавших их голые шеи. Они приходили на пароход со своими концами и блоками, сами поднимали стрелы и прилаживали блоки, открывали трюмы и, не в пример азиатам и африканцам, корзинами ломавшим спины, помогавшим себе руганью и истошным криком,—работа на пароходе пошла с места и так быстро, что механик-«дед» бегал по палубе и сердито тряс бородю, боясь за лебедки.

Грузчики работали, не вынимая из зубов трубок, не сходя с места, молчаливо, и со стороны казалось, что из трюмов сами собой вылетают, легко поднимаются и проплывают над палубой прямо на берег гроздя пузатых, набитых до отказа пыльных мешков, которые не успевал подсчитывать стоявший у люка матрос-трюмный... В обед рабочие отдыхали. Они сидели на сложенных люках, курили, полудневали, играли на скорую руку в «анкер»—в кости, которые тряс в кожаном стакане и опрокидывал на разостланную по палубе клеенку сидевший на корточках, рыжий, с торчавшей на подбородке щетиною, веселый и краснорожий парень. И рабочие, стоя и сидя, прожевывая завтрак, смеясь и гуторя, ставили на разделенную квадратиками клеенку бронзовые круглые пенсы и над ними слышались отрывистые восклицания:

- Анкер!
- Сикс пенс!
- Тен!
- Иес! Ол-райт!..

В обед же к пароходу на велосипеде подкатывал человек в морской форме, прислонял велосипед к вкопанной в землю черной чугунной пушке, снимал с багажника большую, из толстейшей кожи, сумку и, нахрамывая, поскрипывая кожаной искусственной ногою, на свистывая песенку, не обращая ни на кого внимания, бойко поднимался на палубу. Он ловко и быстро, смешно откидывая ногу, на одних руках спускался на самое дно трюма, собирал и связывал проволочные ловушки, в которых сновали и бились, высовывая голые хвосты, большие пароходные крысы. Он поднимал ловушки наверх, связывал в одну связку и вместе с метавшимися крысами опускал на веревке за борт, в море. Куря и насвистывая, он спокойно дожидался, пока задыхались в воде крысы, поднимал ловушки и, не выпуская трубки, доставал лежавших мокрыми комочками дохлых крыс и складывал в сумку. Сделав свое, он спокойно и важно, с наполненной сумкой, с видом самого знатного лорда, спускался с парохода...

И каждый вечер матросы и кочегары ходили на берег. За долгую зиму им основательно примелькался большой шумный город, присмотрелись люди, пригляделись чужие особенные порядки.

Матросы бродили по «румам», пили пиво и уиски, научились находить на полочках среди множества чужих свои недопитые «пайнты», привыкли подчиняться свистку, возвещавшему раннее закрытие «румов». Вечерами матросы гуляли по большой улице, где двигалась—Окою плыла толпа, встречались и сходились с женщинами, уводившими их таинственно и скрытно в свои квартиры, угощавшими их по-семейному кофеем, укладываящими в холодные, широченные, как дорога, постели и прятавшими, как прячут женщины во всем мире,—деньги в чулок... Случалось, кто-нибудь забредал в кино, где было темно и уютно и в начале и конце на экране показывали короля с бородой и усами и оркестр играл гимн, а в сеансах, под музыку и шелестящий треск аппарата, без стеснения целовались влюбленные пары...

За зиму матросам крепко запомнился этот город: широкие, освещенные ярко улицы; веселый и голосистый, битком наполнявший увеселительные площадки, молодняк; тысячные толпы народа, идущего по воскресеньям за город на футбол; бедовые девушки-подростки, смело просившие у матросов на шоколад и исчезающие в ту минуту, стоило нескромно протянуть до них руку... Запомнился плывущий медленно и торжественно над городом и доками звон колоколов; тусклое, дождливое зимнее небо и морской, гремевший крышами, ветер; многолюдные собрания в садах и скверах, где над человеческими головами, как птицы в бурю, взлетали и падали разбиваемые ветром слова; медные трубы проходившей всякое воскресенье «Армии Спасения» и барабанная дробь стройных бойскаутских отрядов. Богатейшие витрины переполненных магазинов; битком набитые склады; новенькие, громыхавшие по улицам города грузовые автомобили; лакированные кэбы; розовое, с белыми прожилками, мясо на выдраенных липовых досках; слоноподобные мохноногие лошади, таскавшие сто-

пудовые гроыхающие платформы; дымившие в сизое небо бесчисленные трубы фабрик; приходившие и уходившие ежедневно пароходы и тралеры, привозившие из моря тысячи пудов рыбы; вечерние лавочки, где в котлах с кипящим маслом жарилась рыба и стояли у дверей длинные очереди; четко запомнился старик-нищий в общественном писсуаре, где проходили, останавливались и уходили люди, журчала в раковинах вода, пахло озоном и все покрякивал и покрякивал стоявший у белых дверей старый нищий: «Матчис! Матчис! Спички! Спички! Купите, добрые джентльмены, спички!..».

Запомнилась матросам забастовка горнорабочих: ее первые дни,— пикеты забастовщиков, с утра сходящихся на городской площади, куривших короткие трубки и носивших плакаты с черными надписями; митинги в скверах; долгополые ораторы, выкрикивавшие с подножий мокрых от тумана и дождя памятников круглые, оловянные слова; море человеческих круглых голов; каменная, недвижимая молчаливость слушавшей ораторов толпы; необычайный вид города; проходившие улицами колонны безработных и бежавшие обочь, встряхивавшие кружками, сборщики пожертвований; рослые полисмены в черных, с иголки, мундирах, с лакированными ремешками касок на гладких подбородках, спокойно и неколебимо созерцавшие проходившие толпы... На пароход в те дни повадился с берега человек,—Сесин, русский,—худой, ссохлый, с синими руками, с желтым болезненным лицом. Не раздеваясь, он усаживался в кубрике и вынимал из кармана газету. Слушая его, матросы ели и пили, готовились на брег, брились и завязывали перед зеркальцем галстуки.

Однажды зашел в матросский кубрик худой, как жердь, и рыжий, как подосиновик, ирландец-безработный. Улыбаясь веснущатым костлявым лицом и жалко скаля длинные копылястые зубы, он поздоровался кратко и жадными глазами стал смотреть на обедавших за длинным столом матросов. В его глазах, в том, как он конфузливо и неловко прятал в рукава свои большие, покрытые веснушками руки, было такое выражение потерянности и несчастья, что матросы, отобедав и не спрашивая, усадили его за стол, а дневальный Миша поставил перед ним бачек с едою. Все так же жалобно улыбаясь, снявши с обстриженной головы кепку, он принялся голодно хлебать борщ. Сусликову, разговаривавшему с ним по-английски, сидевшему на своей койке, повеселевший после еды, он рассказал о себе, что он—безработный, что их таких ходит много, что богаче и сытее всех живут американские моряки и от них им перепадает часто, что им, ирландцам, труднее получить работу.

На другой день он привел за собою товарища, такого же рыжего и стриженного хлопца, с шарфом на голой шее и заросшим щетиною подбородком. Он улыбался матросам приветливо и знакомо,— и опять их усадили за стол и они ели жадно, а наевшись, по своему почину взялись помогать Мише выметать кубрик и убирать стол. Так весь месяц ходили они на пароход кормиться и на пароходе к ним

привыкли, как к своим, и всякий день отводил с ними душу загоревший о покинутой хлебной и привольной жизни Сусликов.

Рождество матросы встречали по-английски. Всю неделю перед праздниками в городе шумел веселый базар. Матросы ходили в город бродить среди высоченных—в добрую копну—шафранных и пахучих груд яблоков, апельсинов, конфет, гроздьев бананов, кокосовых мохнатых орехов, фиников и всяческих затейливых цукатов, где румянолицые, желтоволосые, белорукие девушки-продавщицы, говоря с ними ласково и кругло, улыбались знакомо и делали глазки.

И матросы покупали и складывали в широкие не рвущиеся бумажные мешки пахучие апельсины и орехи, скалозубили с продавщицами, весело и шумно мешались с растекавшейся по базару, гудевшей голосами толпой. Под открытым небом, обочь, так же гудела и растекалась толпа, несло сладким дымком от жарившихся в жаровнях каштанов, хлопали в тирах ружья, смеялась и ходуном двигалась бойкая молодежь. В углу, над площадкою, на высоком досчатом помосте, переступая стоптанными каблуками, дыхая спиртом, с манерою сладкоречивых церковных ораторов говорил над толпою чумазый дядька со сбитым на сторону галстуком и густой, летавшей по ветру, смоляной гривой. Театрально размахивая руками, страшно выкатывая хмельные глаза, он расхваливал перед слушавшей его толпою чудодейственную силу стоявшей перед ним в бутылках, похожей на деготь жидкости, старцам возвращавшей молодость и мужскую крепость, женщинам—угасшую привлекательность и жар сердца. Слушавшая его толпа громко и одобрительно хохотала над его солеными шутками, отворачивались и притворно конфузились дамы. Не замолкая ни на минуту, с наговоренною пеною в уголках губ, он протягивал над головами дрожавшие руки, принимал и считал деньги, выдавал через головы покупателям завернутые в бумагу флаконы.

До Рождества жизнь на пароходе шла-налаживалась своим новым, туго принимавшимся береговым чередом. Так же, как в море, в кубрик по утрам приходил боцман (по утрам по-зимнему было темно и в кубрике с утра желто и неуютно горел огонь), будил матросов и матросы поднимались неохотно, мылись и завтракали, не спеша выходили на работу,—на мокрую от тумана и скользкую палубу, где им в лицо дымно и сыро дышал просыпавшийся город. И работа была не морская, нудная: молотками отбивали с палубы и бортов рыжую ржавчину, мыли и красили мачты, чистили глубокие трюмы, где было трудно дышать от поднимавшейся пыли. И чем дольше, дожидаясь фрахта и окончания береговой забастовки, недвижно стоял в порту пароход,—скучнее и надоеднее казалось матросам вынужденное береговое житье, чаще и чаще случались на пароходе громкие перебранки.

За долгое время город и док окончательно пригляделись матросам. В доке неподвижно и мертво стояли порожние пароходы, мертво и пустынно было на доковых угольных складах. Изредка приходили из моря американцы,—шумели на берегу американские матросы и ко-

чегары, самые буйные из всех моряков мира; проплывали блиставшие чистотой и окраской беструбые норвежские теплоходы; приходили и неслышно уходили скромные после войны немцы.

И давным-давно пригляделась большая улица, где всякий вечер гуляли матросы, примелькались знакомые женские лица, наскучили полицейские в касках, стоявшие у ворот дока и всякую субботу— день полочки—встречавшие матросов отданием чести и протягиванием рук за обычными чаевыми.

За долгую зиму матросам стоянка осточертела, как серому волку клетка, и давно всех тянуло на море. Горевал и рассказывал о своей привольной жизни в Гонолулу ссохшийся Сусликов, ходил лечиться на берег от своей болезни и за троих жрал Бабела, бегал по всему городу, держась за живот и на смех кубрику все не находил подружки, «Кевель»—Придворов,—всякий вечер проадал где-то и пьяненький приходил на пароход «травить» об угощавших его американцах вконец спившийся Хитрово... И все отчаяннее и гуще пили матросы и кочегары, все слышнее и слышнее случались на пароходе ссоры и злее схватывались в кочегарском кубрике кочегары-японцы, носившие при себе большие ножи. И все крепче и лишее тужили на корабле о далекой в тот год и манившей России.

И почти у всех давно завелась на берегу любовь: опять бегал куда-то на край города Сусликов и, воротясь, всякий раз играл песни; каждый день приносил Македонский пахнувшие духами шелковые цветные платочки; не раз видели на углу в большом баре Хитрово с белобрысой, огромной, похожей на тюленя, бабой, по-тюленьему хлеставшей уиски; влюбился и сохнул по маленькой Нелли из «Звездочки» нервный и влюбчивый Медоволкин.

На самое Рождество на пароходе появилась женщина. Она долго сидела в кают-компании и вахтенные от скуки наблюдали в приоткрытый, дышавший теплом и запахом ужина, люк, как хлопочут около нее капитан и помощники, наивно щеголяя изысканностью манер, как смеется она и пьет из высокой рюмки, оттопыривая розовый с отточенным ноготком палец, и мертво и хищно скалит зубы. Вечером, в сопровождении третьего помощника, напомаженного черноголового латыша, она пришла в кубрик. Матросы—в тельниках, с голыми руками и шеями,—сидели и ужинали за столом. Она посмотрела на них блестящими черными глазами, вздохнула, высоко подняв обтянутую платьем грудь, и, закатывая глаза, сказала по-русски слащаво и притворно:

— Ах, как у вас хорошо! Как бы я хотела быть с вами, быть вам родной матерью (говоря это, она опять взглянула быстро и закатила глаза под лоб).— Как бы хотела стирать ваше белье, помогать вам...

За нею, блистая нашивками и напомаженной головой, стоял третий и масляно улыбался. От женщины в кубрике пахло вином и духами и еще чем-то очень родным и далеким. И то, что по-русски ска-

зала женщина слово мать, задело в матросских доверчивых душах самые сокрытые струны.

Играя золотой тонкой цепкой, перебирая на груди розовыми ноготками и лукаво закатывая глаза, она, не смущаясь, чувствуя свое обаяние, говорила и говорила слушавшим ее, конфузившимся за свои голые руки и шеи матросам,—о том, что она—любящая русская женщина-мать, что муж ее—финский дипломат—уезжает в Россию спасать погибающих от голода русских детей, что голод в России великий, что пришла она на пароход собирать пожертвования на помощь несчастным, что уж пожертвовал капитан десять фунтов... И то ли, что необыкновенно было появление женщины в кубрике, что называла она себя матерью и говорила о России, — матросы, конфузясь за свое рваное платье, доверчиво полезли на свои койки доставать из-под подушек сбереженные пенсы и шиллинги.

Все так же улыбаясь, дыша обтянутой грудью, маленьким карандашиком она записала на листе имена жертвовавших матросов и опустила в сумочку деньги. И на прощанье еще притворнее прозвучал ее голос:

— Прощайте, милые матросики, я очень рада, что узнала ваши добрые простые сердца...

— Ну и баба...—сказал кто-то ошеломленно, встряхиваясь, когда она вышла, оставив в кубрике запах духов и чего-то такого, от чего по непривычке хотелось чихнуть. Матросы сидели смущенные и, посмеиваясь над ними, чихая, говорил Хитрово, не пожертвовавший ни единого пенса:

— А свистнули ваши денежки, хлопцы, это уж как пить дать...

И сказанное Хитрово—сбылось. Через неделю на пароходе знали, что бабенка была—ждох, что недаром заговаривала она зубы, что плакали капитанские и матросские денежки... И, лежа на койке, радуясь своей догадке, пользуясь случаем, опять «травил» Хитрово о бабушке, научившей его с единого взгляду безошибочно узнавать людей.

Любовь Медоволкина

Женщины были главное, о чем думали, вспоминали, на чем, как на сером клубке нитки, сходились и скрещивались в кубрике разговоры. И чем дальше и безнадежнее стоял у чужого туманного берега пароход,—живее вспоминалась матросам Россия, семья и русские женщины, и всё чаще бывало, что после самого соленого разговора, заглядывая на огонь какой-нибудь хлопца и неожиданно молвит:

— Теперь самое время по деревням свадьбы играть... Мужики с колокольчиками ездют, женишки невест выбирают... Сваты сидят с бородами... На девишниках девки сидят округ стола, песни играют... А у мене в деревне сестренка осталась...

— Невеста?

— Невеста, красавица... Такая плясунья, хороводница, бывало, всех девок-баб перевероршит, ребят наизнанку повывернет. А у нас деревня бедовая, бабы-девки ядреные, в полсапожках... ребяташки все при калошах... улица бойкая...

И лежат хлопцы по койкам, а каждому перед глазами близко: широкая эта улица, бабы, поскрипывая морозцем, идут за водою, табунятся у водопоя застоявшиеся косматые лошаденки, валят от речки гурьбою девки, а попереди всех, а покраше всех, а поголосистей всех — белозубая девка-певунья, щеки, как ягода. И так близко да живо, — не выдержит иной хлопец, повернется на бок и крякнет:

— Хорошо бы, братишки, в Россию...

— Везде хорошо, где нас нет.

— Отгуляли в России свадебки! — зло скажет, бывало, Бабела со своей койки. — Теперя там одни поминочки правят...

Тоска по России, по женской ласке, по простой тихой жизни одолевала на пароходе почти поголовно всех и, может, потому всю зиму матросы ходили точно шальные и даже Придворов-«Кевель» рассказывал по утрам свои удивительные сны: снилось Придворову то ходит он зелеными лугами, собирает цветы, то треплет его, несет по дороге вороной страшный конь, то белая девушка дарит ему на руку свое золотое колечко... И чем дольше стоял пароход — тошнее тосковали по России матросы, все крепче влюблялся в рыжую Нелли, хронил себя, Медоволкин.

В «Звездочку» — дорогу туда проторил Македонский — стали ходить после праздников. Это был обычный, похожий на все другие, угловой «рум», разделенный на три отделения, где по вечерам собирались с приходивших в док кораблей обветренные матросы и доковые рабочие в пиджачках, с неизменными трубками в обкуренных зубах. Над входом в бар, отражаясь в мокрых ступеньках, горела памятная матросам пятиконечная электрическая звезда (по этой звезде и окликали матросы бар «Звездочкой», а в кубрике так и говорилось: «Смотаемся в а шу «Звездочку»). В баре за прилавком, залитым пивом, заставленным опрокинутыми высокими стаканами, быстро вертелся чернявый косою человек, со вздрагивавшей левою бровью и плавала-колыхалась грузная женщина, с медно-рыжими волосами, с мелкими крапинками на круглых толстых руках. Мелькая белыми локтями, она ловко накачивала в стаканы черный, как деготь, «стаут» и рыжий «эль», смахивала пену и принимала в мокрую ладонь белые шиллинги и темные пенсы. В баре было мутно, тепло, пахло джином, опилками, покрывавшими пол, — и посетители-рабочие чинно сидели на скамьях у стен, поставив под сиденья и на полки недопитые стаканы, курили, разговаривали, читали газеты. В углу на своем обычном месте заседал розовый старичек со складным стулом в руках — букмекер, принимавший от посетителей ставки, и рабочие подходили к нему, записывали пенсы и шиллинги на дравшихся где-нибудь в Лон-

доне известных боксеров, на скачущих лошадях, и всякий час в бар забегал мальчик, приносил свежие бюллетени, извещавшие о результатах скачек и схваток, и старичек тут же выплачивал выигрыши, которых счастливым хватало на лишнюю кружку...

Матросы привычно, с уверенностью завсегдатаев, проходили в заднюю комнату, где стояли маленькие, покрытые стеклом, зеленые столики, и уютно светились под потолком розовые фонари. В заднюю «чистую», где пиво стоило дороже на один пенс, гостям подавали хозяйские дочери-сестры. Бойко отстукивая каблучками, раздувая юбки, они разносили пиво и уиски, весело шутили с гостями, присаживались на минутку, чтобы чокнуться с угощавшим их и конфузившимся обветренным гостем, отпить малую толику, сказать круглое слово и опять бежать к стойке, где распоряжалась и взмахивала белыми локтями их рыжеволосая мамаша, похожая на брендмейстера в каске.

Повадились матросы в «Звездочку» ради этих шустрых девиц-сестренек, встречавших их приветливо и домашне, дружески протягивавших маленькие свои руки, улыбающихся ласково и лукаво. В кубрике всякий день подолгу говорилось о «Звездочке», о покоривших матросские сердца четырех бойких сестренках, и само собою стало, что за долгую зиму каждый выбрал по своему сердцу: за полной, меднокудрой, похожей на мать, Люси ухаживали Сусликов и машинист Глотов,—за коротышкой и смехуньей Эдит приударял пользовавшийся полным успехом спокойный и уверенный Македонский (неведомо за что окликал его на пароходе Хитрово «консулом цыганским», и у них частенько происходил такой разговор: «Чорт, консул цыганский, подними ноги!»—скажет, бывало, Хитрово, а Македонский, не двигаясь, отвечает спокойно: «Подожди, придешь за паспортом, будешь ломать шапку!...»),—за самой старшей, высокой и хрупкой Мэри, печально смотревшей большими глазами, безнадежно бегал Придворов,—а крепче всех думал и сохнул о маленькой рыжей Нелли влюбчивый и замкнутый Медоволкин.

Всякий вечер, после ужина, наблюдали матросы, как он готовится на берег—глядится в прибитое над шкапчиком зеркальце, причесывает на висках русые волосы, старательно и долго завязывает галстук. В «Звездочку» он приходил, когда там было еще пустынно, один садился в полутемной задней комнате, спрашивал пива и сидел неподвижно, вытягивая некрасивое и длинное лицо. Время от времени к нему близко подсаживалась Нелли, лукаво и весело заглядывала в лицо своими рыжеватыми глазками, тонкими загибавшимися пальчиками брала рюмку, и Медоволкин влюбленно и конфузливо смотрел на ее руки, на круглые, обозначавшиеся под кофточкой плечи, краснел густо, и неуклюже пробовал заговаривать по-английски заученными из самоучителя словами. Она улыбалась ему своим розовым ротиком, оправляла на ногах платье и, будто невзначай коснувшись его маленькой белой рукою, так любовно и ласково выговаривала обыч-

ное слово: «эскую-юз-ми»¹⁾), что у Медоволкина от обилия чувств закатывалось сердце.

На пароходе Медоволкин был сумрачен и суров. Днем он работал злѡ, ходил с перекошенным, забрызганным краскою лицом, сердито молчал и недружелюбно косился на любопытно поглядывавших на него матросов; ночами метался беспокойно, скрипел зубами и выкрикивал во сне непонятные и тревожные слова. Любовь к «маленькой» накрыла его, как воробья частое сито. Над горячей любовью Медоволкина трунили тишком и боялись говорить вслух, хорошо помня его горячий характер и тяжелую руку. Однажды пьяненький Хитрово, садившийся за стол с ним рядом, неловко заикнулся легким словечком о Нелли и матросы увидели, как мелово побелел Медоволкин, как судорожно задергались его губы, увидели его большую руку, накрывшую желтое личико Хитрово и взметнувшиеся над столом, на великую потеху Бабеле, грязные хитровские ноги...

В феврале всей команде наполовину сбавили жалованье и еще тоскливее и безнадежнее показывалось матросам вынужденное береговое житье. Опять по вечерам в кубрике резались в карты. И опять, как после Константинополя, приходил в кубрик боцман, скалил белые зубы, садился, и на столе сами собою об'являлись карты. И все злее и азартнее шумели в кочегарском кубрике кочегары-японцы, чаще и чаще вспыхивали на пароходе ссоры, медведем ходил по пароходу и всех задирали Митя. И всякий день до бесчувствия накуривались опиумом в своей каютке под баком служившие на пароходе бои-китайцы; сонный и желтый двигался в камбузе за своими кастрюлями старый и тонкоплечий китаец-кок Чжан и от него далеко пахло чем-то сладким и приторным.

За долгую зиму на пароходе произошло немного событий: уехал в Америку, неожиданно поступивший на американский большой пароход, молчаливый и неслышный матрос Ярмак; на великое удивление всему пароходу сел играть в карты долго державшийся Танака, японец, много лет собиравший деньжонки на покупку на родине рыбачьего судна и в одну неделю проигравший все до копейки; увез кровные танакины денежки, уплыл куда-то за море, безусый молокосос Гливинский, обыгравший всех старичков дочиста. И попрежнему бегал в «Звездочку», сохнул, мучился над книжкой, заучивая трудные английские слова, чудак Медоволкин, а в кубрике знали, что задумал он жениться на «маленькой», что всерьез готовится ее сватать и остаться в Англии навсегда, что ради этой своей затеи часами потеет над трудною книжкой...

Зиму на пароходе жила женщина. Привез ее на пароход капитан,—и хоть строжайше запрещалось по английскому точному закону появляться женщине в доках,—на всякую запертую дверь хорошо приходился золотой ключик... Приехала она с капитаном в закрытом

¹⁾ Простите.

автомобиле и матросы, в тот день убиравшие с палубы мусор, видели, как вышла она из автомобиля, как бойко и смело вбежала по трапу, а за нею степенно и важно прошел капитан. На пароходе ее видели ежедневно: днем она сидела в большой штурманской рубке, читала книжку, голубыми глазами поглядывала тишком на проходивших матросов, и в кубрике в шутку окликали ее «капитаншей». От лакеев, разносивших по пароходу всякие вести, знали матросы, что «капитанша» крепко держит под каблучком молодящегося старика-капитана, что всякий день у них громкие разговоры, что во всяком деле уступает и подчиняется шустрой девченке старый седой капитан. И всю зиму с большим любопытством следили за нею матросы и всякий ладил пробежать мимо приотворенной двери рубки, чтобы увидеть, как покачивается ее обутая в желтую туфлю, закинутая на колено ножка, как задорно и весело улыбается ее маленький ротик... Однажды, это было ввечеру, она сама забежала в матросский кубрик. Сусликов—длинный и носастый—электрическим утюгом гладил на столе белье. Матросы, оставшиеся в кубрике, торопливо вскочили со взбитых коек, встретили ее приветливо и знакомо. Смеясь, играя глазами, придержививая накинутое на плечи пальто, она подошла к Сусликову, смело взяла утюг и стала гладить лежавшую на столе матросскую стираную «робу». Матросы толпились округ стола, улыбались, с восхищением смотрели на ловкие ее круглые руки, на завязанные тяжелым узлом светлые ее волосы, на белую, открывавшуюся под кружевным воротником шею...

В марте впервые прокатился слух о подготавливаемой продаже парохода. Через лакеев-китайцев знали в кубрике, что были из правления люди и в кают-кампании шел разговор о продаже,—будто дают купцы за пароход хорошие деньги, и что команде нужно быть готовой к расчету. Второй месяц матросы и кочегары не получали жалованья ни копейки, и все тревожнее и бестолковее ходили на пароходе слухи, все больше робели матросы за свою судьбу. И всю неделю в кубрике говорилось о том же, шумели и волновались, ходили объясняться к самому капитану (и капитан приходил в кубрик успокаивать команду),—и все тошнее, все невыносимее казалось вынужденное сиденье, все неохотнее выходили по утрам на работу, все чаще пьяненький являлся с берега Хитрово и, прося у старшего денег, жаловался на береговых девиц-подростков:

— Шоколад, стервы, жрут,—говорил он, морщась смешно, — на них не напасешься!..

И чем ближе подступала весна и развязка, — живее и тоскливее вспоминали матросы Россию. Чаще и чаще такие слышались в кубрике разговоры:

— Эх, ребятки, до чего осточертело тут сидеть, — говорил кто-нибудь, валяясь на койке и в сердцах бросая недокуренную папироску.—Скинул бы, кажись, сапоги и в Россию, пешком... Тут у них весна не весна: глядеть тошно...

— А ты думаешь: там лучше?—отзывался другой, снизу.—Там, брат, осинки все поглодали. Там, брат, житье соломенное...

— Соломенное не соломенное, а босиком бы убег...

— А я так думаю,—помолчавши, говорил первый:—плохо, плохо людишкам жить стало. Тут тоже не сладко. Этот вот к нам рыжий ходил. А сколько их таковских землю топчут. Беда-то везде одинаковая, в беде людишки все на одну масть...

— Вот нашему Хитрову все нипочем, море по колено, — замечал третий, смеясь.—Хоть кол на головах теши...

Судьба Хитрово

Началось с кота.

Жил-был на пароходе кот Джэк, черный, гладкий, с седыми усами, с розовым мокрым носиком. Днем он прогуливался по палубе, терся у ног стоявшего у трапа вахтенного, черным клубочком лежал на теплых коленях самой «капитанши», — ночами воровски убегал на берег и с парохода слышали его пронзительный, доносившийся с пристани, боевой крик... Доставила кота на пароход «капитанша». Он был подлинный, чистокровный британец и, видно, поэтому со старым котом Васькой, проделавшим с пароходом дальнее плавание, они находились в состоянии жестокой и, повидимому, классовой вражды...

Весна пришла с моря. Шла она по-чужому, с большими ветрами, с лиловыми бегучими облаками, с редким, брызгавшим на застроенную невеселую землю, мартовским солнцем. И матросы нарочно ходили за город в парк, смотреть, как наливаются на деревьях почки,—на бегавших по угреву, топтавших друг дружку, ногастых и долгоухих, ошалевших от весны кроликов, на купавшихся в прудах белых уток. А весна брала свою силу: всё тоскливее поглядывали на стекляннее море матросы, всё горячее гонял по всему городу сгорававший от любовной тоски Придворов, все живее и неотступнее представлялась матросам далекая Россия.

И должно быть потому, что всех крепко проняла весна и долгое береговое сиденье,—каждому по-ребячьи хотелось выкинуть штуку, и однажды матросы, работая под шлюпками на спордеке, изловили мирно гревшегося на припеке над камбузом, капитаншиного черного кота Джэка, и Хитрово—падкий на всякую выдумку—зажавши в колени кота, старательно выкрасил суриком его прекрасный пушистый, вороно-черный хвост... С задранным выкрашенным хвостом, с жалобным криком, вырвавшись из рук хохотавшего Хитрово, Джэк стремглав кинулся искать спасения в капитанскую рубку... прямо на колени самой «капитанши», читавшей в задумчивости книжку.

История с Джэком имела свои последствия. Бог ведает какими путями, стало капитану известно о главном виновнике злой ребячьей проделки (в кубрике давненько искоса поглядывали на толстяка Бабелу, делавшего по вечерам таинственные под спордек рейсы),—

и утром, на другой день, поднимая на работу матросов, стоя посреди кубрика, боцман улыбнулся ехидно и сказал облачавшемуся в рваную «робу», лениво зевавшему Хитрово:

— Можешь, капитан, спать... Приказано на работу тебя не тревожить... Можешь итти гулять...

С того и пошло...

В тот же день, в лоск пьяный, белый, как белёная парусина, вернулся с берега обиженный Хитрово, долго и истощно бил себя кулаками в грудь, вспоминал древнюю свою бабушку, проповедывавшую ему, что «все на свете одним мазаны миром, все дешовки и курвы», что «иной академию окончил, а та же стерва», плакал и кричал, что «прежде всего надо быть человеком», грозил и барабанил о стол кулаком... Вечером, скандаля, он вломился в каюту капитана, спокойно распивавшего с «капитаншею» кофе, бранился и плакал, грозил обидчикам «вырвать горло с печенками», ни с того ни с сего обложил в глаза старшего, сказавшего ему шутливое слово, а утром—проспавшись—ходил по пароходу мрачный, как петух на дожде, раскаивался о вчерашнем, и, забывши о «горле с печенками», бегал просить на коленях у капитана прощенья и будто выгнал его капитан из каюты с большим позором...

В самые те дни повернулась звезда Медоволкина... Никто не знал и не слышал, как и что ответила на его предложение «маленькая» Нелли,—вернулся он в тот день на пароход темнее темной тучи, весь вечер провалился на койке, а на другое утро совсем не выходил на работу. А вечером, на другой день, стряся на пароходе первый большой скандал: встретивши на берегу, на пристани, возвращавшегося из города, одетого по-праздничному боцмана, Медоволкин, ни с того ни с сего, ни слова не говоря, налетел на него быком и, свалив на землю, стал жестоко избивать. Выручили боцмана проходившие моряки-иностранцы и он едва поднялся окровавленный, с разбитым лицом и изорванным в клочья костюмом. С того разу точно прорвалось: день не проходил на пароходе без драки и ссор... Порезались ножами за картами кочегары-японцы, избитого до полусмерти доставили с берега на пароход Митю, страшный и чёрный ходил по пароходу Медоволкин и все искал случая снова схватиться, и даже Придворов, «Кевель», два дня гонялся с ножом за прятавшимся от него, неловко посмеявшимся над его любовными неудачами машинистом.

И в те же дни окончательно разрешилась судьба парохода. Опять откуда-то появились на пароходе нарядно одетые люди и один—бритый, с длинным холодным лицом, с тонкими бледными пальцами, лежавшими на борту дорогого пальто,—собрав на задней палубе матросов, объяснил строго и точно, что, за отсутствием фрахта, правление вынуждено продать пароход в иностранные руки, что команда пока может остаться на уменьшенном жалованьи, за исключением тех, кто позволил себе нарушить необходимую на всякой службе дисциплину... Матросы и кочегары стояли угрюмо и молча, кто-то попробовал заик-

нуться о невыплаченном жалованьи, о том, что команда может не допустить спускать русский флаг. Тогда бритый высокий человек, побледнев еще более и точно выросши на целую четверть, сказал кратко и сильно, что тут не Россия устраивать на пароходах бунты...

Потом матросы узнали, что о бунте говорилось много, что всему причиной выставил капитан несчастного Хитрово. Было слышно, будто нарочно ездил на берег капитан хлопотать, чтобы посадили Хитрово в тюрьму, как злейшего бунтовщика, и будто ответили англичане, весело над ним посмеявшись: «своих дескать много!»—и предложили капитану держать бунтовщиков на своем пароходе или по закону отослать в порт найма—в Константинополь.

Все эти дни пил напропалую, шумел, неведомо где целыми сутками пропадал Хитрово. И в последний раз видели его на берегу окруженным голоногими стрижеными ребятишками-школьниками, — стоя в густой ребячьей толпе, он шибко размахивал руками, путаясь в английских словах, рассказывал ребятишкам о своей бабушке, плакал, и ребята слушали его со строгим вниманием и, кажется, понимали.

Высылали Хитрово с полицией, как опасного бунтовщика. В день его отъезда во-всю играла над пароходом весна, впервые закуковала в загородном парке кукушка, в бирюзовом небе горели-таяли верхушки мачт. С утра на пароходе работали новые люди. Они уверенно, не торопясь, приготовили и подвязали подвеску и один—черный и длиннозубый—спустившись за борт и покачиваясь на подвеске, чернью закрасил русское название парохода. Сделавши это, он набил и закурил трубку, поворошился и, переменив краску, начал ровнеңко выписывать не русское и долгое слово, обозначававшее новое имя.

П р и б о й

ПЕТР ОРЕШИН

Так человечьи чувства вдруг
В неистовстве ломают круг,
В который мы заключены
В часы душевной тишины.

Тогда и синь, и бирюза,
И бель, и темная гроза,
И муть, и яхонт, и опал
Сплетаются в единый вал,

Ревут и рушат и гудят,
За валом вал, за рядом ряд,
Здесь синий, дальше голубой, —
Кидаются в жестокий бой,

Гудят землей, ревут скалой:
— Тяжелый плен земли долой,
Мы все возьмем, мы все зальем,
Наш гнев и наша власть кругом!

Рокочет синь на берегу,
Весь берег в пене, как в снегу,
Земля курчава и темна,
С волной в плечо идет волна, —

Их много, туча, легион,
Ревут, гудят со всех сторон:
— Хлещи, ломай, бросайся, бей,
Топи громады кораблей,

Хватай зубами злых собак
Худую пристань и маяк,
Сноси, безумствуй и крути,
Что нам мешает на пути!

Весь берег мутен, бел и лют,
Валы дробятся и ревут...
А там, вдали, где горизонт
Раскинул свой небесный зонт,

Блестит лучами тишина,
Смеется легкая волна,
И с ней, в просторе синих вод,
Как чайка, парус мой плывет.

И видно мне издалека,
Из-за любого маяка:
Окончен бой, морская гладь
В свой круг заключена опять,

Опять светла морская грудь,
И солнце свой свершает путь,
И значит—мне сказать пора—
Всё в мире—сказка и игра!



В. И. Ленин об искусстве и литературе

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

I

В. И. Ленин очень редко с обстоятельностью высказывался об искусстве и литературе, поэтому правильно изложить его взгляды по этим вопросам не легко. Они находились на периферии его внимания, хотя, как мы увидим, он не оставался равнодушен ни к литературе, ни к искусству. Из огромного литературного наследия В. И. Ленина художественной литературе непосредственно посвящены лишь четыре небольших статьи о Л. Н. Толстом. Косвенно касаются литературы — заметка о Герцене и статья «Партийная организация и партийная литература». Даже отдельные высказывания Ленина об искусстве и литературе в его обширной переписке крайне скудны: так захвачены были его воля и внимание основными проблемами борьбы, что не оставалось ни времени, ни интереса для таких областей, как литература и искусство. В этом нет ничего удивительного, если принять во внимание ту мощь, с какой сосредоточено было внимание Ленина на центральных задачах революции.

* * *

Мы мало знаем Ленина-человека. Грандиозная фигура вождя скрыла, заслонила в нашем сознании его человеческий, интимный лик. Его личная жизнь как бы для нас не существует. Еще никто не дал нам почувствовать Ленина всего — мыслителя, борца, человека. Но некоторые воспоминания, которыми мы располагаем, рисуют его все же как человека, которому ничто человеческое не было чуждо. Любил он посмеяться, петь, и повеселиться. Любил он музыку — так сильно подчинялся волнующему влиянию звуков, что избегал ее. Максим Горький короткими штрихами бросает изумительный свет на облик Ленина. Как-то, слушая в Москве у знакомых Бетховена, в исполнении большого мастера, Ленин сказал:

«Ничего не знаю лучше «аpassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!».

Чудеса! А что сказал бы А. А. Богданов со своей всеобщей организационной точки зрения? Он, не задумываясь, немедленно ответил бы, что с

тектологической точки зрения эта самая «аппассионата» организует психику людей никак не в сторону коллективно трудовой точки зрения, а потому не может быть причислена к подлинной пролетарской культуре.

Ленин пожал бы плечами: «Какой вздор!» — сказал бы он, продолжая слушать страстную музыку виртуоза, которого пролетарским назвать было нельзя ни в каком случае.

«Но, — говорил Горькому Ленин, — часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головкам никого нельзя, руку откусят — и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми»...

Другую удивительную черту сообщает в своих воспоминаниях М. Лядов («Мои встречи с Лениным»). Однажды, — рассказывает Лядов, — в 1904 году в Женеве, в компании с Лениным и Надеждой Константиновной Крупской, он был в театре. Ставили «Даму с камелиями», сентиментальнейшую буржуазную мелодраму. Но играла Сара Бернар — гениальная актриса, которую пролетарской не назовет даже тов. И. Вардин. «Ильич сидел в темном уголку ложи, — рассказывает Лядов, — когда я взглянул на него — он стыдливо утирает слезы».

«Плачущий Ленин» — какое необычайное зрелище! Но из этого зрелища недостаточно заключить, что вот-де, железный человек, стальной боец — он умел быть сентиментальным, мог над вымыслом «слезами обливаться» и т. д. Суть в том, что слезы эти исторгала актриса, т.-е. человек искусства, средствами искусства.

И здесь наш творец тектологии заметил бы глубокомысленно, что Сара Бернар организует психику людей не в сторону коллективно-трудовой точки зрения и т. д. — но и здесь на него махнул бы рукой Ленин: искусство исторгает слезы, искусство потрясает, волнует, вздымает психику — а философ льет тектологическую воду на огонь искусства.

Уже из этих случайных черт, сохранных нам друзьями Ленина, можно было бы сделать кое-какие выводы об отношении Ленина к искусству. Он любил искусство и считал его огромной силой. Один из важных элементов изобразительных искусств он называл словом «красивое». Этот спорный термин старой эстетики ныне помутнел. Мы не вкладываем в него никакого существенного содержания. Но Ленин не задавался целью с полной точностью отшлифовать свое отношение к искусству. Он взял «ходовое» слово, попавшее под руку, и заметил как-то: «Мы чересчур большие «ниспровергатели в живописи». Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него, даже если оно «старое». Почему нам нужно отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта, для дальнейшего развития, только на том основании, что оно «старо»?»

Тоже замечание чрезвычайной важности. По мнению Ленина, старое искусство, хотя и «старо», но имеет в себе элементы, которые заставляют нас его беречь, им дорожить, ставить его исходным пунктом для

дальнейшего развития. Вот когда мы делаем такие выводы из этих замечаний, мы видим, что за ними, за этими случайными словами, брошенными вскользь, скрывалась система воззрений Ленина на искусство, существовавшая в его сознании, хотя сам он никогда не задумывался над тем, чтобы придать ей стройный и логический порядок.

Признавая за искусством огромную силу, Ленин считал, что оно должно быть искусством не для немногих, а искусством для всех. Наслаждение, которое искусство доставляло ему, лишний раз убеждало его в необходимости борьбы: наслаждение, пережитое им лично, надб сделать доступным всему человечеству, лишенному этих высоких переживаний. Числится ли такой именно революционный вывод в схеме эстетических переживаний А. А. Богданова? Нет, не числится. А между тем в психологии подлинных революционеров эстетические и аналогичные переживания как раз подогревали чувство борьбы, протеста, революционной решимости. Наш схематик с точки зрения «всеобщей организационной науки» уверяет, будто буржуазное искусство организует психику с индивидуалистической, т.-е. антипролетарской точки зрения в сторону, противную интересам и целям пролетариата. А подлинные революционеры, соприкасаясь с подлинным и высоким искусством, на практике испытывали как раз обратное: искусство организовывало их психику именно в сторону целей и задач пролетариата. Получается картина, обратная той, которую рисовал нам А. А. Богданов. Ясно — почему: он забывал о воспринимающей среде. Он знал, что в искусстве можно наблюдать отражения классовой психологии. Но он забывал, что среда, воспринимающая это искусство, также ведь является классовой средой и восприятие ее, следовательно, может играть свою критическую роль. Богдановская эстетика, с точки зрения марксизма, плоха недоучетом классowego характера воспринимающей среды: это обстоятельство просто не замечено А. А. Богдановым, как не замечено и его невольными продолжателями — напостовцами. А ведь с точки зрения материалистической эстетики, которая строится на базе: «бытие определяет сознание»,—важно не только то, что хочет дать деятель искусства, но еще и то, что берет из искусства созерцатель. Не только в творчестве отражается классовая психология, но и в созерцании художественных произведений. Оттого-то выводы, которые делал Ленин при созерцании произведений искусства, были революционными. А выводы, которые сделал бы при созерцании тех же произведений какой-нибудь буржуазный сноб — были бы противоположными. В одно и то же понятие «красивое» — буржуазный сноб и пролетарский революционер вложат разный смысл. Представители разных классов одни и те же произведения искусства будут воспринимать по-разному. Разные классы — разные вкусы. А разные вкусы — значит и разные реакции на одни и те же формы. Другими словами — в социологическом изучении искусства значение получает, наряду с изучаемым произведением, еще и воспринимающая среда. Иначе ведь тезис о «бытии», которое определяет сознание — рухнет. А он неизменно рухнет, когда, говоря о классовом искусстве, забывают классовость среды, на которую искусство действует.

Богдановщина — теория идеалистическая, а не материалистическая — так именно и поступает. Говоря о способности искусства «организовывать психику» зрителей, слушателей и читателей, эта теория игнорирует классовую сопротивляемость зрителя, слушателя, читателя, не замечает классового характера их восприятий. В итоге — богдановская теория создает допущение, при котором искусство оказывается способным изменять сознание человека вопреки его классовому бытию. Организовать сознание класса в сторону противоположную его интересам — это ведь и значит перевернуть вверх ногами тезис: бытие определяет сознание. Другими словами: богдановский тезис о том, что искусство организует сознание вообще в том именно направлении, в каком желал художник — базируется на анти-марксистском, анти-материалистическом положении: «сознание определяется сознанием».

II

«Искусство принадлежит народу, — говорил Ленин. — Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понято этими массами и любимо ими. Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их». Таковы роль и задачи искусства. Такова категория «должного». Но Ленин, великий провидец того, что есть, великий реалист, категорию «должного» немедленно сопоставлял с категорией «сущего». Эта способность Ленина созерцать одновременно вещи с точки зрения обеих категорий, не поддаваться влиянию одной категории, забывая другую — эта черта и была поистине гениальной. Ведь в этой способности охватывать предмет или положение сразу со всех сторон, темных и светлых, положительных и отрицательных, идеальных и реальных — и заключалась несравненная сила Ленина и как мыслителя, и как стратега, вождя, полководца. От слов о «должном» Ленин обращается к «сущему».

«Для того, чтобы искусство могло приблизиться к народу и народ к искусству, мы должны сначала поднять общий образовательный и культурный уровень». Проблема искусства оказывается проблемой поднятия общего уровня масс. На первый взгляд это может показаться мыслью, ничего особенного не представляющей. А между тем именно в этой мысли, как растение в зерне, заключено отношение Ленина к пролетарской культуре, к вопросам искусства и т. п. Проблемы искусства — есть проблемы образования. Это значит — если вы хотите двинуть искусство вперед, — обучайтесь и обучайте грамоте. Вы хотите, чтобы искусство сделалось всенародным, — подымайте элементарные знания. Вы хотите осчастливить человечество гениальными произведениями искусства — поймите, пока человечество в подавляющем своем большинстве неграмотно, вшиво, живет чорт знает в каких условиях, не умеет причесать волос, не стрижет ногтей, спит на полу, и не имеет средств изменить свой быт, — до той поры ваши гениальные произведения будут произведениями для немногих, для меньшинства, для кучки, другими словами ваше искусство не будет выполнять и миллионной доли сво-

его назначения. Это не значит, разумеется, что надо бросить заниматься искусством. Это значит только, что не надо заниматься болтовней об искусстве, об его демократизации и о построении культуры вместо того, чтобы на деле подымать эту культуру, т.-е. обучать счету и письму, ремеслам, знаниям, поднимать элементарное хозяйственное и культурное благо-
еостояние.

Отрицательное отношение Ленина ко всем разговорам о пролетарской культуре находилось в теснейшей связи с его взглядами на искусство и с его глубочайшим реализмом, видевшим всю тщету, всю бесполезность, а иногда даже и вред от пустых разглагольствований.

Ленин возражал и тогда, когда благодетели от искусства хотели подносить широким слоям трудящихся «зрелища». Этого мало, — возражал Ленин. — Зрелища — это лишь красивое развлечение. Трудящиеся массы заслуживают «чего-то большего, чем зрелищ. Они получили право на настоящее великое искусство». И реалистический, практический вывод, непосредственно для Ленина вытекавший из этого положения: «потому мы, в первую очередь, выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создает почву для культуры, конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой почве должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму, соответственно своему содержанию».

Ленин такое большое значение придавал искусству, что когда зашла однажды речь о том, чем заменить религию, которая неизбежно должна исчезнуть из сознания трудящихся масс, он заметил, что кроме театра, т.-е. искусства, нет ни одного института, «ни одного органа, которым мы могли бы заменить религию». Об этом рассказал М. И. Калинин в речи своей на 5 Всесоюзном съезде работников искусств, 25 мая 1925 г.

Ленин считал Большой театр осколком «помещичьей культуры» и однажды, в страшное голодное время, ставил даже вопрос о его закрытии. Но это не мешало Ленину дать правильную оценку даже этому осколку помещичьей культуры. Когда в «голый 1919 год» зимой тов. Галкин в Совнарком поставил вопрос о закрытии Большого театра, именно с точки зрения ненужности для пролетариата этого «осколка помещичьей культуры», ставившего все те же «буржуазные оперы» и «ничего для рабочих, ничего для красноармейца», — то именно Ленин спас Большой театр от закрытия.

Перед голосованием он мимоходом бросил несколько как будто незначительных фраз, которые решили судьбу оперного искусства в нашей стране:

«Мне только кажется, — уронил Ленин, — что тов. Галкин имеет несколько наивное представление о роли и назначении театров. Театр нужен не столько для пропаганды, сколько для отдыха работников от повседневной работы. И наследство от буржуазного искусства нам еще рано сдавать в архив...».

Большой театр остался.

И опять, если углубиться в смысл этого замечания, мы найдем нити, связывающие его с другими высказываниями Ленина об искусстве. Искусство

не только пропаганда и не только агитация. «Отдых» — это означает отрыв человека от одних впечатлений и переход к качественно-другим впечатлениям. Отдых, который дает искусство,—как бы сгущенный, деятельный, увлекающий сознание совсем в другую сторону, в иной мир. Это отдых, в котором освежается, обогащается и просветляется сознание. Как часто эта функция искусства — одна из важнейших — забывалась и в наших теоретических спорах, и в нашей практике! Не оттого ли так слабо посещались рабочие клубы, что здесь крылатый конь искусства впрягался в телегу дурно-понятой близорукой агитационности. И Ленин любил наблюдать, как отдыхают и веселятся рабочие. Н. К. Крупская рассказывает о странствиях его по театральным представлениям в рабочих предместьях Парижа перед войной. Выступал народный революционный певец Монтегюс, пользовавшийся большим успехом среди рабочих. Здесь искусство соприкасалось с широкой трудящейся массой — это и увлекало Ленина. Он, который мог восхищаться сонатами Бетховена, проливать слезы над игрой Сары Бернар,—он с восхищением вслушивался в мотивы и слова простых песенок уличного певца. Насколько были бы сильнее Бетховен или Сара Бернар, если бы, вместо Монтегюса, они волновали и потрясали сердца человеческого множества.

III

С воззрениями Ленина на всенародность и общепонятность искусства, связаны и его литературные вкусы. Он, например, не любил футуристов. Не любил так называемого «нового» искусства. Очень часто и с злой иронией отзывался о Маяковском и других «истах». Книгу Маяковского «150.000.000» он находил «вычурной и штукарской». Почему? Сам Ленин дал на это ясный ответ: «Я вот Маяковского несколько раз пробовал читать и никак больше трех строчек не мог, все засыпаю».

«Три строчки» — это сказано для красного словца, потому что какие же у Маяковского «строчки»! Но мысль такова: Маяковский труден для понимания, когда его читаешь. «Пушкина понимаю и признаю, — говорил Ленин у вхутемасовцев,—Не к р а с о в а—признаю, а Маяковского, простите, не понимаю»¹⁾).

В чем здесь дело? Почему «Пушкина» Ленин признает, а Маяковского отвергает? Да именно потому, что Пушкин — всенароден. При всей высоте своего гениального искусства — Пушкин ясен, прост, легок для восприятия, увлекателен, поэт для большинства, для многих. А Маяковский—вождь узкой школы, поэт для немногих, трудный для восприятия, не сумевший победить в себе кружкового своего происхождения. Отсюда неудача Маяковского расширить круг своих читателей. Когда выступает перед слушателями сам поэт, с внушительной внешностью, мощным голосом и огромным личным обаянием—

¹⁾ Ленин вообще не любил футуристов. Л. Сосновский, со слов Н. Мещерякова, рассказывает следующее: «Маяковский прислал свою книжку Владимиру Ильичу с надписью, где употреблялось сочетание слов коммунизм и футуризм—комфут, что ли. Перелистав книжку, В. И. заметил: «Ну, уж если это коммунизм, то разве только хулиганский коммунизм» («За что любил Пушкина В. И. Ленин»).

толпы могут с интересом внимать его отчетливой и своеобразной декламации. В такие моменты Маяковский действительно может считать себя народным поэтом, доступным широкому пониманию. Но лишь только читатель остается один-на-один, с его книгами, с его ломанной строкой, своеобразной рифмой, со всеми новейшими лабораторными завоеваниями словесной инструментовки—рядовой читатель начинает чувствовать скуку: искусство Маяковского идет по пути затрудненного восприятия, а не по пути облегченного. Это выдает интеллигентское происхождение его поэзии, ее предназначенность для немногих. Маяковскому как раз нехватает гениальности, чтобы преодолеть эти особенности своего искусства. Он страстно хочет быть всенародным, хочет занять такое же место в современности, какое в эпоху гражданской войны занимал Демьян Бедный, — но Маяковский бесповоротно лишен тех черт простоты, которыми богат Бедный. Ленин это именно и выразил. И выразил потому, что имел смелость сказать это. Ленина нельзя было запугать словами «левое» искусство. «Левое» — значит хорошее; если тебе «левое» не нравится, значит ты ретроград, реакционер, значит ничего в искусстве не понимаешь. Иные господа, ловко используя термин «левый». Вся сила его происходит оттого, что в борьбе за революцию «левый» фланг всегда почитался более революционным. Неудивительно поэтому, что почетным термином «левый» пытаются иногда воспользоваться ловкие люди, чтобы застраховать себя от критики вообще: «мы левые; нас нельзя трогать» — хотя бы на деле эти «левые» были самые настоящие «правые». Эта «фетишизация» левизны имеет место и у нас, особенно среди молодежи.

И нужна смелость, чтобы разрушить эту фетишизацию. Чувства боязни у Ленина не было и он открыто заявил: труден для понимания Маяковский, Пушкин и Некрасов куда легче. А «легче» означало всенароднее, ближе к массам, понятнее для масс. Искусство подлинное, высокое, не может быть понятно только кружкам специалистов. В увлекательной простоте — его сила. И все опыты нового искусства, которые происходили в узком кругу интеллигенции, и предназначались для этой интеллигенции — (ведь в лабораторном значении многих течений новейшего искусства, начиная от кубизма и кончая да-да-измом — не может быть сомнений) не увлекали Ленина. Самое знамя «новизны» нисколько не подкупало его.

«Почему надо преклоняться перед новым, — говорил Ленин Кларе Цеткин, — как перед богом, которому надо поклониться только потому, что оно «ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица. Здесь — много художественного лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Мы хорошие революционеры, — но мы чувствуем себя почему-то обязанными доказать, что мы тоже стоим «на высоте современной культуры». Я же имею смелость заявить себя «варваром». Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости».

Это сильно, потому что с м е л о. Многие ли из наших современников рискнули бы так открыто выступить против «нового», против «левого»,

которое гипнотически покоряет фетишистской силой самих слов: «новое», «левое»? И в этом признании Ленина лежит огромный теоретический смысл: он отвергал «левое» не потому, что оно было «новое», он не придерживался прошлого искусства потому, что оно было «старое» — такого принципиального консерватизма у Ленина не было и быть не могло. Он отвергал «новое» искусство потому, что оно было плохое по сравнению с старым искусством, которое было «лучше». А почему новое было плохо? Потому что было менее понятно, чем старое. Другими словами — оно рассчитывало на меньший круг людей, оно было более индивидуалистическим, а значит более буржуазным, чем высочайшие вершины старого искусства, всенародно-понятные. И здесь тезис о способности искусства быть доступным массам скрыто был заключен в этом отрицании Лениным дурного «нового» искусства. А отсюда можно сделать такой вывод: Ленин не отрицал «нового» искусства вообще. Он требовал лишь, чтобы оно, на ряду со всеми новейшими завоеваниями и усовершенствованиями в области слова, краски и звука, — сумело бы быть, не менее всенародным, т.-е. доступным широким массам, чем лучшие произведения старого искусства. «Новое», доступное немногим, с его точки зрения, — было плохим по сравнению с тем «старым», которое могло сделаться доступным миллионам. Кто откажет этой точке зрения на искусство в силе и глубине? Когда речь идет о лабораторных опытах, о выковывании новых форм, — тогда перед «новым» должны быть раскрыты все двери, и «новое», настоящее «новое» должно встретить полнейшую поддержку и симпатию. Но пусть это «новое», пока оно еще находится в стадии «выковывания», в стадии подготовительной, черновой, лабораторной — пусть это «новое» не претендует заменить собою все старое искусство. Оно еще не доросло до того, чтобы суметь проникнуть в сознание широких масс. Таковы выводы, которые можно было бы сделать из вышеизложенных замечаний Ленина.

Широкой и увлекательной понятностью старой литературы и объясняется пристрастие Ленина к классикам. Почти все, кто вспоминал о Ленине и его отношении к литературе, подчеркивали его любовь к классикам. Уезжая за границу, Ленин захватил с собой, кроме экономических книг — еще стихотворения Некрасова и «Фауст» Гете (восп. Н. Мещерякова).

Л. Б. Каменев перечисляет русских классиков, особенно им любимых. Это были: Толстой, Пушкин, Некрасов, Чехов... П. Н. Лепешинский добавляет к этому списку Шекспира, Шиллера, Байрона. Заглядывал Ленин даже в Баратынского и Тютчева, при этом Тютчев, так тонко «организовывавший», как это доказывал А. Богданов, психику читателя в сторону, противную целям и стремлениям пролетариата, по словам П. Лепешинского, пользовался «его преимущественным благорасположением» («На повороте»). Н. К. Крупская говорит о Лермонтове, Пушкине и Некрасове, которых Ленин читал в минуты сильной усталости. По словам Н. К. Крупской, Ленин не только читал классиков, но и перечитывал — Тургенева, Толстого, «Что делать» Чернышевского. Н. К. Крупская напоминает, что именно Ленин, после создания Госиздата, поставил ему задачу выпустить дешевое издание русских классиков. Те же самые имена встречаем мы в воспоминаниях Г. Кржижановского, Лебедева-Полянского, Л. Сосновского. Последний любовь Ленина к

Демьяну Бедному объясняет бьющей жизнерадостностью Бедного: в этом смысле Бедный походит на Беранже, которого также любил Ленин.

Перед нами встает, таким образом, фигура Ленина, далеко не похожая на человека, отмахивающегося от вопросов искусства и художественной литературы. Оказывается, Ленин вовсе не так был далек от литературы и искусства. Он любил его. Это значит, что и высказывания гениального человека по всем вопросам, которые нас сейчас волнуют, имеют первостепенное значение.

IV

В статьях своих, посвященных Льву Толстому, Ленин отмечает две стороны в его произведениях: 1) гениальный художник дал не только новые картины русской жизни, но и 2) первоклассные произведения мировой литературы. Это «но и» обозначает, что художественная литература не только «отражает» жизнь, но обладает еще какими-то особенностями, которые делают эти «отражения» особенными, способными стать в уровень с «первоклассными произведениями» мировой литературы. Картины могут быть первоклассными и непервоклассными. Очевидно, степень высоты искусства находится в зависимости не только от материала его (изображения, отражения), но и от способов обработки материала, художественных приемов: художественности. В статье «Л. Н. Толстой», написанной в 1910 г., Ленин анализирует произведения Толстого. Лев Толстой, рисуя преимущественно старую дореволюционную Русь,—пишет Ленин,—«сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы (разрядка наша. *Вяч П.*), что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе». Здесь опять две стороны: 1) глубина вопросов, острота захвата материала и 2) «художественная сила», т.е. некоторая особенность, какую обладает изображенный художником материал. «Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы»,—читаем мы в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение». Если мы вспомним все, что говорилось выше о взглядах Ленина на искусство, то нам сделается ясным, что именно понимал он, когда говорил о «гениальной художественности», о «замечательной силе» Л. Толстого, как художника. Это все та же доступность широчайшим массам, несмотря на глубину захвата темы, это—способность давать художественное наслаждение, простота, ясность, красота. Без этих свойств не было бы гениального художника, да и не было бы художника вообще. Только наличие определенных свойств, независимо от материала, который берется для работы,—делает писателя художником, т.е. творцом произведений искусства. Таков один из выводов, к которым приводит изучение высказываний Ленина об искусстве.

Чем замечательны произведения Л. Толстого с точки зрения В. И. Ленина? Тем, что он был великолепным зеркалом русской революции, т.е. целой исторической эпохи.

«Толстой велик,—писал Ленин в статье 1908 года,—как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России».

Разберемся в этом утверждении. По утверждению Ленина, Толстой— «помещик, юродствующий во Христе», значит барин, представитель эксплуататорского класса — оказывается «выразителем настроений миллионного крестьянства». Мысль, обоснованию которой можно посвятить целое исследование. Противоречит ли она марксизму? Нисколько. Но она опровергает элементарные разлагательства о писателе, творчество которого связано с его классовым происхождением. Социальное происхождение писателя, взятое абстрактно, не говорит само по себе ничего о том, идеи и настроения какого класса—своего или чужого—будет отражать писатель. Все зависит от тех конкретных исторических условий, в которых развивается творчество писателя, и от некоторых особенностей его личного развития. Оттого-то аристократ, помещик преодолевает духовное наследство своего класса, даже порывает с ним, даже выступает против него. Процесс этот аналогичен тому, который идеологами и вождями пролетариата сделал Карла Маркса—сына адвоката, Фр. Энгельса—сына фабриканта, Г. Плеханова и В. Ленина — выходцев из русских привилегированных сословий и т. д. Правда, это нельзя принимать как правило. Нельзя отсюда сделать вывод, будто классовое происхождение—ничто, и ни к чему не обязывает. Это было бы абсурдом, извращением марксистского миропонимания. В том-то и дело, что Маркс и Энгельс, Ленин и Плеханов и еще ряд имен—это единицы, исключения из правила, фигуры, в силу выдающихся интеллектуальных качеств, в благоприятных исторических условиях, сумевшие победить в себе духовные влияния своих классов. Общая аксиома марксизма о влиянии класса на психологию человека, о классовом наследстве остается в силе. Но эта аксиома в области идеологического творчества представляет ряд исключений, которые требуют гибкого, а, главное,—не слепого обращения с правилом.

Какой смысл имеют «исключения» для нашего анализа произведений искусства? Очень большой. При подходе к произведениям искусства, плохим марксистом будет тот, кто попытается анализировать эти произведения, механически применяя «правило», игнорируя возможность «исключений», исходя из факта известного социального происхождения художника. Другими словами, в области искусства, при анализе классового характера произведений и роли отдельных писателей, марксистский метод является гибким, широким и глубоким, допускающим разнообразнейшие возможности отклонений художественной идеологии художника от интересов породившего его класса—вплоть до открытой борьбы против него. Но эти отклонения надо найти, во-первых, и объяснить их происхождение, во-вторых, т.-е. раскрыть тот механизм социальных воздействий на писателя, которые переводят его с точки зрения своего класса — к точкам зрения классов чужих. Само собой разумеется, такое толкование марксистского метода разрушает элементарную, плоскую, вульгарную систему «марксистской» критики, с помощью которой характер художественного творчества заранее предопределяется клас-

совым происхождением художника. Здесь марксизм не столько «применяется», сколько «извращается». Положение марксизма, которое говорит о возможностях разрыва между художником и классом, — а именно такую картину мы наблюдаем чаще всего при анализе высочайших произведений искусств, — опрокидывает построения А. А. Богданова об организующем влиянии художественных непролетарских произведений обязательно в сторону, противную интересам пролетариата. В какую сторону организует психику пролетариата классическое произведение — это можно решить в каждом отдельном случае лишь с помощью конкретного исследования. Утверждать же, что вся мировая литература, написанная не с коллективно-трудовой точки зрения, «организует» психику пролетарского читателя в сторону, противную его интересам, — это значит удариться в сухой и мертвый схематизм, с которым не только в искусстве, но и в пустыне делать нечего. Анализ, который дает Ленин Толстому, опрокидывает плоское и деревянное применение марксизма. Да, Толстой помещик, «юродствующий во Христе». Но вместе с тем «он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования» (статья 1910 г.). Толстой — барин, аристократ, граф Толстой, — однако в его творчестве мы находим «горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейско-казенной церкви», находим далее «непреклонное отрицание частной поземельной собственности», и даже «полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения обличение капитализма»... Все это Ленин подчеркивает в творчестве помещика, барина, аристократа. Но вместе с этими чертами, которые и составляют нетленное в наследии Толстого, Ленин указывает на то, что этот горячий протестант, страстный обличитель, великий критик «обнаружил, вместе с тем, в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски образованному писателю». Здесь зависимость от исторически-неразвитой среды, от неразвитых хозяйственных отношений составляет вторую сторону Толстого-художника. Даже гениальность не всегда может преодолеть исторические условия своей эпохи: она входит со своими противоречивыми и неразвитыми чертами в его личный опыт. А отсюда Ленин рисует другую сторону Толстого, его противоречия, его религиозную проповедь. Гениальный художник, великий писатель, «Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедия суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, юродивая проповедь «непротивления злу насилием». С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок, с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религия — стремление поставить на место попов на казенной должности,

попов по нравственному убеждению, т.-е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины. Поистине, — восклицает Ленин:

Ты и убогая, ты и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная
Матушка Русь...

Ленин в коротких словах вскрывает причину этой противоречивости во взглядах и учениях Толстого. Противоречия эти не случайны, — говорит он. В них нашла свое выражение та противоречивость условий русской жизни, в которых находилась она в последней трети XIX века. Картина духовных превращений Толстого получает свое обоснование. В противоречивости Толстого, в слабых сторонах его произведений — отразились все недостатки и все неразвитые стороны нашего российского опыта. Оттого-то Толстой и является «зеркалом» — не только силы, но и «слабости», не только революционного порыва, протеста, ненависти, негодования, но и мягкотелости, незрелой мечтательности и тому подобных качеств. В произведениях его рельефно отразились «черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее сила и ее слабость».

В какое же отношение к произведениям Толстого должны стать русский пролетариат и русское крестьянство? Ведь та Россия, сила и бессилие которой отразились в его творчестве, — ушла в прошлое и не возвратится. Что же остается от наследства Толстого нашему поколению борцов?

«В наследстве Толстого, — отвечает на этот вопрос Ленин, — есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство и берет и над этим наследством работает российский пролетариат». Пролетариат раз'яснит³ массам трудящихся и эксплуатируемых «значение толстовской критики государства, церкви, частной поземельной собственности» не для того, чтобы массы, узнав об этом, успокоились, но для того, чтобы это познание, почерпнутое из произведений великого художника, еще более подняло бы энергию борьбы. Творчество «помещика», «юродивого во Христе», учение которого «безусловно утопично и по своему содержанию реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова» (статья 1911 г.), — творчество этого художника Ленин безбоязненно предлагает пролетариату в качестве⁴ духовной пищи, не боясь, что пролетариат отравится ее ядом, ее утопизмом, ее реакционностью, ее противоречиями. По мысли Ленина, вредными являются не самые утопизм и реакционность, вредны и д е а л и з а ц и я этого утопизма и реакционности, идеализация учения Толстого, попытки его оправдания и смягчения. Но разве социальная сущность пролетариата, его классовая психология не истребляет возможность такой идеализации? Оттого-то эти реакционные черты Толстого не заслоняют в глазах Ленина великой художественно-показательной ценности для пролетариата его произведений. Оттого-то, изучив Толстого досконально, видя насквозь его положительные и отрицательные качества, Ленин писал о необходимости сделать великие произведения этого «помещика» действительным достоянием всех и о том, что художественные

произведения его «всегда будут ценимы и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов».

* * *

Таковы взгляды и выводы, которые можно извлечь из нескольких небольших статей Ленина о Л. Толстом. Можно только пожалеть, что они не сделались достоянием самых широких масс, что о них писалось мало, что многие товарищи, «опираясь» на Ленина, не давали себе труда внимательно изучить то, что Ленин говорил об искусстве. Если бы все это было сделано своевременно и в надлежащей степени, — в литературной борьбе, которая занимала наше внимание в продолжение истекших лет, было бы сделано меньше грубых ошибок, и правильный путь был бы куплен меньшей ценой заблуждений. Ленин является самым верным руководителем не только в областях политики и экономики, но и в вопросах литературы и культуры. Все же направление борьбы под лозунгами «пролетарской культуры» и «пролетарской литературы» в истекшее десятилетие протекало не под влиянием взглядов Ленина на искусство и культуру, а в значительной мере под влиянием взглядов А. А. Богданова. С основания Пролеткульта, через группу «На посту», — идеи А. А. Богданова пустили глубокие корни. — Это значит, — слишком мало внимания уделялось взглядам Ленина на те вопросы, которые с легкой руки А. А. Богданова стали в порядке дня наших дискуссий.

Голубая заводь

Рассказ

АННА КАРАВАЕВА

Военком шел впереди взвода красноармейцев и рассеянно слушал, как скрипит галька под сапогами. Вестовой Бугай, присадисто вышагивая своими кривыми ногами, сердито чихал и сплевывал на дорогу.

— Только вот притти успели. Ребятам бы насчет жратвы горячей... а тут сразу на-ко-ся: иди на охоту...

— Ничего, ничего, — добродушно кашлянул военком, — зато зверь-то важный, Бугай... не кто-нибудь, а начальник эскадрона Вырыпаев. Сам «его высокоблагородие»!

— Что верно, то правильно, — сразу сдался Бугай, и вдруг озлобленно сморщил свое большое, щекастое и необычайно курносое лицо.

— А слышь, товарищ Мокин, не мало ль ребят мы отрядили, чтобы дом-то оцепить? Вон, ведь, угодища-то какие...

Бугая связывала с военкомом давняя испытанная дружба, и потому всякое распоряжение Мокина, когда бывали вдвоем, Бугай находил нужным оглядеть еще и со своей стороны.

— Нет, — сказал Мокин, щуря вдаль близорукие глаза, — цепь будет достаточная.

Обернулся назад.

— Разойдись, товарищи, по обе стороны аллеи... сейчас будем видны из дома. Иди меж кустами внаклонку, потом ползти придется. Ну... раз, два.

Взвод пошел врассыпную по кустам. Впереди забелелась Вырыпаевская усадьба.

— Сойдем и мы на тропку, — сказал военком.

— Эх-х... жили ж люди! Вот черти-и! — кивнул вперед Бугай. — Этакий домище на двоих... Парк тоже стоящий, сколько бы мужицких огородов тут можно развести...

— Ну... ты, брат, тово... на голос-то не разоряйся очень, — погрозил Мокин, — хоть и никого не видать, а все лишний шум. Зачем?

Бугай слегка смутился — за пылкую его привычку сейчас же давать оценку происходящему не раз приходилось попадать впросак. Деловито крякая и прикрывая рот по-деревянному жесткой ладонью, зашептал:

— А слышь, товарищ Мокин, вдруг мужики... грешным делом... ошиблись? А? Вдруг, примерно, никого старик Вырыпаев и не скрывает?.. Тихо что-то очень... будто все по-обыкновенному.

Военком сказал уверенно:

— Нет, на такие штуки редко у крестьян бывает ошибка.

Военкому хотелось курить. Сводило даже челюсти от этого настойчивого желания, жарко щекотало нёбо, будто уже делаешь хорошую затяжку. Не курил со вчерашнего дня. Всю ночь шли, присоединяясь к двум ближним частям, чтобы обойти белых с фланга и выбить их из села. Оно было предназначено для передышки после этого тяжелого и упорного похода. Об отдыхе блаженно вздыхали последние версты перед селом, но вот опять совсем неожиданно пришлось шагать.

Аллея подходила к концу. Реже стала листва. Липы и березы тут опадали сильнее. На тропку уже намело палой листвы. Желто-зеленая, лежала она пухло, как легкая перина, куда хорошо прилечь, вытянуть ноги во всю длину и потирать ладонью утомленные суставы.

Мокин даже приостановился. В самом деле, захотелось прилечь. Вот согнуть колени, вот вытянуться, чтобы хрустнули кости... э-эх.

Мокин широко зевнул.

— Чего? — участливо бормотнул Бугай.

— Устал.

Бугай молча поглядел на широкую спину военкома. Сутулость его стала больше, плечи круче поддавало вперед. Складок на шее тоже прибавилось, походка уж стала по-стариковски развалистой — военком тяжелеет, грузнеет нерадостной полнотой старости.

— На что рьяный, — рассуждал про себя Бугай, — а сдает тоже.. Пятидесятый год человеку, ничего не поделаешь.

Военком молча шел за деревьями. Все сутулясь, поглядывал на небо, далекое, безгласное, желтовато-голубое, будто в золотом дыму. Захотелось вдруг медленнее идти, открывая рот, вдыхать глубоко эту осеннюю погожесть и сладковато-вялые запахи листопада.

— Старею, — горько ухмыльнулся Мокин.

Впереди в кустах потрескивало и шуршало. Мокин увидел буро-зеленую спину красноармейца, который уже полз по траве, мерно поднимая плечи. Он повернул голову к военкому и улыбнулся безусым мальчишеским ртом. В подглазницах у него плотно чернела застарелая грязь и пот, скулы выдались от многодневного бессонья, но взгляд его кратко сверкнул, будто говоря: ничего, ничего, потерпим, товарищ военком.

Он прополз дальше, а Мокина будто что прихлестнуло: выпрямился, встряхнулся, словно чего устыдясь, и широкими шагами вышел на поляну.

Немало повидал усадеб за эти два года и каждую встречал, как что-то уже не новое, похожее на многих других. Все больше светлые, белые и голубые, почти все с колоннами, с высокими окнами — они казались ему каким-то враждебным братством. К вырыпаевской усадьбе подошел с привычно-злой настороженностью, оглядываясь и запоминая каждую ступеньку. Из-за углов и вдоль стен щетинились винтовки — дом был уже оцеплен. Мокин встретился с десятками внимательно настроженных глаз. Он ответил им молчаливым кивком, понятным красноармейцам лучше слов: стойте так, хорошо.

Люди были пыльные, потные, у ближайших к крыльцу, видел Мокин, дрожали перешагавшие без отдыха ноги. Но люди, высоко дыша засмякшими ртами, держали штыки на изготовке, брали в плен кусок враждебного мира. В такие минуты Мокин чувствовал к ним какую-то невысказанную крепчайшую любовь — не жалко бы отдать жизнь за этих молчаливых усталых людей.

Мокин кивнул еще раз и взошел на просторную застекленную террасу. Две засохших пальмы умирали по обе стороны внутренних дверей, на полу и стеклах надела давняя пыль, в угол нелепо толкнулся длинный грязный стол, ни стульев, ни скамей не было — казалось, что и в доме-то никого нет.

Но еле Мокин успел открыть резную дверь, над головой что-то беспокойно и безголово захрипело — колокольчик был обернут бумагой. Из полутьмы двинулось навстречу странное существо, очень подвижноголовое, но будто безногое.

— П...п...прошу-у...

В полосу света вышел человек, и Мокин увидел лиловый бухарский халат, волочащийся по ковру, желтый лысый череп и ребячье-маленькое лицо, заморщенное, скомканное перекрестами морщин. Реденькая, в одноволосье седая бороденка тряслась от непрерывного качания очень подвижной этой лысой головы, а из беззубого рта исходил сиплый, падающий шопот.

— Я... я... Вырыпаев... да-с... Чем... чем могу с...служить?..

Мокин, почему-то опешив, подумал:

— Ну... мозгляк какой...

От желтого черепа, на уровне своего плеча, ощутил вдруг легкую какую-то тошноту.

— Я должен осмотреть ваш дом. Мне сказали, что вы скрываете у себя сына, белогвардейского офицера.

Вырыпаев подобрал полы, прижимая сухие пергаментные ручки к бокам, и угодливо засуетился.

— Пожалуйста... п...прошу-с в комнаты... смотрите-с, где угодно... п...прошу...

Забегая вперед, он горбил узкую щуплую спину и глядел на Мокина тусклыми, когда-то синими глазами.

— Относительно сына моего Пьера... Действительно-с... он у меня... Желаете-с, могу провести?.. Он, знаете, болен... Тиф у него... у Пьера... а докторов, знаете ли... нет...

Бороденка его дернулась, он приостановился и всхлипнул, вытирая глаза и остренький красный носик поллой халата.

— Температура не спадает... все сорок с десятиными... Бред ужаснейший... Мы с Ниночкой уже неделю вот как не спим...

Скороговоркой, швыряя носом, добавил:

— Ниночка... это, знаете ли, невеста моего Пьера — чудная девушка... Пожалуйте сюда-с...

Он толкнул дверь в узенький коридор. С ноги свалился шлепанец. Вырыпаев, волоча халат, испуганно зашарился маленькой ногой в продранном носке, надел шлепанец и конфузливо хихикнул:

— Неряхой стал-с... Вдовею четвертый год, а прислуги теперь только двое-с... значит, некому ни чинить, ни штопать...

В коридорчике было душно и пыльно. Желто-синие стекла в окне напоминали не то церковь, не то склеп. Большая черно-сизая муха отчаянно, тоскливо жужжала и билась о стекло.

Мокину вдруг показалось, что все ему известно про этого щуплого старикашку: огромному дому около ста лет, кругом пусто и пыль, мошь ест ковры и выцвелье гобелены, старик высох «до самой души», как говорит Бугай, жизнь его уже на краешке, переползает со дня на день.

Из конца коридорчика шло какое-то глухое бормотанье.

— Кто это? — вздрогнул Мокин.

Старик мигнул слезящимися глазами.

— Это... Пьер... сын мой... опять бредит... Изменился он ужасно... Если бы раньше вы его знали... теперь бы ничего похожего не нашли... О-о... господи б-боже мо-ой...

У Мокина чуть было не сорвалось:

— Ну, ротмистра-то Вырыпаева мы знаем... очень даже хорошо... Повадку его тоже знаем: «пленных рубить».

Но ничего этого он не сказал, все сильнее ощущая в себе сладкую, противную тошноту. Подумал сонно:

«Устал я, чорт подери... Надо бы все же Бугая сюда взять... да...»

Дверь распахнулась — и Мокин даже отшатнулся: шибануло в ноздри заматерело-спертым духом непрветриваемой, больничной комнаты.

На разворошенной кровати сидел голоногий человек в широкой рубахе, напоминающей бабий капот. По далеко вытянутым ногам видно было, что человек высокого роста, но сейчас эти длинные ноги будто пропадали зря, ни к чему. Бледножелтыми, покойницкого цвета пятками человек мерно бил по полу, худой рукой, сжатой в бессильный кулак, водил над головой.

— А... а... ма-аладцы-ы... Вскачь, вскачь... Кр-репча шенкеля-ми-и-и... Крепча, сволочи...

— Петя... Пьер... — жалобно всхлипнул отец. — Петечка... милый... это я... C'est moi, ton père..

Сын вдруг поджал ноги, острые колени выдались вперед.

— Кто мундштуки ослабляет... кто? Бер-ри бар-р-рьер... Р-раз...

Его горящие глаза, казалось, выкатывались из воспаленных век на запавшие остроскулые щеки. Давно небритый подбородок густо оброс черной щетиной. Эти длинные волосяные иглы вдруг до жути ярко напомнили Мокину колючую спину ежа. Этот тифозный подбородок был так кругл, щетинист и тяжел, что и вправду привиделся еж, вцепившийся в истомленное жаром человеческое лицо.

Больной вдруг неразборчиво забормотал что-то и юрко сорвался с места.

— А... а... я ва-ам пок-кажу-у...

Длинное тело с каким-то хлипким стуком растянулось на полу. Бессмысленно вода пустыми горящими глазами, больной приподнял голову и скреб отросшими ногтями ушибленный висок.

Вырыпаев дернулся к сыну, запутавшись в просторном своем халате.

— Это он все бои видит... господи боже мой... прислуги мало, боится ухаживать... Умоляю вас... помогите... я не подниму один... умоляю...

Его слезящиеся тусклые глазки источали невыносимую приказывающую мольбу.

Мокин растерянно подхватил больного под отбивающиеся локти, и вместе они перенесли его на постель. На миг встретился Мокин с горячими черными глазами, пустыми, как стекло, но нечего было послать этому бессмысленному взгляду—враг жил в бесплотном, бредовом мире.

Вырыпаев поправил подушку и положил руку на бесчувственный лоб сына.

— Ужасная болезнь... иногда, знаете, очнется... и опять пошло... А бьется как... господи-и... Видите, окно-то до ~~ползны~~ досками ~~сбито~~ боюсь... выбросятся еще...

— Душно тут невыносимо, — вяло передохнул Мокин, чувствуя как никогда пятидесятилетнюю свою грузность, тяжелые сапоги, жажду курева, голод и утомление телесное, каждой жилой, каждым нервом.

Больной, забрав голову в плечи, глубоко вдавился в подушки, будто сразу уменьшаясь в росте, усыхая, как и отец — эта хилость человечья в бухарском халате.

Мокин даже оторопел на миг, заглядевшись на черный, как-то вбок открытый рот тифозного. Больной утих. Темные его веки слегка вздрагивали, из большого черного рта шло легкое полубормотание. Враг удалялся все дальше в бесплотные миры.

Мокин повел рукой по лбу, почувствовал мокрое. Подумал вдруг, что даже и для большой человеческой силы есть предел. Но тут вспомнил Бугая и штыки вокруг дома. Сразу дунуло острой прохладцей в затылок, стала непереносна эта удушающая полутьма.

Выходя из комнаты первый, громко откашлялся и сказал, глянув мимо старческого лица:

— Все же арестовать вашего сына придется... Положим его пока в походный лазарет.

— Аресто...

Старик захлебнулся, лысый череп так закачался на цыплячьей шее, будто хотел оторваться от щуплого тела.

— Что вы... что вы... Арестов...

У него будто не достало силы произнести устрашающее слово.

Обхватил тонкими, цепкими пальцами военкомовский локоть, мотался сбоку, как навязанное кем-то, тяжелое бремя. Глазки опять слезоточили, томили как мутная пучина.

— Да ведь он слабее ребенка... сами видите... ему воробья не убить... не то что вас, такого большого, сильного.

С неожиданной силой, мягко, но упорно давя на плечо, усадил Мокина на диван. Взвилось малое облачко неряшливой пыли, но ноги военкома блаженно заныли, вдруг сразу отказываясь служить—тело тянуло в какую-то теплую бездну, мгновенная сладкая сонливость проникла в каждый мускул.

«Пять суток не спать... это тебе не фунт изюму»,—оправдываясь, подумал Мокин, бессознательным движением вытягивая ноги. Хриплый старческий шопоток каким-то рвущимся шумком доходил до ушей:

— Голубчик, дорогой... ведь человек же вы... ведь он сейчас бессильный, жалкий... как котенок... мне семьдесят один год... пережил жену, детей... все смерти нет... Он... Петя... один у меня остался... Здесь я его все же выхожу, уверяю вас... потом уж считайтесь, когда он встанет... но не отнимайте его от меня... умоляю...

Цепкие пальцы бродили, щупали плечо военкома.

— Мы в ваших руках... вы же видите... Отдаемся не сопротивляясь... вспомните, прошу вас, может быть... вы сами болели, и ваш отец или мать просили за вас... а?

Военком беспокойно переместился, шаря слипающиеся глаза — рядом с мокрыми глазками Вырыпаева привиделось в синеватом тумане, будто над заводью тихой, бородатое отцово лицо... Слабогрудый и милый бесконечно был отцовский басок, а умер отец преждевременно — зацепился за вал, провертело два раза, сняли разбитое месиво костей и мускулов.

— Молчите? Видите... на коленях прошу...

Шопоток и всхлипы шли теперь с полу — желтый лоб, блестя крупной испариной, склонился к руке. Мокин вздрогнул, почувал брезгливый холод и крикнул:

— Встаньте!.. Встаньте!.. Сейчас же... о... о... чорт...

Одним рывком поднял костлявое тело.

— С чего это вы?.. Безобразие какое... фу...

Встал, сердито переминаясь, поправил кобуру и сказал, не раздвигая хмурых бровей:

— Пусть пока лежит у вас... ладно. Лазарет наш в паршивом состоянии, по правде говоря... Ежедневно от нас два раза проверка, все ли на месте. Поняли?

Будто не заметив благодарно протянутых рук, вышел на крыльцо, недовольный собою.

— Что? Как — вскинулся Бугай, затапывая в песок окурочок. — Нашел? А?

— Да, — неохотно, не сдержав зевок, сказал Мокин, — нашел, конечно... Вырыпаев... действительно... только он в тифу...

Точно боясь, что Бугай сейчас начнет говорить, заторопился передать все, как было.

Бугай еле двинул плечом и длинно швыркнул носом.

— Гм... вот как. Ну, что ж теперь?

Мокин отогнул обшлаг, очень внимательно смотря на циферблат часов.

— Что ж... оставим двух ребят позади дома, все другие могут итти кашу есть... А я тут посторожу... потом дошли ребят на смену.

— Ладно,—сказал Бугай, опять двинув плечом. Обычно в таких случаях, когда Мокин забывал про себя, Бугай ворчал и убеждал не делать так.

Но сейчас, занятый неприятным раздумьем, Бугай к этому отнесся равнодушно, зная, конечно, что военком голоден.

Мокин привычно выпрямил грудь и как можно бодрее отчеканил:

— На плечо-о!

Долго провожал взглядом плотную спину Бугая, его присадистую кривоногую походку.

Мелькнула досадливая мысль.

«Уже не распустил ли я его слишком... все же надо знать меру критике... для чего-то ведь я военком, а он — мой вестовой».

Но тут же, застыдясь, прогнал это лукавое рассуждение. К Бугаю оно было совсем не применимо: с самого начала гражданской войны вместе с Бугаем, седло о седло—в боях, голова к голове—в кратких передышках. Дружбу их Бугай называл «кованной».

— Нет, нет... чушь какая лезет в мысли,—и Мокин подпер ладонями тяжелую голову.

Еще раз подумал о том, что Бугай недоволен и, ясное дело, осуждает его, военкома. Потом думы перешли на сегодняшнее.

На большой круглой клумбе доцветали астры, высоконогие и еще пышные, ближе, на пирамидальном бугорочке, карабкались махровые левкой. На желтой тропке вприскокку прогуливался воробей, серый и вз'ерошенный. Чирикнул возле военкомовского сапога, нахохлившись, отпрыгнул и опять загулял с крохотной важностью.

— Ишь ты... тоже...—усмехнулся Мокин, прислушиваясь к дому. Но окна были заперты наглухо, и дом казался мертвым.

— Наверное, стариченко бродит один, да скузит... А прежде, наверное, важный был тип, не задень... Вырождающийся класс... да... Собака-дворняга и то сильнее этого старикашки.

Опять вспомнилось молчаливое осуждающее лицо Бугая.

Мокин курил уже третью папироску, было чрезвычайно приятно, засвежело даже в груди. Поэтому хотелось думать обстоятельно и неторопливо.

— Ну, ладно, Бугай, допустим по-твоему. Ну, я его бы арестовал. Та-ак. Мешал бы он нам здорово, скажу тебе. Чего у нас в аптечке есть? Иод, борная да марля. А где белье для тифозного больного? Нету белья... Ты говоришь, ежели бы де помер такой молодчик, нам бы урона не было. Выходит дело, нарочно его уморить, так, что ли?.. Ну, знаешь, Бугаюшка, я привык с врагом иметь дело иначе—на равных правах... да... И с врагом, знаешь ли, есть... ну, как тебе сказать... более и менее честные способы борьбы...

За домом вдруг запляскалась, запела вода.

Мокин, дивясь, глядел на белую лодку, синий блеск воды, на девушку, машущую веслами.

— Штука-то какая... у них тут вода, оказывается... как это я не заметил... Кусты очень разрослись, вот и не видал.

Белые весла взлетели еще раз, поднимая брызги, и лодка врезалась в осоку.

Мокин, трогая кобуру, вышел на дорожку.

— Эй... стойте... куда вы?

Девушка сняла широкополую шляпу с вислыми полями и черной бархоткой, досадливо отмахнулась от большой пчелы, будто не торопилась отвечать. Изумленно развела руками.

— А что же... Разве сюда нельзя?

Голос у ней глуховатый и нежный. Мокин остановился у лесенки к воде и спросил, упрямо строже:

— А вы откуда приехали?

Она, все удивляясь, приподняла тонкие плечи.

— Откуда? По реке, мимо мельничной запруды... А тут заводь... разве вы не знаете?

Погожее солнце легонько ожигало ее светлокосую голову. Волосы ее цветом напоминали Мокину медную стружку—вьюнок, которая звонко скользит из-под сверла, а станок радуется тончайшей своей работе.

Она ловко бросила шляпку на куст, а сама одним прыжком достала пристаньку. Только тут заметила кобуру, загляделась на колючие круглыши ручных гранат у пояса, с меньшим вниманием осмотрела пшашку. Голубые глаза любопытно раскрылись—очень большие, прозрачные, как солнечная вода.

— Вы, должно быть... красный? Да?

— Красный... да,—неволью улынулся военком.

Она нерешительно помахала шляпой, храня все то же улыбчиво-любопытное выражение.

— Ага-а...

Вдруг на что-то решась, шагнула слишком широко для своего хрупкого тела и протянула узенькую белую ладонь.

— Я... Нина Кудямина... А как вас зовут?

Мокин растерянно и недоуменно пожал легкие прохладные ее пальцы.

— Меня зовут... гм... Андрей Мокин.

Добавил:

— Военный комиссар.

В голубых глазах была какая-то ненарушимая ласковость и тишина.

— А почему вы хмуритесь?.. Я что-нибудь не так сделала?.. Я мало с людьми разговариваю, а с военными и вовсе не умею... Правда?

Мокин снял фуражку и, полный какого-то стеснения, вытер смуглый лоб и сивую отросшую прядь.

Голубые глаза смеркли и заморгали часто и жалостно.

— А-ай... как у вас седины много-о!.. Я ужасно жалею седых людей, это значит, что жизнь уже кончается... А какой платок-то у вас грязный!.. Дайте-ка, выстираю.

Рванула серую тряпку, бросила ему на руки шляпу—и убежала за дом, еле касаясь земли.

— Н-ну... дела-а...

Мокин зачем-то оглядел себя, голубую в серебряных пятнах заводь—и шляпу у себя в руках, женскую мягкую шляпу, напоминающую не то масляничный блин, не то какой-то странный пахучий лист неведомого цветка.

— Куда же она убежала?.. Вот, черт подери... чепуха какая...

Вдруг послышалось, что кто-то идет по аллее. Мокин заметался, помахивая шляпой.

— Фу, ты, батюшки... Вот дьявольщина! — Трусливо, будто что кусающее, сбросил шляпу на каменную скамью.

— Уф!—и обрадованно вздохнул. Стало и досадно и смешно, и где-то внутри робко зазнобило недовольством.

— Это, видно, и есть его невеста... Чудная девчонка, забавная... Детеныш... лет-то ей сколько?.. будто с неба свалилась... «Вы, должно быть, красный?» И-и... хоть бы тебе удивилась... Чудачка... Такие из-под маменькиного крылышка на свет выходят, вовсе еще в пуху, что называется... В нашем быту таких едва ли встретишь.

— Ну, во-о-т! — запела голубая заводь — знакомка негаданная вынеслась из-за угла, опять надземным бегом, на-диво легконогая. Оборки ее белого платья напомнили вдруг Мокину бабочек-капустниц. Неделю назад, выбивая белых из лощины за деревней, поставили батарею в огороде меж капустных гряд. Трехдюймовка гремуче плевалась и дымила, а поодаль кружились над грядами бабочки-капустницы.

— Платок ваш выстирала... Достала в кухне мыла... Вот, нате... Ой, да нельзя же в руки, он же мокрый!.. Вот я вешаю его на перила, видите? Если у вас теперь случится насморк, вы будете с чистым платком... правда?

— Гм... угу... — неопределенно бормотнул Мокин.

— А что вы меня... не поблагодарите, а? — Теперь голубые глаза выражали удивление.— Неужели вам не приятно, что я для вас постаралась? А?

Мокин смущенно крикнул:

— Э... гм... ну, спасибо... что ж... это хорошо...

Подумал в смешливой оторопи:

«Вот пичуга какая. Мала, а свое ей отдай... этакая заноза, подумаешь...»

Она уже шла к крыльцу.

— Знаете, если вам когда что понадобится такое... ну, небольшое, что в моих силах, я всегда сделаю—вы мне почему-то понравились. Я, например, многим деревенским письма пишу, и очень это люблю... Сейчас, правда, мало приходится—времени нет, ухаживаю за Пьером... Это мой жених, знаете?

— Знаю,—отрывисто бросил Мокин, вдруг опомнившись,— стойте, однако. Зачем вы туда идете?

Она вернулась на один шагок, недоумевающая и огорченная.

— Ухаживать за ним... давать порошки, питье... он же страшно капризный сейчас и прямо-таки ничего не хочет понимать... Разве его отцу с ним справиться одному?.. вы только подумайте... то...варищ Мокин.

Это «товарищ» вышло у ней неловко, но, показалось Мокину, вовсе невраждебно.

— Ну... скажите, неужели я не могу к нему?.. Разве вам от этого будет дурно?

— Эх!—неуклюже повернулся к ней Мокин.— Идите уж пока... ладно. Потом пропуск должны будете пред'являть...

— Да, да... буду... Конечно... А сейчас такое, такое спасибо!

И опять Мокин попал под налёт—левая рука очутилась на миг в плену ее ладоней. Мгновенно вспомнилось приятное ощущение из детства—гладкие, как шелк, прохладные лепестки бело-желтой водянки, скользящие по руке.

Тяжелая дверь бесшумно закрылась за девушкой, а Мокин облегченно вздохнул.

— Ушла... ах, ты фигура какая... мала-мала, как воробей, а поди ж ты...

Сам не знал, как кончить эту мысль. Таких случаев еще не бывало с военкомом, и потому никакой «линии» поведения он не успел и придумать. Он привык к определенным отношениям с людьми, где все было обозначено четко и просто, как на весах: каждый знал свое дело и то, что может требовать от других. С этой, бабочки-капустницы, голубоглазой, как тихая, погожая эта заводь,—с этой что можно было требовать?

Платок уже высох. Мокин снял его с перил, раздумчиво сложил четверо и сунул в карман.

— Ишь ты... придумала... чужие платки стирать... чудная девчонка... гм...

Когда пришла смена, Мокин пошел, наконец, обедать.

По дороге в село вспомнил свою жену Веру, большегрудую, очень крепкотелую женщину. Женаты они более двадцати лет, Вере срок второй, а она все будто бы не научилась говорить. И правда, на разговоры до того не охоча и скупа, что даже сердится, когда должна подробно что-нибудь раз'яснить. У Веры тяжелая поступь, движенья ее медленны и как-то по-коровьему неуклюжи. Когда Вера недовольна, голос ее пронзительный, частый как сорочий крик, наполняет комнату, вырывается на улицу, и любопытные кумушки чешут языки: «у Мокиных опять перепалка». О том, что ~~то~~ разойтись с Верой, военному как-то не было времени подумать. А между тем жена была верной ему, держала себя строго. Строга она была и в редкие минуты физической близости: ее тяжелое, мясистое лицо как-то тупо и рьяно важнело—она выполняла главнейшую женскую обязанность. Разговоры ее за всю их совместную жизнь не изменились ни в каком отношении:—«Есть хочешь?»—«Суп у меня нынче с капустой».—«Самовар, что ли, поставить?»—«Надо опять белье чинить»... словом, несколько десятков фраз, всегда предвиденных, как пыль летом. О том, что волосы его, Мокина, из черных стали сивыми, что жизнь уже идет к концу, Вера никогда не жалела, да этого, конечно, у ней и в мыслях-то не было. Грязного носового платка тоже, наверное бы, не заметила. Глазами светиться и греть Вера уже и вовсе не умела, да и не знала про такое свойство человеческого взгляда. Тут же вдруг Мокин подумал, почему в жизни люди так различны, что даже обидно: разве жена Вера не выходила его два раза от смерти, когда он сильно болел, разве не была она ему верна и неизменна? Но почему это нечем вспомнить эту их более чем двадцатилетнюю жизнь?

Опять хмыгнул, вспомнив голубую заводь и родственные ей девичьи глаза.

«Вот ведь... фигура тоже... без пропуска пролезла... больше этак нельзя...».

Тут же подумал, что жизнь бывает очень лукавой штукой: подбросит тебе под ноги пустяковину какую, а глядишь—определенная ловушка.

— Нет, без пропуска теперь шали-ишь, барышня, не пройдешь...

Мокин шел по дороге в село. На площади уже шла привычная, шумная, но строго-осмысленная жизнь. Две походные кухни исходили густым пахучим паром. Кашевар Пронька, белобрысый и краснорожий, величественно погружал длиннорукий ковш в жирное варево, наполняя гремучие очереди котелков. Звякая о края ковшом, грозно тянул рыжеусый свой рот:

— Кап-тёр! А-адна порсыя хлеба!

— Кап-тёр! Две порсыи!

— Кап-тёр! Порсыя!

— Шагай ширише! Не застаивайси-и! Чей черед? Ну?

Пронька был зол, важен, неприступен и священнодействовал: не одну ведь сотню человек надо накормить.

На низеньком фундаменте полуразрушенной кладбищенской оградки, вокруг церкви, а то и на ближних могилах, сидели красноармейцы с дымящимися котелками. Чавкали громко и сочно, блаженно глотали, веселили, бодрели, тела с каждой минутой вновь наливались силой. Деревянные ложки, перестукиваясь о медные стенки посуды, рождали веселую звуковую суету, в ней было даже что-то песенное. Дальше, к желтым опалинам осенних лугов за околицей шли островерхие бурые гряды палаток—уже возник легкий брезентовый город, который эти сотни рук могут снять и нарушить в пять минут. Между рядами палаток двигались, разминались люди, некоторые, уже пообедавшие, лежали на траве, подняв полусонные лица вверх к успокоенному погожему небу. Кое-кто, напевая или насвистывая, чистили винтовки. Многие уже расстелили на коленях штаны и рубахи, по-мужски размашисто орудуя иглой. От реки шел плещущийся шум, шлепки по мокрому, раскатистый хохот.

Молоденький командир, совсем недавно с военных курсов, пылая румянцем сквозь рыжую облепиху веснушек, торопливо рапортовал:

— Я скомандовал «отдых», товарищ военком. Происшествий нет. Часть товарищей-красноармейцев купаются, а то еще занимаются сгиркой.

Военком глянул на его пыльные сапоги и край грязной пропелой рубашки под толстой гимнастеркой, почуял к молоденькому что-то теплое, отцовское и кивнул:

— Тебе тоже поплескаться советую, товарищ Осинцев.

Подошел Бугай, уже мокроволосый, щурый, босой.

— Ну что, как? Обедал?.. Ну вот... иди, смотри, как я коня тебе устроил от палатки недалечко.

Дошли. Мокин похвалил.

— Хорошо, все ладно.

Бугай, прикурив и пыхая махоркой, сказал немного другим голосом:

— Туда... к Вырыпаевым-то ребят уже послали самых хороших... Чтоб никого ни туда, ни оттуда...

Мокин откашлялся и сказал торопливо:

— Да, да... ясное дело, таких и надо. Там я обещал пропуск дать... девица одна, вернее, прямо девчонка... невеста, понимаешь, этого Вырыпаева-то... Ну, ходит ухаживать за ним. Очень просила, я обещал.

Бугай подвигал плечами и, задрав вверх курносое лицо, выпустил дым открытым ртом.

— Не больно бы они к нашему брату невест допускали, я думаю... Но, впрочем, дело твое...

Мокин, будто успокоился, решительно нахмурил свои густые широкие брови.

— Да уж мы эту компанию с глаз не спустим. Я сам буду на поверку ходить.

Бугай, с какой-то будто игрой вялостью, цедил сквозь зубы:

— Э, взвалил себе лишнюю заботу. Взять бы такого сюда, отдельно бы поместить, караулить бы его на-ять... Потом бы сведения какие с него взять, а потом бы и приговор... расстреляли бы — и кончено. Чай этакий отчаянный вражище сам знает, что по-суху от нас не отвертеться.

— Нельзя же,—сдерживая сухость в голосе,—сказал Мокин,—человека в сорок градусов на расстрел вести? С этим делом недолго...

— Я и не сказал, что сейчас,—поддергивая штаны, хмыкнул Бугай.

Присадисто покачиваясь, отошел, успев бросить:

— Я знаю, что говорю.

Он говорил как раз то же самое, чему возражал военком в своих думах—он хорошо знал Бугая.

Вечером Мокин пошел на поверку.

Дом был почти темен. Светилось на углу пол-окна, там бушевал бесплотный мир врага. Два ближних к крыльцу окна тоже светились. От клумб несло острой сладостью поздних левкоев. Над заводью недвижимо и высоко стояла луна. Белоснежная лодка застыла в серебряно-черной воде. Негромкий разговор часовых не нарушал этой лунной тишины.

— Сторожите, ребята? Не скучно, а?—шутливо спросил Мокин.

— Да что ж, товарищ военком, тут даже приятно,—отвечал чей-то бойкий голос.—Отродясь цветов так близко не нюхал... Опять же луна нажаривает всюю...

Другой добавил:

— Где-то и соловей с соловьихой перекликаются.

Остальные сдержанно рассмеялись. Мокин почувствовал какую-то разгрузку от сегодняшнего недовольства собой. Оказывается, не только он, седой, поживший уж на свете, испытывает эту жажду хоть ненадолго поглубже отдохнуть, но и эти молодые, полные сил люди.

Еще в темноте передней услышал надрывной плач, перемешанный, как видно, жаркими вздохами. Без труда представил себе большие глаза, потускневшие под ливнями слез. Действительно, плакала дневная знакомка, уронив голову на черные зеркала рояля.

Обернулась на неловкий военкомовский кашель и начала сразу, будто только что говорила с ним:

— Сегодня ему даже хуже... Он стал прямо ломиться в окно... исцарапал даже мне руки... вот смотрите...

Протянула вперед руки. Тонкие, как свечки, пальцы и ладони перекрестило глубокими красными царапинами от дикой силы мужских ногтей.

— Подумать только... до чего он изменился... даже страшно становится...

Она закрыла лицо своими исцарапанными руками и тихонько закачалась в кресле.

Вышел, шаркая ногами, Вырыпаев. Печально ослабился.

— А-а... господин военком... то-есть... нет... гражда... товарищ... ой, спутал... стар я, зажился на свете... по-нынешнему говорить не умею.

— Ладно,—отмахнулся Мокин,—вы лучше проведите меня туда... проверить надо.

— Пожалуйста, пожалуйста,—засуетился старик.

В коридорчике на стене оплывающе горела свеча, воткнутая в серое от пыли витое бра. Пахло чем-то ушедшим, бесплотным.

Больной спал, распластав по постели длинные руки. Рубашка расстегнулась, и темножелтая, как многолетний воск, голая грудь подымалась высоко, изнемогая в гиблом жару. Его крупные, очень прямые зубы оскалились сплошной стенкой какого-то страшного молочного цвета. На белизне свежего белья этот высокий человек был как-то особенно жуток и беспомощен.

— Так,—сказал Мокин, запирая дверь.

Старик зашваркал рядом.

— Боже мой, что значит человек?.. «Цвет полевой... дохнула буря и нет его»... Так сказал царь Давид... До чего Пьер был красив... ах! Они были такой очаровательной парочкой с Ниной... Их называли Геркулес и Психея... У бедной девочки одни глаза остались... еще бы... такая тоска у ней... Они же безумно любили друг друга...

Охваченный горестной старческой болтливостью он, казалось, забыл о своем необычном собеседнике.

— А понимаете, в характерах у них ни-ка-кого решительного сходства... Но их любовь... так... так прекрасна... Пьер ей, бывало, скажет: «укротительница ты моя!».

— Н-да-а, действительно,—сквозь зубы сказал Мокин.

Старик вдруг нахохлился и замолчал.

В дверях с ними столкнулась голубоглазая. У нее было лицо человека, вспомнившего вдруг про страшное. Она схватила Мокина за рукав и потянула за собой.

— Неужели это правда... неужели... Когда Пьер выздоровеет, вы... вы... его арестуете... да? да?

Мокин сказал кратко, мимо ее лица:

— Да.

Шевельнул плечами, чтобы освободиться из ее рук, но она ухватилась еще крепче и с отчаянным упорством искала его взгляд, доискивалась до самой его глубины.

— Значит... вы злой, ужасный человек? Значит... Пьер выздоровеет только для того, чтобы вы его... ра... расстре...

Она не договорила и забилась, высоко всхлипывая, на военкомовском плече.. Ее жаркое, смутное дыхание показалось крохотным, как у воробья. Мокин, стараясь быть ловчее и мягче, испуганно отрывал ее цепкие пальцы со своего плеча.

— Чего же плакать-то?.. Ну... Это ведь не от меня зависит..

Она отбросилась назад вся дрожащая, в ливнях слез.

— Как не от вас?.. Да ведь вы же тут главный... и вы же будете его...

Вдруг приникла мокрым жарким лицом к его плечу.

— Слушайте... я велю ему во всем, во всем покаяться... Вы его закуйте в кандалы... отправьте в тюрьму... а я поеду с ним вместе... Уверяю вас... я не без пользы там буду... Не верите?.. Я все буду делать, только бы он был жив... стирать на всех, шить, чинить... ухаживать за больными, читать им... я согласна два часочка в день спать... у меня силы хватит... О, скажите хоть что-нибудь...

Старик, яростно мигая Мокину, обнял девушку и зашамкал успокоительно:

— Ниночка, дорогая... все уладится как-нибудь, дитя мое... Военный комиссар сейчас улыбнулся... Видишь?

Мокин, подтолкнутый под локоть, насильно развел губы. Старик вытирал девичье лицо, оправлял волосы и затоплял ее своей нарочито веселой скороговоркой.

— Он же мне сейчас сказал, что Пьера будут только судить... а я не успел еще тебя этим порадовать... Пьера посадят на такой долгий срок, какой только есть по советским законам... Это ведь... двадцать пять лет, кажется?

— Да,— хрипло сказал военком. Старик мог назначить и сто лет, он бы не смог опровергнуть — большая сумятица пошла в мыслях: история выходит, Бугай был прав.

— Ну, вот, видишь, Ниночка... при вашей обоих молодости это не так страшно...

Голубые глаза уже блеснули еще ярче, будто умытые.

— А ведь и правда... Когда мы с Пьером выйдем на свободу, мы будем еще не такие старые... ему будет... пятьдесят два, а мне...

Считала скороговоркой:

— Скоро... через полгода—девятнадцать... Ну, значит... мне будет сорок четыре... Ха-ха-ха... Я еще, может быть, не успею даже поседеть...

Метнулась с места, схватилась опять за военкомовское плечо, легкая, голосистая, как радужноперая птица из теплых стран.

— Милый военком... милый... Ну, сделайте так... ну, что вам стоит? Ведь всего один раз'един человек... большое ли это дело-о... а?.. Знаете, у меня отца давно нет, только мама старенькая... я бы вас за это... звала бы папой... Не по притворству, а по-настоящему... честное слово!.. И волосы бы ваши седенькие ка-аждый бы денечек причесывала, чтобы лежали они гладенько... вот так...

И теплое, легкое, как крыло, коснулось сивых жестких волос.

— Ну... уже вы, право... — неловко затоптался ошеломленный Мокин, но она уже вела его к дивану, торопливо совала за спину подушки, хлопотала, лучисто подмигивала.

— Сейчас я для вас сыграю... Сидите, пожалуйста...

В этом хрупком теле был неисчерпаемый запас силы, чтобы бросаться навстречу грохочущему миру. Она знала одно — крохотное,

воробьиное зерно своей любви, за которую она подставляла безбоязненно свою грудь.

Лампу поставили на рояль.

Казалось, чудом стоит тут спокойно высокое стекло, наполненное керосином—рояль, вздыхая, стонал, смеялся, рокотал, пел. Удивительнейшая жизнь бушевала в черных глянцевых досках длинного ящика. Сказочный зверь, расставив резвые ноги, весь светясь глянцевитой драгоценной шерстью, победительно ощерил бело-черные свои зубы, широко раскрыл огромную звончатую пасть...

Военком раз или два за всю жизнь слышал рояль, но мимоходом.

Теперь, растерянный, оглушенный бурей звуков, поражался их власти над человеком.

— Это она играет «Путешествие на Гарц»..., немецкий поэт Гейне... музыка вот на это составлена немецким же композитором...— надоедливо хрипел над ухом старик.—Спой, Ниночка, вот это место... какая музыка, послушайте...

Черный, чудесный зверь на миг затих... и рассыпался дробными звонами, серебряными разливами. Девичий голос стлался бархатом, окутывая, льнул, умягчал что-то в неведомой глубине сердца, забирался далеко за толстое военное сукно.

На горе стоит избушка,
В ней живет старик седой.
Там шумят ветвями ели,
Блещет месяц золотой.

Посреди избушки кресло,
В нем резные все края.
Кто сидит на нем, тот счастлив,
А счастливец этот—я...

Мокину этакое слово в первый раз, кажется, попало на дороге и подошло вплотную. «Счастливец»... Про каких это людей поется?

И вдруг Мокин вспомнил, что ничего из его жизни не подходит к этакому слову. Он ничего не мог вспомнить, о чем вот так можно было спеть. У них с Верой было только двое детей: сын и дочь. Сын, как и отец, вышел токарем по металлу. Оба работали на одном заводе, рядом станки стояли. Оба же потом вместе взяли винтовки и защищали Совет от юнкеров. Сын погиб в первых же боях гражданской войны. Дочь, золотушная, вертлявая, замужем за счетоводом. Она всегда жалуется, всегда что-нибудь выпрашивает. Давно сердится на отца, почему он не устроит ее мужа в губпродком. Ее высокие каблуки всегда стоптаны, под мышками у ней большие темные, очень противные пятна от пота. Одевается она пестро, нарядно и некрасиво. Завистлива, скупа, любит, чтобы ее звали «барыней». Иногда Мокину кажется, что это просто какая-то надоедливая, совсем чужая женщина. И она после его, Мокина, останется в мире со своими худосочными озорниками—ребятами, и то, что делает он, Мокин, им непонятно и чуждо.

Голубые глаза отражали в себе огонь лампы и будто зажигали сами отверстую певучую пасть чудного зверя. Он подавал теперь грозные, вздымающиеся к высотам голоса. Мокин, чуя то морозный, то жаркий зуд в спине, вспомнил, как шла пальба около Совета и как тогда он, Мокин, почувал жизнь, узнал, что он тоже нужен и открыл в себе диковинные силы.

— Ну... как? Понравилось?

Военкому казалось, что комната все еще звучит. Он глядел мутно и забывчиво в весело вопрошающие глаза.

— Что?.. А...

Рядом запело колокольцами голубое, белое... Тончайшей меднистой стрункой струились с плеча волосы—так любо было в молодые годы видеть звонкий металлопоток со станка, когда с каждым днем все увереннее становился в работе.

— Я вас оглушила? Да? А... ха... ха... Слушайте, милый, седой военком, вам теперь я каждый вечер буду играть, пока... пока вы нас с Пьером не посадите в тюрьму!

Когда Мокин вышел, часовые стройно вытянулись, приклады винтовок дружно пристукнули.

Мокин молчаливо приветственно кивнул им, чувствуя, как лоб его давит какая-то жгучая тяжесть, будто стоишь против большого огня. Что-то в себе самом не вязалось с этими внимательными лицами, с белым блеском винтовок, а ведь это был родной, привычный мир. Луна уже стояла над домом, заводь еле взблескивала, сумрачная, глухая, с мутным пятном лодки.

«Сколько же, однако, времени я у них пробыл?—чего-то стыдась, думал Мокин.—Ребята, наверное, удивились... Эх, мол, распустил уши военком... А впрочем... что ж, не человек я, что ли?»

Доцветали последние розовые кусты, мерзли и замирали. Мокин вдыхал этот вяло-сладкий ночной воздух и вышагивал крупно, проверяя свои думы на ходу.

Вспомнил улицу в родном городе. Пыль, грязь, унылые обшарканные дома. Вспомнил и себя, вихрастого черномазого мальчишку, хриплые вздохи гармонии, летучие свои думы... Может быть... вот об этаким голубом человеческом существе он думал тогда, ожидая, что даст ему жизнь... И... и... худо ли, встреча такое на земле, хоть и при седых волосах, полюбоваться, сердце погреть... Нельзя же ведь сердце это самое всегда как запертое держать. Можно же хоть немного заклепки ослабить... да и потом неужели он, Мокин, с этакой малиновкой воюет?

— Малиновка... гм... певчая птица...—вспомнил жуткое свое ребячье горе. Была у него малиновка в самодельной клетке, и сцапала малиновку кошка. Он бил кошку с громким ревом, а кошка спокойно облизывалась.

В темноте у своей палатки Мокин наткнулся на Бугая.

— Ты... что?

— Тебя ожидаю. Может, ужин тебе согреть? Устал, поди.

Глухо совестясь, Мокин сказал ласково:

— Ладно, Бугаюшка, если не трудно.

Фронт велено было пока удерживать на определенной линии. Военком с Осинцевым сидел за картой, когда в палатку вошел Бугай с чайником кипятку.

— Стоим, значит, товарищ Мокин?

— Стоим, Бугай. Отдохнем маленько.

— Надолго ль?—раздумчиво топыря губы, спросил опять Бугай.

— Дней на десяток будет, возможно...

Бугай заварил чай и хитро подмигнул:

— Этак, пожалуй, нам и судьба вырыпаевского фронта выходит, да и в расход пустить, душу успокоить. Как думаешь, дорогой товарищ Мокин?

— Чудак... так же, как и все об этом предмете.

Показалось, что Бугай смотрит испытующе, и опять знакомое недовольство собой камнем заворчалось в груди.

Шестой уже день ходил военком на поверку в вырыпаевский дом. И утром, и вечером его встречала Нина. Он понимал, что она хитрит, не хочет показываться на крыльце перед часовыми. Как-то шутливо сказал ей об этом. Она серьезно нахмурилась, и глаза сразу посинели, стали взрослее.

— А я это из-за вас. Когда один человек распоряжается и указывает многим людям, они всегда к нему куда строже, чем к самим себе.

Из душной полутьмы тифозной комнаты хотелось уйти скорее. Два раза Мокин вызывал полкового врача, который обнадежил, что больной поправится.

— А вы нам сухую комнату дадите... в тюрьме? — деловито допрашивала Нина. — Смотрите, ведь двадцать пять лет надо нам с Пьером там прожить.

Мокин внутренне жалостно поежился.—Эх ты... малиновка...

Вслух отшучивался:

— Да вам-то за какие грехи сидеть?

Она сказала с молитвенным упрямством:

— Где он, там и я. Жить без него не буду... Не верите?

Ее губы вдруг побледнели, а в глазах настаивалась грозящая синева.

— Если бы с Пьером что случилось, я бы тут же... прямо на ваших глазах... ножом бы себе... вот сюда... или бы утопилась...

— Вода теперь холодная,—подразнил военком.

Она сводила брови к пряменькому носу.

— Ничего... я бы не испугалась!

К ней появилось у военкома какое-то бессознательное умиленное чувство.

Он знал, что ее защита все равно бесполезна, но ее упорство, стойкая веселость, серьезная доверчивость возбуждали неустанно какое-то нежное жалостное удивление.

Через неделю военком уже должен был сознаться самому себе, что дело с кавалеристом Вырыпаевым куда проще, чем с ней.

— Надо будет обмануть ее похитрее, чтобы полегче как-нибудь для нее сошло,—раздумывал он, идя по аллее на утреннюю поверку. К дому теперь подходил, как к привычному месту и даже испытывал какое-то свежее удовольствие. Будто в душе чьи-то ласковые, умелые руки сгладили какую-то остроту.

Нина встретила его новостью:

— Ему лучше!.. Температура почти нормальная... Он трюлько что заснул... Господи, как я рада...

— Так, так,—кивнул Мокин, подумав: «дело, значит, идет к развязке».

— Куда вы?—преградила она дорогу, и вдруг задрожала крупной отрывистой дрожью как береза под топором.—Голубчик, миленький, не ходите туда... умоляю... Не показывайтесь Пете... Он испугается... Он только еще пришел в сознание. Там у него сейчас отец... Дайте ему сейчас подняться, окрепнуть...

Приседала, сгибая ноги, вся дрожала, губы пересыхали.

— Военком, голубчик, на колени перед вами встану, а к Пете... н... не пущу... Он увидит вас, испугается... будет скверно... не пущу...

Вследила на его лице решительную мрачную складку и решила уступить:

— В щелочку можете проверить. Военкомушка, согласитесь — в щелочку посмотреть?.. Ну, хороший... ну, милый... в щелочку, а?

Щелка в двери была низко, и пришлось нагибаться. Военком подбирал руками грузнеющий свой живот, дышать было трудно. Щурясь одним глазом, увидел край постели, бледную голову с потными свалывшимися волосами. Лицо молодого Вырыпаева было спокойное, спящее. Видно было лиловое плечо и умиленно дергающаяся щека старика — велико блаженство возвращения к жизни.

— Старик наш прямо, кажется, тает от радости,—шептала Нина. Глаза ее виновато лучились.—Военкомушка, вы не сердитесь на меня? Нет?.. Ну, посмотрите прямо... в глаза... ну...

Откуда это столько солнца и тепла в одном человеке? И никуда ведь не уйдешь—сияет заводь голубая, малой певучей бурей кипит, дохлестывает до души наперекор всему.

— Да ладно уж... допустим, что не сержусь.

— Правда?.. А-ах, военкомушка вы мой, сивые усы... до чего у меня душа болит...

Усадила опять, сама на полу, локти к нему, Мокину, на колени.

— И что это с людьми сделалось? Пьер у белых, шел на вас... а вы на Пьера... и так все друг против друга... все озлобились, как звери... неужели нельзя сговориться?

— Нельзя,—улыбнулся, как ребенку, Мокин. Ее плечо дышало возле его колена. Ее длинные пологие брови напряженно задвигались на бледном лбу.

— Землю надо отдать крестьянам? Да? У нас с мамой, кажется, сто десятин... Я скажу ей сегодня же, пусть отдаст... Одним огородом даже можно прожить. Вот и просто... И пусть все так сделают, нечего жадничать на деньги. Вот бы и кончилось все...

— Это для вас бы просто,—усмехнулся Мокин.

— Но как жить... как дальше жить, если все люди враги?.. Часовые у крыльца так смотрят на меня сурово, жестоко... а я им вот столечко даже зла не желаю...

Отмерила на мизинце крохотный кончик, и глаза посинели от тоски. Мокин подумал почему-то о шумном кружении маховика и былинке, сорванной его ветром.

Вдруг ясно, ощутительно торкнулось сердце — захотелось взять ее на руки, прикрыть ладонью испуганные глаза и унести куда-то в тишайшую глубину, сохранить ее, как драгоценное зерно, до лучшей поры.

— По-моему... люди просто не хотят сговориться... Вот мы же с вами... Неужели и вы мне... враг?

Губы ее дрогнули. Опять захотелось прикрыть ее ладонью.

Пальцы вдруг очутились в теплой, нежнейшей путанице ее волос, не стало сил отнять руку.

— Н...нет... я вам... не враг... я...

Гремел и горел мир... и вот налет—легкая, яблочно-цветущая планета... И вот свирель звонче грома.

— Милый вы... добрый... господи боже мой... сивые эти волосы... а на лбу морщинки... мно-о-го... вот я их как поцелую...

— А-а... ну-у... ладно...—жарко задыхаясь, рознял Мокин ее руки вокруг своей шеи. Сердце колотилось, глаза ни на чем не могли остановиться. Встал бессильный сдерживать дрожь, ища фуражку. Нина сама надела ее. Опять лучилась, слепила сиянием голубизна.

— Я... сумасшедшая... вы думаете, военкомуска?.. Просто как-то вот тут... в душе стало так полно, полнехонько...

Мокин шел по аллее, вытирая испарину, хотя погожий день был прохладен. Никогда в жизни не испытал того, что было сейчас... Как несправедливую тяжесть чувствовал он свои пятьдесят лет, свое грузное тело, седые виски. Он знал, что на него мимоходом выплеснуло несколько горячих брызг из чужой, переполненной чаши. Но теплота подступала к горлу, ширилась, проникала в кровь. Кровь убыстряла бег, будто зажженная огненными живчиками. Военкому стало жарко. Расстегнулся и, сняв фуражку, начал обмахивать ею пылающий лоб. И—вдруг возле дороги будто вырос Бугай.

— Ты... как сюда попал?

Бугай пожевал травинку и спокойно отплюнулся.

— Гулять ходил... пойду, думаю, встречу Мокина.

— Далеко ли был?

Бугай подумал, перетянул пояс и ответил неспешно:

— Да... по лужкам прошелся.

— А-а,— военком почему-то успокоился, хотя частое Бугаево швыркание носом не совсем нравилось: это означало—у Бугая глубокое и решительное раздумье.

Бугай пошел рядом, присадисто раскачиваясь и посвистывая сквозь зубы.

— Выздоровливает, говорят?

— Да, да...—заторопился Мокин,—выздоровливает.

— Видел, что ли?

— Д...да... видел.

— Ну что, как он на тебя глянул?

— Да я... не близко подходил,—замаялся Мокин, тут же досадуя на себя за неловкий этот тон и хрипоту в голосе.

— Не близко? Это как же так?—фыркнул Бугай. Его узкие серые глаза открыто смеялись и выпытывали.—Что ж... в щелочку, что ли, ты глядел? А?

Военком отвернулся, будто поправляя шашку.

— Н-ну... скажешь тоже.

Бугай опять засвистал.

— То-то... я шутнул—не похоже этакое дело на тебя.

Военком с Осинцевым кончали просмотр завхозовских ведомостей и записей. Мокин требовал их каждый месяц—любил знать все дела своего полка.

— Бугай что-то опять рассказывает,—принимая от Мокина последние просмотренные листки, улыбнулся Осинцев.—Любопытный он человек—Бугай, философствует все... Ребята его любят, товарищ он хороший...

— Да, Бугай парень ладный. Весь поход мы с ним вместе.

Осинцев ушел. Военком хотел было выйти из палатки на свежий воздух, но остановился в проходе, не желая нарушать оживления в круге беседующих. Бугай сидел спиной к нему, видно была только его большая щека, медно-рыжая от света костра.

Бугай отвечал кому-то.

— Ты говоришь: одно, мол, дело работа, а другое, мол, дело человек сам по себе. Враки, враки...

— Нет, ты это зря,—гудел чей-то раздумчивый голос,—сам вот я, один-одинешенек, свободен.

Бугай азартно шлепнул по колену ладонью.

— А вот и опять врешь! Не свободен человек, ни-к-ак не свободен и нельзя ему таким быть!.. Мир-то, братец мой, колотый, как полено.. или как в роде арбуз, на куски разрезанный, а не срастись

этим кускам... А люди, брат, все по мастям живут: кто в прикуп, кто со счета долой, в кучу, а кто в козырях... Подайвай нам козырные места!.. Нет, мол, шалишь, наши они, испокон веку... Ан нет! Плевать нам на испокон-век...

Кругом засмеялись.

— Ишь, как разохотило тебя!..

— Ха. Разве ж я из-себя только?—высокомерно дернул ершистой головой Бугай.—Про свой один ртище начнешь думать, куска, пожалуй, не вытянешь.

— Из-за людей маемся,—сухим, однозвучным голосом, как уже что-то давно привычное, сказал плоскогрудый красноармеец с высокой жилистой шеей.—Я спервоначалу крови страсть как боялся...

— А как понял, что не беспричинна она, так и легче стало... верно?—подхватил Бугай.—Эх, товарищи—друзья-я... Уж и смирен же я был прежде... а-ах! Чисто теля и теля... Сад у меня был фрухтовый; только, бывало, яблоки да вишня на уме... Вдруг помри жена... Затосковал я без нее... а-ах, душа вон! Сад мой чего-то хиреть начал, продал я его первому попавшему, а сам пошел тоску развеивать...

Он говорил, ероша короткими пальцами и без того торкастые свои волосы и покачиваясь в такт своим словам, медлительным и четким. Кругом притихли, заслушавшись Бугаева голоса, необычного, хорошей басовитой густоты.

— Д-да... вот и пошел я колесить, вот и поше-о-ол!.. Людей перевидал-ал!.. сказать невозможно!.. И сосчитать нельзя, сколько зашибленного тут народу... не то что под лошадь бы они попали все, а нет — жизнь измучила... И еще увидел я, друзья, как из-за хлеба люди по-звериному дерутся... и еще увидал, на что сытый да умный человек бывает способен... э-эх, не рассказать всего. Через человека я о саде своем тосковать перестал — сколь людей вовсе и веточки над собой не видывали! Через людей я и мирность свою потерял...

Он вдруг встал, вытянув к огню короткопалые волосатые руки. Он будто выше стал ростом, забывались его кривые ноги.

— Потерял я мирность... Когда в семнадцатом пушки забахали, понял я так: э-эх, кровавая может быть дорога человека... а спроси его: к кому одному питаешь злобу? Чего для себя хочешь?—Не ответит... Спроси меня: чего, мол, надо тебе, Бугай?.. Ни шиша богова не надо, а хаживал — руки по-локоть в крови. И потерял свободу свою — и не жаль... Слышь, голова?

Он кивнул куда-то в рыжую полутьму, наверно, первому спорщику.

Мокин неслышно повернулся и ушел к себе. В прорезное окошечко в задней стене увидал небо, холодное, черное с редкими сонными звездами.

Мокин снял сапоги и, разминаясь на земляном полу, подумал твердо и уверенно:

— А ведь это он для меня говорил...

Тут же пришел стыд, большой жалкий стыд. В темноте отдался мучительной этой щекотке в каждой думе. Казалось, он, Андрей Мокин, забыл начисто то, о чем помнят другие все, вот и этот немолодой, жилистый красноармеец, чьей фамилии он не знает. Он, Андрей Мокин, кому всегда и заслуженно удача в обходе и прорывах врага, — он четвертый день в... дверную щелку проверяет врага, ротмистра Вырыпаева. Сегодня ротмистр в туфлях на босу ногу, в синих штанах с желтыми кантами, сидел уже в кресле и ел куриный бульон, жадно макая в чашку сухарики. В запавшие его глаза возвращался блеск, круглые брови смешно дергались. Карий его взгляд как-то обновленно и пытливо оглядывал комнату. Руки его скоро задрожали от усталости, и он протянул чашку отцу, а сам вытянулся, наслаждаясь своей сонливой слабостью. Он был близко, как никогда, оголтелый и злой порубщик красноармейских голов. Он затихал в блаженном забытьи, дыша глубоко освобожденной от жара голой грудью. Как раз сюда метко взлетают раскаленные свинцовые зерна, смертельный посев. В нагане военкома семь пуль в круглом барабанчике лежали смиренно, как отставленные ребячьи игрушки. А сам он, военком, отходил уже от сторожевой своей щелки, плененный крохотными крыльями радужной птицы.

— А если бы меня вдруг кто из ребят... увидал?.. А... Вот бы было делов!... — шептал он одними губами, смотря в далекую пустоту неба.

Оно было черно и холодно, как черна и холодна сейчас заводь с мутной скорлупкой лодки.

— Да...—тяжело шагая в темноте, беззвучно шептал военком.— Да... хватит, видно, с тебя... сивый красавец... надо дело делать... да...

Но сердце оказалось о двух половинках: одна — решала, рождая послушно вычеканенные мысли, другая — липко обливалась кровью, трепетала, сжималась, молила тонким дряблым криком: «а как же с ней-то... с ней-то что придумать?..»

Вошел Бугай, чиркнул спичкой, зажег фонарик, пошарил что-то на своей койке.

— Ты что раздумался, товарищ Мокин, дорогой наш военком?

С ним вместе вошло что-то требовательное, и это было больше стыда.

Мокин сказал глухо:

— Завтра к ночи арестуем Вырыпаева...

Бугай, морща нос, снимал с разбухших за день ног сапоги.

— Почему же ночью, военком? Отчего не утром?

— Да... видишь ли... ночью-то... оно... лучше...

Бугай сунул сапоги под койку и спокойно мигнул:

— А... это из-за той пиголицы голубоглазой?.. Знаю, знаю!..

Военкому вдруг стало ясно, что Бугай знает все.

— По моему... знаешь что?

— Что, Бугай?

— Не тяни ты волюнку, военком. Будет, ей-бо... Надо в иных случаях сердце-то прибирать подале, да ка-ак резануть... ср-разу... А - ах - х!

Военком, будто не слушая, лег, скрипя койкой.

— Вот завтра в штаб с'езжу, к ночи буду здесь...

Боясь, что Бугай еще будет говорить, продолжал тоном распоряжений:

— Придется охрану Вырыпаева поручить Осинцеву, остальные-то командиры беспартийные, а это дело ответственное.

— Конечно. Правильно — верно.

— А Осинцев парнишка все-таки зеленый, неопытный. Ты уж как-нибудь помоги ему... укажи так, чтобы незаметно, конечно, выходило. Работу в чем-нибудь поделить можете...

— Ладно. Будь спокоен.

Из штаба Мокин вернулся раньше десяти. Бугай, глядя потные лошадиные бока и рассматривая какой-то непорядок в седле, сказал очень мирно:

— Пристал ты, товарищ военком, ляг, отдохни. До ночи-то еще далеко.

— А что ж... в самом деле, не заснуть ли?

Показалось, что Бугай и все, что чувствовалось за ним, перестали уже требовать и судить, и он, Мокин, старый, уставший человек, ничего плохого не сделает, если заснет.

— Я на часок - полтора прикорну. Сам даже, наверное, встану.

— Ладно. Отдыхай.

Разбудило Мокина яростное встряхивание.

— Товарищ военком... военком...

Первой мыслью было:

— Проспал!

В полуоткрытом проходе виднелось мутное предутреннее небо. Бугай тряс военкома за плечо.

— Беда!.. Убежали... Вырыпаевы-ы!

— Что?!

Земля зашаталась под Мокиным. Морозным зудом будто подняло волосы на голове. На миг отупел, оглох.

— Как?.. Кто?!

— Кто?!—Бугай дико совал ему в руки сапоги.—Вырыпаевы ж!.. Все как есть удрали... Пошел я проверять... душа была беспокойна... гляжу... в доме пусто...

Мокин налетел на него, чуть не сшибая с ног. Голова была не своя — буревой комок гнева и ужаса.

— Ты... ты... что... Прозевал? Проморгали, сволочи?!

Бугай, потирая ушибленное железным мокинским кулаком плечо, вдруг захрипел грозным шопотом:

— Молчи, военком! Кто первый-то зевал?.. Не срамись, с себя спрашивай... Догонять надо, вот что... Лошади не расседланы... Айда!

— Айда! — схватил фуражку Мокин. Сразу охладела, прояснившись, голова.

Переметывая ногу через седло, в краткий миг понял: произошло что-то страшное, невыразимо позорное, жизни не стало видать под этим густым, как сажа, пятном. Ледяное спокойствие ужаса налило бесчувственной упругостью ноги, впившиеся в стремяна.

Бугай скакал рядом, шумно дыша.

— Ничего, военком... Далеко им не удрать... все едино... Против течения плыть, а по середине реки крутит так... что ой-ой, всех святых соберешь... Далеко им не уплыть!

Мокин, недвижно впившись в стремяна, выкрикнул ненавистные, как ловушка, слова:

— Значит, через заводь уплыли?.. Через заводь?.. Ха... Догоним, товарищи!

— Наше будет! — гикнул Бугай. Залихватски подкинулся на седле и призывно взмахнул руками: — Э-хх... Не горюй, товарищ Мокин дорогой!.. Достанем... Э-хх... Там ребята уже скачут, лодки готовы... Хошь бы мертвыми, а место им найдем... Верно?

— Верно! — жарко выдохнул Мокин и дал шпоры умному тонконогому коню. Ужас растекался по телу, морозными мельчайшими иглами проникал в кровь, и она, ядрено-свежая, билась в висках, прилиwała к щекам как у молодого. Мил был и молодой конек, жаркая крутизна его боков, горячий косящий глаз. Мокин выкрикнул прямо в чуткое острое его ухо:

— Ходче! Эй... ходче!

— Любо! — возбужденно кинул Бугай, догоняя военкома.

Мокрую после дождя аллею прохватили одним духом. На площадку перед домом кони примчались со взмокшими боками. Под расцветающим небом, на холодном ветру, в липких гниющих осоках большим пузырем вздулась заводь. Белой лодки на ней не было.

Мокин остервенело дернул плечами — ненавистна была эта глухая ворожба водной закуты. Светлая тень мелькнула — было — и сгасла, не выдержав ветра.

Вокруг дома суетились красноармейцы.

— Лодки! — на лету, по-молодому прыгнул на землю военком. — Пять лодок, по пять человек, запасные весла!

— Есть! — лихо откликнулись у берега. — Даже больше, товарищ военком!

— Идет! — во всю грудь гаркнул военком. Обогнул парой широчайших шагов ворожейный осоковый загиб с пристанькой и вышел за дом.

Тут на воде осок почти не было. Воду рябило черноватыми пятнами. Вода же серела, тусклая, будто подернутая пылью.

— В лодки.— Легко вскочил военком.— Двое на веслах, один у руля, двое стрелков.

Он командовал, как всегда в серьезные минуты, негромко и быстро чеканя слова. Слегка удивляясь, перехватил на себе восхищенный взгляд Бугая.

— Ну, айда... чего ты, Бугай?.. Мы все трое за стрелков.

— Идет! — Бугаю не сиделось на месте.— Верно, правильно, товарищ военком...

Гребцы хватили разом по воде—серота раздалась, под рулем, из-под весел забурлила бело-стальная пена.

— Ехать пока ближе к берегу. Слушать команду.

Военком сел ближе к рулю, всматриваясь вдаль. Вправо чернела запруда и высокие крыши мельницы. Лодки сзади скользили ровно, скоро, как дружные речные птицы.

После поворота в реку военком скомандовал:

— Четыре лодки вперед — наперерез беглым! Ходче, товарищи! Ходче!..

— Е-есть!—и весла чаще захлестали по воде.

На небе выветляло, и уже тонко засинела впереди широкая полоса реки. Военком наводил бинокль. Впереди чернелось и двигалось. Один—другой поворот винта—и лодка с тремя людьми уже ясна. Она двигалась как-то странно, суясь носом в стороны.

— Дай-кась мне! — с веселой мольбой подмигнул Бугай.— На секундушку дай.

Приставил бинокль к глазам и радостно гукнул.

— Водоверты!.. Вот они тут помаются-я!.. Это тебе, Вырыпаев — ротмистр, не кавалерия... Покосил наших головушек, пора ответ держать...

Военком все следил за лодкой впереди. Она все тыкалась носом и кружилась на месте.

— Разве тут этакими силенками сдвинешься?.. хо!.. — щурился вперед Бугай.

Осинцев был всех зорче, и первый без стекол увидал лодку.

— Им бы только сползти с этого места, к тому вон берегу повернуть стараются...

— Хо... Там дальше-то наша полоса совсем узенько идет, продраться думают... Только не пройдет номер... не-ет!

На лодке уже заметили погоню. Остроуглый черепок отчаянно вакрутился на месте.

— Не уйдешь, Вырыпаев, не уйдешь! — потирал ладони Бугай.

— Как это он смог убежать-то?.. ведь больной был?.. — спросил Осинцев.

Бугай спокойно нахмурился.

— Мы вот маху дали, в собственной постельке его оставили... а он воздоровел — и дра-ать!

— Он и на себя сваливает... Бугаюшко! — и военком вдруг почувствовал к Бугаю неиспытанную нежность. Впереди же в мятущейся скорлупке с тремя людьми скрывалась юркая, льнущая как осока, ложь, упорная, ядучая злоба. Казалось, скачет, вздымая копытами кровавые брызги, скачет конница ротмистра Вырыпаева с белыми черепами и косым крестом из костей на каждом рукаве. Ржут и фыркают лошадиные морды, и метит врубиться в звездные шлемы отточенная, голубая-голубая сталь.

Теперь все было на виду: четыре лодки скользнули попарно по обе стороны берегов, образуя подвижные ворота. Четыре лодки двигались навстречу — смыкался круг.

Военкому видны ясно и близко все три лица. Голубые глаза будто глядели прямо в стекла, но ничего не осталось от голубой заводи — дикое, холодное сверканье сабельной стали, а перекошенные губы раздирает криком и проклятьем. Белый оскал зубов напоминает череп на рукавах вырыпаевской конницы.

— А-а... так-то лучше! — сказал военком одними губами и подал властный голос:

— Сдавайся, ротмистр Вырыпаев!

С лодки щелкнула багровая звезда. На соседней лодке охнул и повалился на-бок один из гребцов. Военком мельком глянул, как его заменил другой, и крикнул зычно, всей грудью:

— Задние лодки-и. Пли-и...

На корме встала во весь рост, распластала руки светловолосая, ненавидящая:

— Мерзав...цы!.. Негодяи-и...

Она закрывала собой высокого человека в синих штанах с желтым кантом.

И военком, чуя, как сердце обливается злой, кипучей кровью, вдруг чудодейственно собрал себя, все силы в один гибкий, крепкий узел — и направил дуло на белое платье.

— Эй... прочь!

Она взвизгнула:

— Подле-ец...

— А! — кивнул военком и, целясь в белое платье, нажал курок.

Было уже совсем светло, когда военком с Бугаем вернулись в свою палатку.

Бугай, смотря на ладони, усмехался:

— Ишь, от лопаты-то какую мозоль натер — больно земля тверда.

Бугай всех проворней копал могилу для двух покойников — молодого Вырыпаева и его невесты. Их похоронили на берегу. Старик Вырыпаев, раненый, пытался плыть и утонул.

Военком только сейчас почувствовал, как он устал, но устаток был благодатен, как дождь среди зноя.

— Все-таки не ушел от нас Вырыпаев... Ты что это... Бугай?

Бугай, глядя исподлобья, вдруг пересел на военкомову койку.

— Сердись — не сердись, военком, а взяло меня тогда горькое сумленье. Испугался я за тебя... не на своем месте ты очутился.

До боли крепко сжал руку Мокина.

— А теперь ты опять как надо. На весах живет человек, а ты их всех троих тяжелее, больше вешишь... Правду уж скажу, военком... Бегство-то их... это ведь все я подстроил... Следил я за тобой... И вижу — идет к тому, что увильнет от нас Вырыпаев... а ответ для тебя будет... у-ух как горек. Проруха не в тебе одном, а и всем нам. Вот как я это все видел и испугался — вдруг ты сорвешься... Но ничего, военком, рука у тебя хорошая, как надо.

Нужны ли были Бугаевы раз'яснения? Много и не было говорено.

Через пяток минут оба ровно храпели в блаженном освежающем сне, какой бывает после трудной, черной, но необходимой работы.

Котовский в Баварии

ОСИП КОЛЫЧЕВ

Никогда еще не был таким своенравным —
Февраль...
В эту зиму
и звезды, и люди горят по-иному...
Умирает сестра,
по ломбардам кочует рояль —
И последнюю простыню
мама выносит из дому...
Офицерская власть...
Обыватели жаждут чудес...
Город распродается...
За пуд золотой мамалыги
Бакалейные лавки
скупают поэтов на вес...
Город распродается...
И в первую очередь — книги...
Ради вас,
ради классиков
я учиняю скандал...
Я ору, топочу...
И отец уступает невольно...
Я «Разбойники» Шиллера —
помнится мне —
отстоял,
Исполинскую книгу
в роскошном издании Вольфа...
Я обедаю с Шиллером,
с Шиллером спатки ложусь...
О, конечно, конечно
(хоть это случится не скоро),
Чуть над верхней губой
невидимкой прорежется ус,
Чуть раскинутся плечи, —
я стану похож на Моора.
От трагедии Шиллера
я не могу оторвать
Воспалившихся глаз...
Лампа гаснет, а я все читаю...

Я уже не ребенок — и Шиллера сжечь не пора ль?..
Ведь не век же, не век же себя изводить по-пустому...
Никогда еще не был таким своенравным — февраль...
В эту зиму и звезды,
и люди
говорят по-иному.

Пост на Чорохе

Поэма

МИХ. ДАНИЛОВ

I

Граница.
Могучие гор горбы.
Седая слепая мгла.....
Под кручами —
скрип унылой арбы,
Над кручами
— клик орла.
Сеется дождь, как мокрый горох,
И стонет шакалий вой....
В такую ночь
на мутный Чорох¹⁾
Гляди острей,
часовой!
Но зорок Джамиль блестящий глаз,
Но шаг лошадиный —
упруг.
Джамилю известен здесь каждый лаз,
И каждая тропка —
друг.
В зеленой фуражке,
буркой укрыт,
Как облаком черных волос,
Джамиль не боится ночной игры
И в лошадь, как будто, врос.
Но в сердце
пчелою впилась тоска.
И жалит боль,
хоть умри!
Вот там — деревня
за грудой скал.
В деревне же той —
Сабри!

¹⁾ Пограничная с Турцией река.

II

Лицо аджарки —
 как лунный блеск,
 А губы —
 граната цветки.
 Сквозь тень чадры,
 как сквозь душный лес,
 мерцают
 глаз огоньки.
 Давно сказали глаза:
 — Люблю!
 (Джамиль, как олень, красив!)
 Но грозен горбатый двуногий верблюд,
 Отец любимой
 — Назим.
 Сорвать бы с милой
 навек чадру,
 Сгореть бы
 в тихом огне!..
 Но есть у Джамия —
 лишь пара рук,
 А лир
 ни единой нет!
 Велик за ласки Сабри
 калым! ¹⁾
 Бедняк,
 убирайся прочь!
 Продаст
 богатею, Мамед-оглы,
 Назим красивую дочь.

III

Тьма летит безглазой совой.
 Ночь —
 тесна, как мешок...
 Зорче,
 зорче будь, часовой,
 Слушай тишь хорошо.
 Как винтовку,
 стисни, Джамиль,
 Сердца живой звонок...
 Долг суровый
 забудешь ты ль
 Здесь,
 где Чорох у ног?
 Помни:
 Граница. Все может быть...

¹⁾ Выкуп за невесту, оставшийся в быту и до сих пор.

Всюду таится враг...
 Ночь...
 Могучие гор горбы...
 Жутко ночью
 в горах!

IV

... Вдруг
 качнулась мутная мгла
 Там
 внизу
 за скалой.
 Пограничник,
 долой с седла!
 С плеч
 винтовку долой!
 Видишь
 трое
 на берег пустой
 Тащат с лодки
 мешки...
 — Контрабандисты.....
 А ну-ка, стой!
 Взмах привычной руки...
 Двое в лодку.....
 И — быстрый плеск...
 Ушли.
 Грози не грози!
 Третий замер.
 Молнии блеск —
 И видит Джамиль:
 — Назим!!
 — Ни с места!
 Рука Джамиля — тверда.
 Как кошка,
 Назим присел:
 — Джамиль, отпусти!
 Я Сабри отдам,
 Отдам без калыма
 совсем.
 Мешки поделим?
 мне и тебе.
 Ночь.
 Свидетель Алла!...
 Хочешь?
 Будешь богат, как бек,
 Будешь мудр,
 как молла!..
 — Сдавайся!
 — Пополз песок под ногой,

О. В. Аптекман¹⁾

К. Н. БЕРКОВА

I

Осип Васильевич Аптекман родился в 1849 году в Екатеринославской губернии, в зажиточной еврейской семье. Отец его, хотя и знаток еврейского закона, не был ортодоксом в смысле исключительности и нетерпимости ко всему русскому. Он был одним из пионеров русского просвещения в своем родном городе Павлограде, он внес в семью и русскую речь, и русскую книгу. Однако, когда будущему землевольцу исполнилось 6 лет, его, согласно традиции, отдали в еврейский хедер. Осип Васильевич с большим юмором рассказывал, как его торжественно отнес на руках в хедер кучер Осип, как учитель, окинув взглядом крошечного мальчугана, посадил его среди девочек, как девочки хором приветствовали маленького Иоселе.

Главным предметом первоначального курса в хедере была библия, а затем талмуд. Библейские сказания и легенды произвели сильное впечатление на чуткого, восприимчивого ребенка. Поэтические образы Иосифа Прекрасного, Моисея и других библейских героев пленяли его воображение. И он уже с 7—8 лет мечтает быть кротким и милосердным, как Иосиф, великим и мудрым, как Моисей. Талмудическая учеба, со всей тяжеловесной и запутанной схоластикой, подействовала на живого мальчика притупляющим образом. Но его спасла природная любознательность. Уже овладев к тому времени древне-еврейским языком, он жадно набросился на древне-еврейские книги и ночи напролет читал «Историю иудейских войн» Иосифа Флавия. «Это была первая книга, которая разбудила мое сердце и ум, — писал впоследствии О. В. — Эта геройская борьба за освобождение Маккавеев, этот гигант борец Бар-Кохба, эти предсмертные судороги истекающей кровью Иудеи, этот свирепый Тит — все это меня захватило. Я проливал горькие слезы над разрушением храма иерусалимского, я страстно мечтал, когда стану большим, пойти по стопам сына звезды—Бар-Кохбы».

Но вот суровая действительность ворвалась в светлый мир детских грез. То было переходное время, на рубеже двух эпох — николаевской и

¹⁾ Доклад, прочитанный на вечере памяти О. В. Аптекмана во Всесоюзном обществе политкаторжан 9 января 1927 года.

александровской. Новые веяния шестидесятых годов еще едва чувствовались. Старые традиции николаевщины властно царили в общественной жизни. Грубая солдатская муштра еще оставалась в силе. Тяжелый сапог николаевского фельдфебеля давил все, что попадалось ему на пути и в первую голову — бесправного пария, еврея. Отец О. В., всеми чтимый и уважаемый, едва не стал жертвой озверевшей солдатчины. Однажды, по приказанию офицера, разъяренного его отказом ломать шапку перед военным начальством, на него набросилась куча солдат и потащила его к конюшне для позорного наказания. Это переживание глубоко ранило душу мальчика. «Глубокими, неизгладимыми чертами, до мельчайших подробностей, врезалась эта драма в моей душе», — пишет О. В. Но он вполне осмыслил ее только впоследствии, в гимназии. Не раз, когда мальчик читал или слушал об ужасах крепостного права, перед ним ярко всплывала картина насилия над отцом.

В годы учения в павлоградской гимназии мирозерцание мальчика складывалось под идейным влиянием Некрасова, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Им овладела страсть к чтению. Этот худенький гимназистик с вдумчивыми глазами вечно находил способ контрабандой во время урока читать своих любимых писателей. В 1869 году, кончая гимназию, он написал сочинение на тему: «Значение царствования Екатерины Второй». В этом сочинении, удостоившемся медали за свои литературные достоинства, молодой автор бросал смелую мысль: «пугачевщина была справедливым протестом масс против крепостного права». Разумеется, такая неслыханно-крамольная идея переполошила весь гимназический муравейник.

В 1870 г. О. В. поступил на медицинский факультет харьковского университета. Захваченный естественными науками, он запоем читает Дарвина, Клод Бернара, Гельмгольца, Фарадея и других гигантов европейской научной мысли. Но вскоре он входит в среду передового студенчества и всецело отдается общественным интересам.

В харьковский период два события окончательно определили направление жизни и деятельности О. В.: то были Парижская Коммуна и нечаевский процесс.

Во время летних вакаций 1870 года, как гром из ясного неба, грянула франко-прусская война, а затем весной следующего года, как эпилог ее — Парижская Коммуна. О. В. в то время так мало разбирался в общественных вопросах, что при первых слухах о войне не поверил им и горячо уверял окружающих, что в настоящее время война между цивилизованными народами невозможна. О социализме он тогда имел весьма смутное понятие, но инстинктивно был на стороне коммунаров и защищал их против тех, кто обвинял парижских рабочих в отсутствии патриотизма и в измене отечеству. Кровавая расправа с коммунарами дала сильнейший толчок развитию О. В. С ним повторилось то же, что и с другими нашими видными революционерами. Эта расправа окончательно разбудила его дремавшую политическую мысль — подобно тому, как казнь декабристов, по выражению Герцена в «Былом и Думах», прервала младенческий сон души его, а расправа с петрашевцами разбудила революционную мысль Чернышевского.

Летом 1871 года начался нечаевский процесс, который вызвал немало страстных споров среди учащейся молодежи. На последних заседаниях суда О. В. присутствовал лично, так как в августе 1871 года он перевелся из Харькова в Петербург: его притягивала кипучая общественная жизнь столицы. Уезжал из Харькова О. В. уже не с теми полудетскими грезами и смутными стремлениями, с какими вступал в стены университета, а уже с определенным мирозерцанием. «Все пережитое в Харькове глубоко запечатлелось в моей душе,—пишет он в своих воспоминаниях.—Я впервые почувствовал и осознал почти непреодолимое тяготение к трудовым массам».

В Медико-хирургической академии, куда поступил О. В., он очутился в обществе здоровых духом, сильных, бодрых разночинцев. Здесь демократизм был не наносный, а подлинный. Авангард революционной молодежи группировался по кружкам чайковцев, долгушинцев, лавристов. О. В. тесно сближается с лучшими представителями этих кружков, усердно посещает студенческий «якобинский клуб», где имеется и Гора и Жиронда, работает в «Книжном деле» чайковцев и мечтает о том близком будущем, когда он отдаст все силы на служение народу.

В эту эпоху две книги оказали особенно сильное влияние на О. В. и других лучших представителей тогдашней молодежи. То были «Исторические письма» Лаврова, под псевдонимом Миртова и «Положение рабочего класса» Берви-Флеровского. Книга Лаврова, по словам О. В., овладела им, как священное писание христианином или коран верующим. Он неоднократно читал и перечитывал эту маленькую книжечку, которую можно было засунуть в боковой карман, поближе к сердцу. Впечатление от книги Флеровского О. В. характеризует словами Герцена по поводу известного «Философического письма» Чаадаева: «То был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть о потере... все равно, надо было проснуться».

И молодежь проснулась. Завеса упала с глаз. Впервые пресловутая «великая» крестьянская реформа предстала в своем доподлинном убогом виде. Потрясающая картина народного разорения, пауперизма, встала перед молодежью. Весною 1874 года раздается лозунг: «в народ». Электрическим ударом пробежал этот лозунг по массе молодежи. Мы будем говорить о ее настроении словами О. В.: «Чистое, как хрусталь, настроение, цельное, почти религиозное, охватило молодежь. И, выпрямившись во весь рост, она, добрая, светлая, глубоко верующая, потянулась к тому,

Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста...

И если можно было без метафор говорить о клятве Аннибала, то у молодежи эта клятва — без слов, без красивых жестов была выжжена в ее сердце и уме...».

О. В. вместе с другими охвачен чувством прозелитизма: «Были моменты, когда хотелось выйти на площадь и крикнуть громко то, что произносится только шопотом. Настроение было такое, что хоть прямо на Голгофу...».

В это время кружки и сходки прекратились. Молодежь уже не зачитывается «Историческими письмами» Лаврова и статьями Бакунина, не спорит до самозабвения о роли революционного инстинкта и сознания в народном движении. Все вопросы решены. Пора идти в народ, раствориться в народной массе. Наступил час расплаты по долгосрочному векселю. Но прежде всего надо научиться физическому труду. «Одни отправляются на фабрики и заводы, где работают с помощью спропагандированных рабочих. Другие изучают ремесла — сапожное, столярное, слесарное. В Петербурге открывается несколько мастерских-коммун, в которых выучка идет под руководством рабочих-революционеров».

В этот момент, весной 1874 года, О. В. был студентом 5 курса Медико-хирургической академии и готовился уже к выпускному экзамену. Как весьма даровитый студент, он обратил на себя внимание профессоров, которые думали оставить его при Академии. О. В. и сам мечтал об этом на 2 и 3 курсе. У него были наклонности кабинетного ученого и мыслителя и громадный интерес к естествознанию. «Целлюлярная патология» Вирхова и «Происхождение видов» Дарвина производили на него не менее глубокое впечатление, чем «Капитал» Маркса и «Исторические письма» Лаврова. Безбрежная область научного познания, научной работы манила и привлекала его. Но то было на первых курсах. К весне 1874 года перелом в душе О. В. уже совершился. Для него, как и для других лучших представителей молодежи, вопрос решен. Он оставляет академию и идет в народ. Идет простым чернорабочим, как и многие товарищи.

II

О. В. решает уехать на родину и там изучить какое-нибудь ремесло. По дороге домой, проезжая через Харьков, он делает первый опыт революционной пропаганды. В чудную летнюю ночь, в университетском саду, он завязывает разговор с солдатами местного гарнизона, пропагандирует молодого, горячего. Внимание слушателей, их живой интерес окрыляет его надеждой, крылья вырастают у него за спиной. На родине он устраивается в деревне у столяра-хохла, который должен обучить его столярному ремеслу. Но тут на пороге деятельности в народе его ждет первое предостережение, первый укол в сердце. Молодой пропагандист, собрав крестьян, рассказывает им о социалистических порядках. Желая расширить их горизонт, он говорит о том, как живет рабочий люд в других странах, как в Англии происходило обезземеление крестьян. «У нас за царем куды лучше!» — раздается голос среди слушателей. Что-то заскребло на душе, набежала тень — но, прочь черная мысль! Это лишь случайность, не стоящая внимания...

Период «хождения в народ» и последующий землевольческий период деятельности О. В. слишком общеизвестны, чтобы останавливаться на них во всех подробностях. Отмечу только некоторые характерные черты. С молодой жадностью бросился О. В. изучать и крестьянский мир, и мир сектантов, с которым ему пришлось столкнуться в Псковской губернии. Со многими сектантами он тесно сблизился. Несмотря на разницу мирозерцания —

общность настроения, жертвенный экстаз, пафос самоотречения роднили этого социалиста с членами евангельской общины. В этом смысле ему была близкой и родной по духу и аристократка-сектантка княжна Дондукова-Корсакова, и дитя народа, сестра Параша, «чудный образ крестьянской девушки». Еще одна характерная черта: после шестимесячной работы в деревне, О. В. решил, что для пропаганды в народе ему недостаточно «опроститься». Чтобы еще ближе подойти к народу, еще теснее слиться с ним, весною 1875 года он принимает христианство...

Не будем воспроизводить этап за этапом деятельность О. В. в народе за период от 1874 до 1880 года. На этом пути его ожидало немало и светлых, вдохновенных минут, и горьких разочарований. Он, как и другие представители революционной молодежи, шел в народ с глубокой верой в социалистический инстинкт русского крестьянина, в его революционный, бунтарский дух — он же, по Бакунину, и дух творческий. Но в повседневной работе в деревне дымка таинственности, налет идеализации, окутывавший черты русского «сфинкса», мало-по-малу рассеивался, и русский мужичок-серячок предстал перед ним в своем настоящем, неприкрашенном виде. Вместо социалистического инстинкта — инстинкт мелкого собственника, вместо революционной страсти, разрушительной и в то же время творческой — пассивность и инертность, воспитанная веками рабства. Перед ним раскрывалась психология некрасовского мужика из «Забывтой деревни», с его вековыми упованиями на барина в минуту жизни трудную: «вот придет барин, барин нас рассудит». И такова была психология крестьянина не только в Псковской и Пензенской губ., где в первые годы работал О. В., но и в Поволжье, в том самом Поволжье, где, казалось, еще реют тени Разина и Пугачева...

Опыт учил молодого пропагандиста, что целесообразнее подходить к народу не с социалистической проповедью, не с горячими призывами к бунту, а с пропагандой на почве его насущных нужд и потребностей. О. В. один из первых пришел к убеждению в необходимости изменить программу и тактику революционной деятельности в народе, и вместе с М. А. Натансоном, Ольгой Шлейснер и другими был одним из строителей «Северной революционно-народнической группы», известной впоследствии под именем «Общества Земли и Воли».

В переходной период деятельности «Земли и Воли» О. В. примкнул к небольшой, но компактной группе «деревенщиков», во главе которой стоял Плеханов. Раскол общества «Земля и Воля» О. В. переживал чрезвычайно болезненно. Дробление сил в такой момент представлялось ему крушением всех надежд. Он чувствовал себя насильственно оторванным от любимой работы, в которую вкладывал всю душу, с которой так сроднился, несмотря на все неудачи и разочарования. Позже, в «Записках семидесятника», он снова переживает старую боль: «Умерла «Земля и Воля», и моя роль кончена... Порвались нити, связывающие с жизнью. Чем жить?» Кризис закончился тяжелой болезнью. О. В. свалился в беспамятстве.

Но жизнь предъявляет свои требования. Выздоровев, О. В. снова уходит в работу. Как ярый «деревенщик», он, разумеется, примыкает к «Черному

Переделу», и вместе с Плехановым и Аксельродом входит в состав редакции органа группы «Черный Передел». О. В-чу, как одному из авторитетнейших «деревенщиков», поручается составление «письма к бывшим товарищам», имевшего целью выяснить разногласия, послужившие причиной раскола. В этом письме О. В. доказывал, что народовольцы, в своей практической деятельности, порвали связь с массами, что, оставаясь верны первой части старого лозунга «Земли и Воли» — «Все для народа, все через посредство народа» — они пожертвовали второй частью этого руководящего принципа.

Группа «Черный Передел», как известно, была недолговечна. Уже в январе 1880 года виднейший член группы Плеханов, вместе с Дейчем, Засулич и Стефановичем, вынужден был эмигрировать за границу. К этому времени О. В. уже тесно сошелся с Плехановым, который на всю жизнь остался самым близким и дорогим его другом. Отъезд Плеханова состоялся вопреки его желанию, главным образом, благодаря настойчивому требованию О. В., который был счастлив, что ему удалось таким образом сохранить Плеханова для революции. Предательство наборщика Жаркова ускорило распад «Черного Передела». Начались аресты и высылки. Одной из первых жертв Жаркова оказался О. В. 31 января 1880 года он был арестован и заключен в тюрьму. В жизни О. В. начинается новая полоса — тюрьма и ссылка.

III

После двухлетнего почти скитания по русским и сибирским тюрьмам и острогам, включая и Петропавловскую крепость, О. В. прибыл, наконец, на место ссылки в село Усть-Майское, Якутской области. Впоследствии он был переведен отсюда в менее глухое место, слободу Амгу. Жизнь в якутской ссылке чрезвычайно живо и красочно описана О. В. в «Записках семидесятника», напечатанных в «Современном Мире» за 1914 год. Глухая сибирская тайга, суровый край, полудикое туземное население, вырождающееся под влиянием «даров цивилизации» — водки и сифилиса, типы крестьян-переселенцев, золотоискателей, сектантов, «взыскующих града» — все это встает перед нами в образах при чтении этих увлекательных страниц. Но всего лучше удаются О. В. фигуры друзей и товарищей по ссылке, «государственных преступников». Тут была целая плеяда видных революционеров и ярких индивидуальностей. В Усть-Майском сошлись представители трех революционных поколений: каракозовец-шестидесятник Николаев, товарищ по ссылке Чернышевского, земледелец в лице О. В. и молодой народоволец Бовбольский. В Амге О. В. нашел к своей величайшей радости старого товарища и друга по «Земле и Воле» — Марка Андреевича Натансона и вторую жену его, Варвару Ивановну Александрову, осужденную по процессу 50-ти. Были здесь также долгушинец Папин, Владимир Галактионович Короленко, административно сосланный за непринятие присяги Александру III; рабочий Ромась, сосланный за то же; рабочий-чайковец Алексей Петерсон; рабочий Пётр Алексеев, произнесший известную речь на процессе 50-ти; земледелец Тютчев, польский писатель и революционер Серошевский и др.

Жизнь в ссылке шла согласно, дружно. Весь день уходил на тяжелый физический труд, на борьбу с суровой природой. Хрупкое здоровье О. В. несколько окрепло. Он научился ездить верхом, колоть дрова, печь хлеб; последним его искусством гордилась вся колония. Вечером часто собирались для совместного чтения и беседы. Спорили, конечно, о революционных программах и тактике. Мечтали тайком и вслух о далекой, любимой родине. О. В. начал писать свои «Воспоминания о «Земле и Воле». Марк Натансон — живой хранитель революционных традиций — пополнял их своими ценными примечаниями. Короленко писал свой чудесный «Сон Макара» и другие рассказы. Героем «Сна Макара» был не кто иной, как хозяин юрты, в которой Короленко жил вместе с О. В. В своих воспоминаниях О. В. уделяет много места Короленко. С любовью рисует О. В. черты высоко даровитого, гуманного писателя-художника, любовно - насмешливо зарисовывает он маленькие чудачества большого человека. Вот Владимир Галактионович хозяйничает — заварил чай. Сели пить, глотнули — что за пакость! Настой чистого табаку. — «Никак ваш окуроч сигары заварил, Осип Васильевич. Вы уж простите меня!» виновато объяснил В. Г. — Вот выехал Короленко пахать, и запахал в поле взятую с собой книгу. «Пахал землю и посеял книгу — целую книгу мыслей... Оригинальный способ распространения идей», замечает по этому поводу О. В.

Быстро пролетели пять лет ссылки. Наступил знаменательный день 9 августа 1886 года — последний день ссылки. О. В. рвется на простор. Он мечтает о новой жизни и новой работе, мысленно повторяя слова поэта:

Я слишком стар, чтоб тешиться мечтами,
Я слишком юн, чтоб вовсе не желать...

Тяжело расставаться с близкими друзьями — Марком Андреевичем Натансоном и Николаем Сергеевичем Тютчевым. Но дорогие образы уплывают в глубь якутской тайги, и О. В. мчится вперед, на родину...

О. В. вернулся на родину в 1887 году, в самый разгар политической и общественной реакции. Революционное движение было на время задавлено. Общество деморализовано. Любимые писатели разбрелись кто куда. Любимые журналы закрыты. Глядя на русскую общественность, вспоминали слова поэта:

О, поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?

О. В. возвращается на родное пепелище. Отдохнув в кругу родной семьи, с которой не виделся больше 10 лет, он начинает томиться бездействием. Поприща для общественной деятельности нет, — и О. В. решают вернуться к своей первой любви — медицине.

Подав прошение о зачислении его в один из провинциальных университетов, О. В. в ожидании ответа совершает поездку по Донецкому каменноугольному бассейну. Здесь его поражают новые неожиданные явления русской жизни. Он видит расцвет горной промышленности, огромные металлургические заводы, выросшие, как из-под земли, рабочие поселки, подвижные беспоконные рабочие массы. Все это ошеломляет, не вяжется со старыми народ-

ническими взглядами. Неужели «проказник купон» пришел всерьез, всерьез, а не проказничая взялся за преобразование и переустройство нашего «исконного» уклада жизни, наших «вековечных» устоев? Как это примирить с «Судьбами капитализма» В. В., в которых так непреложно доказывалось, что нас минует, «капиталистическая фаза»? О. В. глубоко призадумывается. Первая трещина, первая брешь в его народническом мирозерцании, сделана.

По возвращении домой О. В. узнает, что поступить в университет ему не разрешено. Он быстро принимает решение уехать за границу для окончания медицинского образования.

О. В. приезжает в Баварию, в мюнхенский университет. Перед ним «gemüthliches, lebenslüstiges München». Чрезвычайно интересно передает он в «Записках семидесятника» свои мюнхенские впечатления. Его поражает жизнерадостность мюнхенца, культурность, уютность европейской жизни, доступность художественных сокровищ для всех и каждого. Но от взора вдумчивого наблюдателя не ускользают и темные явления. Он отмечает буржуазную ограниченность, профессорское филистерство, пошлый мещанский подход к так называемому «женскому вопросу» и многое другое.

В Мюнхене О. В. впервые сближается с социал-демократическими рабочими. По просьбе кружка немецких социал-демократов, он делает им доклад о русском революционном движении. Слушатели глубоко захвачены его рассказом. «Schön, menschlich schön!»—восклицают они. Но тут же они горячо возражают, что революцию делает класс, а не группа заговорщиков, хотя бы и героическая, что в России жизнь уже выдвинула на арену политической борьбы рабочий класс. О. В. спорит, отстаивает свои взгляды. Он чувствует много правды в словах противников, но не может еще перейти на социал-демократическую точку зрения: он не изжил еще утопического народнического социализма.

В 1888 году, во время летних каникул, О. В. уезжает в Швейцарию повидаться со старыми товарищами по «Земле и Воле» и «Черному Переделу», уже в 1883 году основавшими группу Освобождения Труда, с Плехановым во главе. Плеханов за это время вырос и окончательно нашел себя. Это—вождь и трибун. После первых радостных минут встречи начинаются горячие принципиальные споры, конечно, о марксизме, о социал-демократии. «Одобрять и принимаю социал-демократическую программу, но не приемлю марксизма», твердит О. В. Плеханов обрушивается на него со всем блеском и силой своей аргументации. О. В. не сдастся, но в душе чувствует себя побежденным. На обратном пути до Мюнхена его не оставляла мысль: ты побежден.

«Я был побежден, но в душе был рад этой победе Плеханова,—пишет О. В. — Мое поражение на самом деле было не поражением, а победой— оно сдвинуло меня с мертвой точки. Это я больше чувствовал, чем ясно сознавал...»

По окончании мюнхенского университета О. В.-ча с неудержимой силой потянуло на родину, «в народ». Это было его третье «хождение в народ». Он уехал в Саратовскую губернию земским врачом. В 1892—93 гг. О. В. вел энергичную борьбу с голодом и сыпным тифом и сам едва не погиб, тяжело заболев сыпняком. Эта полоса особенно ярко всплыла в его памяти в послед-

ний год жизни, он все порывался сказать о ней в печати... Но он предполагал, а смерть располагала.

Весною 1894 года О. В. вместе со старыми друзьями, М. А. Натансоном и Н. С. Тютчевым, организовал общество «Народное Право», которое выдвигало на первый план политическую борьбу с самодержавием. Но это общество было скоро разгромлено правительством.

В 1894 — 95 году О. В. работал в качестве психиатра в Колмовской психиатрической лечебнице Новгородского земства. Здесь в числе его пациентов был Глеб Иванович Успенский, переживавший тогда самый тяжелый период своей болезни. Впоследствии О. В. рассказал нам об этой встрече в очерке, напечатанном в «Русском Богатстве» за 1909 год. Со страниц этого очерка встает перед нами светлый образ «великомученика правды» — так называет Успенского О. В. Анализируя, как психиатр, картину душевной болезни Успенского, О. В. в то же время показывает, что и в болезненном состоянии, в тяжком душевном раздвоении, Г. И. остался все тот же, что и был, что он и тут сохранил свойственную ему основную черту — страстное, трепетное искание правды и красоты.

Мы видели, что уже в 1888 году, после свидания с Плехановым в Женеве, О. В. мысленно говорил себе: «Ты победил, Галилеянин». Поворот в его взглядах от народничества к марксизму уже ясно намечался. Жизнь и работа в России, наблюдения над русской действительностью, развернувшееся в 90-х годах рабочее движение довершили этот поворот. В половине 90-х годов О. В. — уже убежденный социал-демократ. После Колмовской лечебницы судьба бросила его в Смоленск, а затем в Уфу. Здесь он тесно сошелся с местными социал-демократами и вел работу, по своему общественному положению, главным образом, среди интеллигенции.

Первая русская революция застала О. В. в Вильно. Старый боец воспрянул. Он быстро организовал в своей лечебнице боевую группу в 50—60 человек, хорошо вооруженную и сплоченную. Стоя во главе группы, О. В. вел пропаганду и агитацию в Виленском и Вилейском уездах и призывал к вооруженному восстанию. Когда прокатилась черносотенная волна и начался погром в Вилейке, организация О. В. энергичным вмешательством положила ему конец. В 1906 году О. В. был арестован и привлечен к суду. Выпущенный на поруки после 6-месячного сидения в тюрьме, он скрылся за границу.

Потянулись долгие годы эмиграции. Мысль О. В. прикована к родине. Он живет надеждой на возвращение в Россию. В 1914 году разразилась гроза империалистической войны и расколола международное социалистическое движение на два неравных лагеря: огромную армию социал-патриотов и небольшую стойкую группу интернационалистов. Вожди II Интернационала почти сплошь в первом лагере. О. В. с самого начала решительно примыкает к немногочисленной кучке интернационалистов, противников войны, группировавшихся вокруг В. И. Ленина. «История оправдала мою позицию, и никто меня с этой позиции не собьет», — так заканчивает О. В. свою автобиографическую заметку, написанную в прошлом году. Да, поистине, он имел право сказать, как Лютер: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders».

Никакие испытания не могли заставить его сойти с этой позиции — позиции революционного интернационализма. Не поколебало его даже самое тяжкое испытание — разрыв со старым другом, ближайшим из близких, Георгием Валентиновичем Плехановым. С глубокой скорбью говорит О. В. об этом разрыве в книжке, посвященной Плеханову. Он описывает последнее свидание с ним летом 1916 года в Кларане, споры о войне, закончившиеся разрывом. Я позволю себе привести здесь небольшую выдержку из этой книжки. Последнее расставание. Плеханов уезжает в Женеву. О. В. идет провожать его на вокзал. Дальше предоставим слово ему самому.

«Мы сели на скамейку у перрона и... молчали.

Жуткое молчание. Плеханов опустил голову. Меня охватило, я сказал бы, похоронное чувство. И подлинно: то хоронили мы нашу многолетнюю дружбу, наше дорогое, молодое прошлое, совместно пережитое и передуманное... Целую полосу жизни... Я мельком взглянул на Плеханова: «орел»¹⁾ с подбитыми крыльями, «орел» с потухающим взором... Он не глядит уже вперед, вдаль, как это раньше бывало; его проникновенные взоры не прорезывают уже далекие светлые перспективы грядущего — его голова опущена. Его прозорливый взгляд угас... Раненый на смерть «орел».

Звонок. Плеханов тяжело поднялся. Расцеловались. Холодные, как у покойника, губы. Второй и третий звонок задребезжали тревожно в воздухе. Плеханов, не оглядываясь, вошел в вагон. Я круто повернулся и побежал домой с камнем на сердце. Я бросился на кровать. Старый Плеханов, умница, светлая головушка, Плеханов — учитель, Плеханов — трибун, Плеханов — мыслитель, выплыл в моем разгоряченном мозгу, как чудное изваяние природы... И образ раненого на смерть орла, образ умирающего гладиатора растаял как дым, как предутренняя мгла под лучами восходящего солнца... *Le roi est mort, vive le roi!* Умер Плеханов социал-патриот, жив Плеханов-марксист!».

IV

Разразилась Февральская революция 1917 года. О. В. одновременно с В. И. Лениным возвращается в Россию через Германию. Уже усталый, обремененный годами, хрупкий и немощный, он сохраняет светлый ум, помогающий ему ориентироваться в новой социальной обстановке. Революционное миросозерцание никогда не было для О. В. застывшей догмой. Сохраняя его как цельное жизнеощущение, он постоянно углублял и обновлял свои взгляды, чутко прислушиваясь к запросам жизни. В период между двумя революциями он все ближе и ближе подходил к коммунизму. А когда грянула Октябрьская революция, О. В. со всей искренностью и цельностью, присущей его натуре, безраздельно стал на сторону Октября. До самого конца жизни он идейно был с коммунистами, всецело принимал и одобрял основные линии политики коммунистической партии, что, разумеется, нисколько не мешало ему критически относиться к частностям.

К вождю Октябрьской революции О. В. относился с чувством глубокого уважения и даже преклонения. В задуманной им за год до смерти книге «На

¹⁾ „Орел“ — прозвище, данное Плеханову петербургскими рабочими в 70-х годах.

культурном фронте» он собирался посвятить особую главу Владимиру Ильичу. В некрологе О. В., напечатанном в пятой книге «Печати и Революции» за 1926 г., тов. Брагинский выражает сожаление, что эта «золотая глава» осталась ненаписанной. Тов. Брагинский ошибся. «Золотая глава» почти целиком была написана—но осталась вчерне. Разбирая рукописи, оставшиеся после О. В., друзья покойного нашли этот черновик, набросанный довольно неразборчиво карандашом, и к общей радости его удалось восстановить. Привожу здесь эту главу, повидимому, необработанную для печати. О. В. делится впечатлениями от первой встречи с Лениным за границей:

«Ленин грассирует, улыбка детски-чарующая, как у Мирабо. Первое выступление за границей, в 1906—07 году (точно не помню). Глубокий, захватывающий анализ движущих сил революции 1905 года. Не филигранный анализ, а смелые разрезы в главных плоскостях. И даже не разрез острой бритвой (как это делается для ботанических и зоологических препаратов), а мощные удары топора, дающие обрубки, твердые, как камень, огнеупорные; как гранит. Я слышал до него многих ораторов, выступавших по тому же или иному поводу, читал речи первоклассных мастеров устного слова, но других, принципиально-враждебных классов (дворянство, буржуазия). Но ни с кем и ни с чем это в п е р в ы е услышанное мною Л е н и н с к о е выступление несравнимо. Оно совершенно своеобразно и исключительно, как своеобразна и исключительна сама личность Ленина. Французы говорят: «Стиль—это человек». Это мнение особенно приложимо к Ленину.

Когда речь его была окончена, я сидел еще некоторое время, слушая ее и продолжая переживать слышанное. Аргументы, гибкие и твердые, как сталь, глубоко затаенная страсть, прорывающаяся наружу против воли говорящего, неудержимая страсть к воле, одновременно нещадно дробящая все, что стоит на пути, и дерзко строящая н о в о е, мощное и красивое; глубокое убеждение, граничащее с в е р о ю—такова сущность, «энтелехия», выражаясь словами Аристотеля, речи Ленина. И, забегая вперед, скажу: все, что потом я слышал от Ленина, как оратора—неизменно носило т о т ж е характер. Менялись обстоятельства, менялась аудитория, иные наступали исторические моменты,—но Ленин оставался неизменно одним и тем же: в л а с т и т е л е м д у м слушающих его. И слушали его не только сторонники, но и противники. Ленин умел заставить слушать себя и самых кровных врагов своих. Я ни разу не видел, чтобы посмели прервать его, или бросить по его адресу какое-либо провоцирующее слово, неодобрительный эпитет... Не всегда аудитория была з а Л е н и н а—о, нет! Много-много было инакомыслящих, многих-многих он волновал, возмущал—но, повторяю—всегда слушали его молча, сосредоточенно, вдумчиво...

Невольно навязывается параллель с Плехановым. Плеханов—несомненный оратор, трибун. А его прерывают, нередко не дают ему говорить, иной раз доходит и до прямого дебоша. Почему такое различное отношение к ораторам со стороны аудитории, почти тождественной в целом? Почему? По существу, я думаю, потому, что ленинская речь о б ъ е д и н я е т, с п л а ч и в а е т,

организует, творит. Плехановская же речь только возбуждает, импонирует, призывает к воле — только призывает к действию, но не вкладывает меча в руки слушателя. Один — Ленин — берет слушателя за руку и говорит ему: «Следуй за мной, и делай то, что я делаю». Другой же — Плеханов — стоит на довольно почтенной дистанции от своего слушателя, слова его доходят до слуха последнего, но не проникают в его душу, не перевоплощаются в «дерзкое действие». Не успел Ленин окончить доклад, как его, при ошутительном шуме аплодисментов, окружили его товарищи — помнится, тов. Семашко, Карпинский и др. — и моментально увели его через какую-то темную дыру — коридором. Так мне и не удалось обменяться с Лениным хотя бы парой слов.

Ленин вскоре совсем исчез с горизонта Женевы, словно в воду канул. Я не расспрашивал, где Ленин, в силу старого навыка подпольного революционера: не расспрашивать зря, когда не имеешь ближайшего к этому отношения. Но случайно, если не ошибаюсь, в 1912 г., я от покойного Марка Натансона узнал, что Ленин поселился в Галиции на самой границе России, чтобы отсюда связаться с рабочим движением в России, поднявшимся после ленских событий на значительную высоту... В это время в Петербурге и Ленин и его соратники блистательно выполнили задание. «Звезда», а затем с 1912 г. «Правда» явились тем литературным центром, в котором выковывался, шлифовался большевизм. Работа Ленина была поистине колоссальна. Успех «Правды» был разителен: газета распространялась в тысячах экземпляров. Революционные кадры сознательных рабочих росли с каждым днем. Это — общепризнанный факт. Я в то время был в Nervi (Италия), по причине болезни моей жены. Там жил Мандельберг (депутат 3-й Думы) и лидер бундовцев (фамилия?), бывший хорошо в курсе дел большевиков в России... ¹⁾.

В истории русского революционного движения новейшего времени есть одна страница, глубоко захватывающая, глубоко поучительная. Эта страница носит лаконический заголовок: «Владимир Ильич Ленин» — или попросту «Ильич», — по милой, дорогой сердцу русских рабочих кличке. Пахнет от нее, от этой страницы, целиной, далью и простором. И чудится, что скачет по этой дикой целине, в этой дали необозримой сказочный былинный богатырь Святогор — первый ратоборец, первый строитель русской земли. Но не вынесла, по преданию, земля этого богатыря, дрогнула она, когда богатырь понатужился, чтобы поднять ее, землю, на могучих плечах, дрогнула — и пал сокрушенный под ее тяжестью богатырь. Пал и Ильич. Пал не только оттого, что поднял всю многомиллионную, необозримую Русь, но и оттого, что всколыхнул вместе с тем и весь мир — континентальный и заморский, Европу и Америку, Восток и Запад, цивилизованные народы и народы и племена дикие и полудикие...

Не преувеличивая, можно сказать, что весь муравейник человеческий пришел в движение, встревожился. Рассказывают, что даже в пустынях Са-

¹⁾ Дальше рассказ прерывается — видимо, О. В. не успел его закончить. Переходим прямо к заключению.

хары, в затерявшемся в той дали шалаше кочевника - туземца, висит на видном месте портрет Ильича. Может быть, это лишь миф — пусть так. Но какой чудный, обаятельный, красивый миф! Миф, созданный чуть не на другой день после смерти Ленина.

Последний, заключительный аккорд революционной песни его был: «Смычка пролетариата с крестьянством, города с деревней».

Этот лозунг, по своему содержанию, шире и глубже лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Шире и глубже потому, что об'емлет собою все в мире земледельческие и непосредственно примыкающие к земледелию сельскохозяйственные производства. А число занятых в них составляет большинство населения земной поверхности (около $\frac{2}{3}$ населения).

Ленин рано ушел от нас. Это тяжелая утрата, большая народная скорбь. Но он оставил свои заветы, свои идеи, свое дело. Он оставил также верных, стойких, проникнутых его революционной стратегией и тактикой товарищей - друзей. Дальнейшее развитие ленинского дела, полное завершение его — вне всякого сомнения. Да сгинут враги его!»¹⁾.

Таков черновой набросок О. В. Очерк О. В., посвященный «незабвенному Ильичу», не содержит никаких новых фактов. Но мне думается, что по искренности тона и своеобразию подхода к личности В. И. он заслуживает занять видное место в мемуарной литературе о Ленине.

Последние годы О. В. жил в Москве, в доме отдыха ветеранов революции имени Ильича и целиком ушел в литературную работу. Писал он еще со времен своей деятельности в «Земле и Воле». Из произведений О. В. наибольшую ценность представляет об'емистый труд «Общество Земля и Воля 70-х годов», вышедший в 1924 году — незаменимый источник для изучения революционного движения 70-х годов. (Первое сокращенное издание этой книги вышло еще в 900-х годах и было конфисковано царским правительством.) Перу О. В. принадлежит ряд небольших монографий о замечательных его современниках: «забытом писателе» В. В. Берви-Флеровском, которого О. В. воскресил для потомства, о Г. И. Успенском, о Г. В. Плеханове, о В. Г. Короленко, а также ряд статей по истории революционного движения.

Крупный революционер, талантливый писатель, вдумчивый психиатр, О. В. был и обаятельным человеком. В этом маленьком, худеньком старичке

¹⁾ Очерк о Ленине должен был, как сказано выше, войти в особую главу книги «На культурном фронте», посвященную социал-демократическому периоду деятельности О. В. Увидеть в печати эту книгу было любимой мечтой Осипа Васильевича. О содержании этого труда, который должен был охватить эпоху с 1889 г. до первой русской революции, можно судить по сохранившемуся наброску плана. План таков: «Мои культурные мытарства. На земской службе. Опять тяга «в народ». Деревенские впечатления. Гнет царский и кулацкий. Деревенское разорение. Расслоение деревни. Санитарная обездоленность деревни: голодный тиф, цынга, холера. Полная культурная обездоленность. Настроение деревни. Культурники в деревне. Толчение воды в ступе. Между молотом и наковальной. Культурное бессилие».

жила молодая душа. Его живой ум, разностороннее образование, его жизнерадостность, блестящие остроумия, его бесконечная скромность и простота, его усталые глаза, сияющие лаской и добротой, а главное — его светлая вера в будущее и какая-то исключительная полудетская чистота, производили чарующее впечатление. Из старых, ушедших «друзей-товарищей» (любимое выражение О. В.) с особенной теплотой и любовью он вспоминал Г. В. Плеханова, В. Г. Короленко, Марка Натансона, Софью Перовскую и Ольгу Шлейснер-Натансон. Плеханов был для него одновременно и близким любимым другом и учителем, высоким авторитетом. О. В. страшно гордился тем, что сам «Жорж» нашел у него литературный талант и предсказывал, что при других условиях из него мог бы выработаться второй Белинский. Книга его о Плеханове дышит теплотой, а в последних страницах и болью сердечной о друге-учителе, «потерявшем самого себя».

С большой любовью О. В. относился и к памяти Короленко. «Г. В. и В. Г. — вот самые дорогие мне имена», говорил он. В комнате О. В. рядом с прекрасным портретом Маркса висел портрет Софьи Перовской и М. А. Натансона с надписью: «Дорогому Осипу, другу светлой юности». «Я хочу быть в хорошем обществе,— часто говорил О. В., глядя на эти портреты.— Эх, не хватает Ольги, надо достать»...

Несмотря на болезнь и физическую слабость, О. В. до конца дней своих сохранил живой интерес к современности, ко всем событиям нашей революционной эпохи. Особенно горячо относился он к героической борьбе английских горняков — радовался ее успехам, болел ее неудачами. О. В. до конца остался верен идеалам своей юности. Он часто мыслью обращался к прошлому, но тут же мысленно протягивал нити между прошлым и настоящим. Прошлое не было для него монастырской кельей, в которой можно запереться от бурь и тревожений настоящего. Напротив, он мог сказать о себе с полным правом в «Записках семидесятника» словами Ницше:

«Там, далеко, остров могил, молчаливый остров — на нем могила моей юности. Туда хочу я отнести зеленеющий венок жизни...»

О. В. скончался в ночь на 8 июля 1926 года от рака желудка, после 2-месячных жестоких страданий.

К О. В. можно вполне применить его собственные слова об Успенском, которыми он заканчивает свою «Страницу из скорбного листа Г. И. Успенского»: «И больной, охваченный уже болезненными фантазиями, он продолжал упорно звать: смотрите на мужика... Все-таки надо... Надо смотреть на мужика, говорил он почти в бреду В. Г. Короленко. И в больнице, в этом «бесконечном гробу» (выражение Успенского) он жил теми же думами о народе, теми же скорбями, что и прежде, когда был здоров».

Подобно Успенскому, и О. В. в предсмертном бреду говорил лишь о том, что поглощало все его помыслы, что мучило и волновало его до последнего вздоха: о рабочем движении, о пролетарской борьбе, о судьбах революции... Вот бессвязные отрывки этого бреда, записанные рукой друга, сидевшего у его изголовья — Анны Алексеевны Капгер:

«Что же может быть сделано для рабочих? Сделано все, что можно. Я же не могу сказать рабочим: не идите, не берите.

Что надо? Это давно уж воплотилось в жизнь... Чего тут спорить? Пустое дело...

Я не вижу штурма и дранга, а сейчас он нужен. Как я его создам? Такие вещи завоевываются...

Это не дело. Этим не победишь (вскрикивает). Этим не победишь! Тут реальные силы нужны. Ясно, что надо делать.

Надо не так... Надо действовать, надо работать, надо массы двигать, надо выйти на улицу... Кричать надо! (криком кричит)».

Таков был предсмертный бред Осипа Васильевича. Это заключительный аккорд, увенчавший цельную, прекрасную жизнь, которая вся, вплоть до последнего вздоха, была во власти одной идеи. И хочется низко поклониться памяти славного революционера, пронесшего через всю долгую жизнь кристально-чистое, незапятнанное имя, верность идеалам юности и глубокую преданность революции.



Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

I. А. АРОСЕВ. „За живой и мертвой водой“.—II. Р. КУЛЛЭ. Цветные в литературе.—III. Герм. САНДОМИРСКИЙ. Книга смерти.—IV. Б. БРУК. По амурским равнинам.

I. „ЗА ЖИВОЙ И МЕРТВОЙ ВОДОЙ“

О книге А. Воронского

А. Аросев

Откроет читатель эту книгу, прочтет ее страница за страницей,—всю прочтет, наверняка не отрываясь, прочтет и перечтет иные места не раз,—прочтет всю книгу до последней строчки, с сожалением, что кончилась, захлопнет ее. Увидит стены комнаты своей, стол, на столе лампу и недочитанную «Правду»—и в первый момент лишь усилием воли заставит себя понять, что это, видимое, есть 10 лет после величайшей революции, а то, читанное,—десять лет до нее. Образы того, читанного, так ярко громоздятся в сознании, что вот уже минута-другая проходит, а они все еще, кажется, наполняют эту, современную, комнату.

Живые дал образы Воронский. Воскресил посредством слов протекавшую когда-то жизнь.

Само собой это вышло у автора или он намеренно писал так? Вольно или невольно?

Заголовок книги: «За живой и мертвой водой». Под заголовком скромно: «Воспоминания».

Эх, и сколько их теперь, этих воспоминаний! Однажды я спросил хорошего своего приятеля: почему он не пишет воспоминаний—материал у него должен быть большой. Не выходит,—

ответил он,—потому что, как ни начну писать, все выходит так, что будто я сам был постоянно центром всяческих событий. По этой же причине,—добавил мой приятель,—я и не читаю никаких воспоминаний. Может быть, мой скромный приятель прав. Но только не по отношению к книге Воронского. Ее я крепко рекомендую своему приятелю. У Воронского не воспоминания о себе («я» там фигурирует совсем мало), а воспоминания о каком-то Валентине, который, хоть и не центр событий, но не сходит со страниц мемуаров. И это хорошо. Это интригует читателя. Он стремится узнать, кто же этот «Валентин». Стремится тем более законно, что в книге то-и-дело упоминаются действительные имена (Троцкий, Горький, Ульянов, Мария Ильинична и т. д.). Читатель любопытствует. Смотрит на первой странице посвящение: «Галине, жене Валентина». Читатель ударяет себя по лбу, за которым шевельнулась память: первых, у Воронского есть дочь Галина; во-вторых, «Валентин»—нелегальная кличка автора.

В чем же дело?

А в том, что Воронский разрубил себя на два лица: на «я» и на «Валентина».

Герой книги—Валентин.

Впрочем, героя там нет. Там куски революции, которая своеобразно развертывалась в нашей стране, ломаясь во все двери, где есть нужда и мысль.

Расщепив себя пополам, Воронский, как нельзя более удачно, сумел найти художественное выражение идущей революции. Во имя этой художественной формы изложения, Воронский до поучительности скромнен с историческими фактами. Он не утомляет изложением их, он даже не касается многих фактов. Он руководится не тем, что может быть ценно, как историческое, а лишь тем, что может быть дорого, как картинное, художественное. Он прав: ведь, часто, при изложении в мемуарах, факты, голые исторические факты, врываются на страницы мемуаров газетными, или—чего не пожелаю никому—поучающими строками,—только затуманивают картинность, художественность мемуарного описания.

Воронский лишь дотрагивается до фактов, да и то только до тех, в оправе которых сияет юношеским светом Валентин.

Этот художественный плюс книги таит в себе и минус: читатель, который в памяти своей, читая книгу Воронского, не держит хотя бы конспекта исторических событий, рискует кое-чего не познать, кое-что оставить без должного внимания. Больше того, если бы книга Воронского попала в руки совершенно сырого читателя, то он ощутил бы от чтения ее настроение некоторой революционной романтики, может быть, он услышал бы поступь борющейся стомиллионной массы, но откуда бы он узнал, что речь идет именно о 1905 г. и ему предшествующих и о 1906-м? Откуда бы такой читатель почувствовал, какое место в истории занимает, например, демонстрация у Казанского собора, какую революционно-историческую ценность имеют семинарские бунты и т. п.?

Однако все-таки такой минус не портит книги. Только став на очень уж формальную точку зрения, можно было бы упрекнуть в этом автора. Нет, автор заслуживает всячески нашего внимания и похвалы за то, что сумел

отогнать от себя призрак сухой-сухой старушки истории, которая, нет сомнения, стояла за плечами автора, постукивала клюкой, грозила, напоминала о себе. История—историкам, живые образы, живые переживания—художникам-мемуаристам.

Приходилось слышать мнения, будто Воронский уж чересчур перехудожничал, настолько, что его книга зря имеет подзаголовок «воспоминания»,—это-де повесть, а не воспоминания.

С этим никак нельзя согласиться. Повесть, как и всякое художественное произведение, помимо элементов из того, что было, содержит в себе и нечто такое, чего не было. Я не говорил с Воронским, но готов утверждать заранее, что в книге Воронского есть только то, что было. Если там и есть то, чего не было, то что это такое? Это его лирические концы главы или абзацев, лирические виньетки, вздохи писавшего. Правда, когда на самом деле действовал Валентин, этой лирики, этих вздохов тогда не было,—они вылились на страницы, когда Валентин писал о «Валентине». Поэтому лирика Воронского—это то, чего не было. Но такая «небылица» только подчеркивает быть, выделяет ее, делает яркой и особенно человеческой. Такая «небылица» не портит истинного мемуариста.

Зато художественные мемуары Воронского войдут ценнейшим вкладом в ту область литературного изображения, где действуют русские революционеры. Их быт, их психология, а главное их идейно-классовое происхождение—еще ждут и, может быть, долго будут ждать своего изобразителя.

Хотел этого Воронский или нет, но он дотронулся до этих мест, попытался дать душу революционера, действующего в огромном, многомиллионном море людей.

Правда, что многие и до Воронского подходили к этой области,—но нет, нет еще настоящего художественного разрешения этой темы. И у Воронского она не разрешена. А все же у него—живая вода, которая колыхнется и плещется и в которой художник смог бы уловить немало струй для художественного постижения революции и души.

Можно, пожалуй, без риска сказать, что если живые Валентины не дадут, не оставят революционных образов прошлой жизни, то художник едва ли будет в состоянии найти художественное выражение этой жизни только по холодным, застывшим архивным материалам. Едва ли! Понятно, почему. Ведь, революционный быт старого подполья, это—своеобразный мир. Более или менее вся радикально- или либерально-настроенная интеллигенция представляла собою как бы оболочку, среду подпольного мира. В этом мире, как зерно в протоплазме, были сконцентрированы наиболее постоянно действующие революционные группы. Такие крепкие группировки сталкивались в революционном подполье из самой гущи народной, т. е. пролетарской и крестьянской, среды. Снизу из народных пластов в подполье шли рабочие Жоржи и Яны, и Ежовы (который в митинговой речи «надолго и невылазно» застрял на «елках-палках»).

Там, в народных массах, были и совершенно своеобразные элементы, которые, однако, каким-то своим боком примыкали к революционному подполью, бывали там, любили его и журили иногда.

Эти люди—простые, но мятущиеся. Ищут они либо правды, либо чуда. Таков, например, дядя Сеня, псаломщик из села Озерки. Он один в рассказах Воронского. А разве их, таких дядей Сеней, мало раскидало в народном океане.

С такими людьми, так или иначе, но непременно соприкасался всякий, кто работал в подполье.

Революционное подполье надо понимать шире. Это не только законспирированные действующие группки, но и все то, что вокруг них, что им сочувствует. А вокруг них и по-разному, по-своему, им сочувствуя, были, с одной стороны, интеллигентские салоны мадам Жихаревых, где выступают либеральные или по-струвински марксистские модные адвокаты, а с другой—бродящие вкривь и вкось по народной ниве псаломщики на велосипедах, обижаящиеся на пирушке у кладбищенского попа за то, что люди так скуч-

но живут. Дядя Сеня с горечью восклицает: «Боже мой, что за жизнь. Луны даже нет. Дайте мне луну, найдите Христа-ради».

Русские дяди Сени—неоскудевающий источник для художественного изображения. Краснеющий при разговоре с девицами Любвин, питерский революционер Станислав и прочие другие персонажи Воронского—какой это громадный материал, какие это необыкновенные элементы для зарисовки огромных полотен! И материал этот почти не использованный!

Воронский на своих страницах в сгущенном виде ворохами набросал такой материал. Его книга потому и читается непрерывно, что она свежа, ярка. Я бы не сказал, что она художественно отделана (кто-то про нее в «Правде» писал, что это первое художественное произведение Воронского). Проза каждой густой строки ее так и сочится живой водой. Фонтаны бьют на каждой странице. Для художественности ей не хватает четкости, действия и законченности многих выведенных там фигур. Произведение Воронского есть художественные мемуары. Этот вид литературы встречается не часто. Во Франции он распространеннее. Там любят воспоминания в художественной форме (мемуары какой-нибудь Гортензии принцессы голландской о Наполеоне, мемуары об Анатоле Франсе и т. п., из самых разнообразных областей). У нас это—редкость. Воронский едва ли не первый.

Такие художественные мемуары—и только они—дадут новым поколениям истинное представление о «подпольной» стороне жизни русских революционеров в подполье. История на это не способна—история укажет числа, даты и соотношения сил (экономических, политических и др.). Воспоминания—в обыкновенном их виде, которыми заполняются многие страницы наших журналов (в особенности исторических, как, например, «Пролетарская Революция»), тоже не дадут живого представления, ибо они слишком сырой материал. В лучшем случае они будут аргументом для историка.

Воронский подошел к задаче по художественному: изобразить—и боль-

ше ничего. Изобразил. И получилось интересно и как раз то, что надо для молодежи, для тех, кто никогда не увидит ни семинарского бунта, ни вооруженной борьбы рабочих с черносотенцами на улицах Петербурга. И для тех, кто также никогда не увидит Ленина, Ленин скромно, кратко, но удивительно ясно дан Воронским.

Недостатки?

Есть и они. Где и у кого их нет? Недостатки книги Воронского не так уж велики. Основное—это то, что, начиная с семинарского бунта, который вылился в формы довольно дикие, автор никак не мотивировал этого бунта. Не надо было, разумеется, пускаться в социально-классовый анализ, но хоть тем же художественным резцом надо было бы семинаристов разрезать и показать; не только запах портянок и мышиного помета (ведь, не из-за этого же бунт!), а кое-что и поинтереснее. Хоть бы одну сцену преподавания привел нам Воронский. Было бы кстати и даже очень. А теперь, без этого, читатель прямо подумает, что Воронский—горячий сторонник Максимилиана Волошина («В начале был мятеж»). Волошин, пожалуй, и прав, что в начале был мятеж, да мы теперь хотим знать, почему это? Ни один художник-мемуарист не может, не должен этого избежать.

Не в конце ли книги Воронский пояснил неволью нам, почему он этого не сделал? Да, кажется. Воронский сознается: «Ныне я томим прошлым». А в прошлом для души Воронского самое важное, это—бунт. Это для него. Но для нашего «сегодня»? Мы, т.-е. наша сегодняшняя молодежь, «не томимы прошлым». Она томима будущим. И на прошлое смотрит, как на пролог к нему. Помогите же, дорогие мемуаристы, ей, этой молодежи, хорошенько разглядеть и понять этот героический пролог к «сегодня!» Воронский во многом помогает этому, но вот только с небольшим изъясном: у семинарского бунта, с которого начинается книга, нет фона. Картина без фона.

Что касается лирических отступлений автора, то они прекрасны, но...

Опять «но». Зачем такой грустью проникнуты они? Зачем в каждом из них виден белый-белый платок Воронского, которым он прощально машет впереди написанным своим строкам, как уходящему в небесную даль и морскую синеву большому пароходу, на котором так весело, так уютно и так много осталось милых лиц? Машет им Воронский, прощаясь с берега, и как будто боится оглянуться на то что осталось с ним, на берегу, с чем суждено ему и нам еще жить и жить... Однако на этот счет Воронский грустен. Он говорит: «Тот же закат, так же благословенны леса, но исполняются сроки»... Какие сроки, тов. Воронский? Срок вашей жизни, моей, еще многих, многих? Так пусть. Ведь, за Валентином, за всеми, кто с ним жил, живет, отдал и отдает свои соки,—идут другие, новые и, несомненно, лучшие, лучше прошлых. Мне так кажется. Может быть, на первых порах и хуже (это плата за революцию), а потом непременно будут лучшие. И сроков нет, жизнь—бессрочна, и дело, которое мы делаем,—бесконечно. Так нужно возразить Воронскому. Но, вместе с тем, надо сказать: оттого, что сроки чувствовал Воронский, оттого, что он был томим прошлым, оттого, что «заходит солнце... и вечер... и песня... и костры за рекой...»—от книги его веет таким задушевым теплом, что как прочитал, захлопнул книгу, так мир, в котором живешь, показался—пусть на один миг—холодным и скудным и проникнутым той грустью, которую Воронский успел сообщить читателю.

Таким образом, сам этот недостаток с одной стороны, с другой—превращается в художественность. Пусть бы книга Воронского пошире читалась и пусть бы она нашла себе подражателей. Тогда, может быть, в нашей литературе, где всюду разбросаны страшные маски или тяжелые слова, зажглись бы кое-где местами теплые огоньки, как лампы перед самым великим, что есть на земле: перед человеком, кующим счастье не только себе.

II. ЦВЕТНЫЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Р. Куллэ

Повышенный интерес, наблюдаемый сейчас к колониальному вопросу во всем мире, нашел свое отражение и в художественной литературе, вдруг набухшей до необычайных размеров книгами, посвященными неграм, арабам, марокканцам, аннамитах, индусам, перуанцам и т. д. и т. д. Черные, кофейные, желтые, краснокоричневые и в иные оттенки кожи окрашенные обитатели континентов, полуостровов и островов — из девственных чащ тропических лесов, со склонов гор, из цветущих первобытных долин, из выжженных песков пустынь, с берегов немислимых, экзотических рек — ворвались пестрой, пропитанной терпким запахом, толпой на страницы европейских книг, замелькали на их бесчисленных листах, заговорили на сотне убогих наречий, развернули слепящую разноцветную вязь своих верований, обычаев, бытовых и расовых особенностей перед любопытным читателем... Случилось так, что все, кто хоть кончиком языка лизнул по какому-нибудь краешку Азии, Африки, Полинезии, заспешили рассказать миру о виденном и слышанном.

Эта на три четверти бездарная и ненужная литературная продукция вдруг выросла в какой-то огромный гнойник.

Мы, конечно, не сможем в небольшой статье совершить путь через необозримые степи этой бескрайней литературной производительности, растущей с каждым днем; мы ознакомимся лишь с наиболее характерными в каком-либо отношении книгами. Если, в редких случаях, пишет книгу туземец, он тонет в поэтической красочности, или захлебывается в водовороте нечетко осознанных протестов; если это европеец, он «за деревьями не видит леса» и подходит к материалу с неверным по существу масштабам, силясь проникнуть за заповедную грань. Конечно, такие «сочинители негритянских романов» приносят мало пользы, скользая лишь поверхностно по материалу из опасения быть им раздавленными...

В том и другом случае читатель не получает впечатления глубокой убедительности в такой мере, как он ее имеет от художественного произведения европейской литературы. Это не лишает, разумеется, лучшие «колониальные романы» их литературной ценности, но указывает на то, что настоящие книги о «цветных» еще не написаны. Их напишут, вероятно, сами «цветные»; когда полнее и глубже осознают себя и свое дело в жизни.

Колониальный роман, о каких бы народах и местностях он ни повествовал, и к какому бы жанру он ни относился, резко распадается на два типа: приключения европейца, или группы их, в экзотической обстановке среди туземцев, которым уделяется известное «этнографическо - нравоописательное» внимание с большей или меньшей степенью достоверности и понимания, и — жизнь, переживания и приключения самого туземца с установкой на его психологию, расовые, этнические, бытовые и проч. особенности с большей или меньшей степенью правдивости и проникновения в его бытие и сознание. За последнее время наблюдается зарождение смешанного, гибридного типа, с одной стороны, а с другой — переход авторства романов второго типа к самим туземным писателям, что прежде почти совсем не имело места.

Мы бросим беглый взгляд на отдельные вехи развития литературных традиций того и другого типа колониального романа, чтобы полнее и глубже понять особенности современной художественной литературы о цветных...

В известном смысле основоположником колониального романа первого типа может быть назван знаменитый «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Все элементы этого типа романа в нем налицо: европеец Робинзон, попадающий в экзотическую обстановку пустынного острова после кораблекрушения и ряда

приключений на суше и море, добродетельный дикарь Пятница, его соплеменники-людоеды, миссионерство Робинзона и его несомненная находчивость, энергия и талантливость организатора — качества, столь необходимые для всякого колонизатора — не оставляют сомнений в правильности отношения этого неизменного «спутника детства» к разряду колониальных романов. Многочисленные «робинзонады», вызванные подражанием, находили читателей еще и потому, что в Англии XVIII в. вопрос о колониях встал во весь рост политико-экономической потребности.

В XIX в., вместе с быстрым развитием техники и поступательным завоеванием колоний, растет и колониальный роман этого типа с неизменной фигурой отважного героя в центре. Герой — миссионер, охотник, администратор и воин, в зависимости от фазы развития колониальной политики метрополий, но неизменно он победитель и повествователь о своеобразиях быта и жизни туземцев, выступающих в произведениях или декоративно (для «этнографии»), или в роли врагов, слуг, низших существ и т. д., которых герой непременно побеждает и покоряет.

Нужно ли перечислять всем знакомые романы этого типа? Характерно, что после путешествий Давида Ливингстона по Южной и Центральной Африке установка в колониальном романе бесповоротно переносится на внедрение «цивилизации» среди диких.

В наши дни этот тип романа частью дошел в неприкосновенности, частью модернизировался, соответственно требованиям времени. Но об этом мы еще будем говорить ниже.

Второй тип романа — с центральной фигурой туземца — едва ли не обязан впервые сентиментальной Г. Бичер-Стоу с ее «Хужиной дяди Тома». От нее повелась эта чувствительная литературная струя, рассчитанная па добродетельное сердце сытого читателя, лишний раз не отказывающего себе в удовольствии теоретически сказать ближнему: «Ах, и негры—люди»,—в роде знаменитой карамзинской сентенции: «и крестьянки умеют любить»,—а

практически продавать, линчевать и третировать ниже животных тех же негров...

Однако количество таких романов значительно уступает продукции первого типа и не только потому, что первый тип полнее отвечал «социальному заказу» времени, но и потому еще, что эта литературная традиция давала больший простор приключенческим элементам, отзвучнее преломлялась в литературном восприятии и плодила большее число подражателей. Чувствительная любовь к «меньшому брату» пользовалась литературным успехом, гл. обр., тогда, когда она была направлена на белых, а не на «цветных», к которым питали скорее любопытство, презрение и... страх. Самый подлинный страх перед неизвестной, но могущей вырасти до гигантских размеров, опасностью — «желтой», «черной», словом, цветной... И только в книжках для детей, да у лукавого Марка Твена, создателя знаменитого Джима, — сохранилось доброе, снисходительное и человеческое отношение к неграм — чуть слащавое здесь, чуть насмешливое — там...

Долгое время излюбленной страной для всяческих приключений бесстрашных культурных европейцев среди цветных туземцев была Америка, где краснокожие индейцы, вымиравшие, но с величайшим трудом подававшиеся «цивилизации», привлекали внимание романистов глубоким своеобразием быта, нравов, мировоззрений... Расплодилось огромная литература «индейских романов», получившая в Германии особое название «Indianesgeschichte», предназначенная для «юных читателей», в будущем долженствующих выступить в роли деятелей по проведению принципов колониальной политики. Вся северная, средняя и часть южной Америки были описаны на всех языках под углом зрения «индейских» приключений романистами, среди которых Фенимор Купер, Майн Рид, Густав Эмар, Луи де-Буссенар и др. стали классиками «юношеской литературы». Установился известный канон та-

кого типа приключенческого романа, где опасность, схватки, охотничьи сцены, тонкости военной тактики перемежались с описанием пейзажа, психологическими характеристиками и «этнографическими» страницами, предназначенными для ознакомления читателей с особенностями быта и характера «диких». По мере развития бешеного темпа капитализма в Америке, сосредоточивавшего всю жизнь и интересы в гигантских городах с их темными, пестро заселенными пригородными и портовыми кварталами, тематика этого вида литературы обращалась в сторону городских, портовых, морских, железнодорожных мотивов, и в приключенческом романе сниженного типа замесили негры, метисы, креолы, индейцы, китайцы и т. д. в обстановке преступлений и хаоса «дна» большого города-спрута. Здесь, в курильнях опия, в темных тавернах и портовых притонах, в публичных домах и разрушенных зданиях склублились цветные персонажи романов, перенесенные с просторов прерий и со склонов гор в пригородные кварталы, как заговорщики, преступники, авантюристы, алчущие наживы и берущие ее с бою какой угодно ценой... Героями стали полицейские, сыщики, контр-авантюристы и проч., но те же «белые», чувствующие за собой превосходство «цивилизации».

В наши дни волна авантюрного романа с участием цветных спадает под влиянием вырождения литературного и социального. Внимание привлечено не к выродившимся уже индейцам и американским неграм, а к новой этнической комбинации метисов, населяющих еще недостаточно «цивилизованные» колонии романского юга, преимущественно республики Южной Америки: Аргентину, Венесуэлу, Перу, Чили, Эквадор и т. д. Там непочатый край возможностей для «цивилизаторской» энергии колонизаторов, там тьмы тем естественных богатств и широчайшее поле для предприимчивых торгашеских методов богатых янки и ищущих счастья бедняков-европейцев. И на страницы современного колониального романа врываются метисы, перуанцы,

аргентинцы и всякого рода иные полукрашенные туземцы вновь открытого юга. Романы Стриблинга («Генерал Фомбомбо»), итальянца Джильберто Беккари («La Amazona pomada», Vita vergine); немца Лео Колиша («В стране будущего»), южно-американского испанца Вентура Гарсиа Кальдерон и целого ряда испанских и бразильских писателей на испанском и португальском языках (Хосе-Этасио Ривера, Хуан-Мануэль Планас, Альберто Ранхель, Альсидес Аргуэда и др.) рисуют жизнь, людей и их отношения в этих провинциях. Великое своеобразие обычаев, воззрений и нравов привлекает читателей к этой литературе. Есть известная «свежесть» во всем, что связано с особенностями жизни в этих далеких южно-американских колониях, населенных самой пестрой смесью всех рас — черных, желтых и белых. Для литературного творчества это — новое откровение, отдушнина и неразменное богатство.

И литературные европейцы устремились в эти сказочные страны, чтобы еще раз стать центральными героями романов, вокруг которых так эффектно группируются захватывающие приключения, экзотический пейзаж и литературно-преображенные цветные люди с их верованиями, песнями и обрядами.

Завоевание и открытие мира художественной литературой захватывает и островные колониальные владения европейцев и американцев. Минувя Полинезию и Австралию, мы перенесемся на Филиппины и в Индо-Китай. Некогда испанские, ныне принадлежащие Сев.-Ам. Соед. Штатам, Филиппинские острова — центр мыслимой экзотики вообще. Их роскошная тропическая природа, красивое население, неисчислимые богатства плантаций и земных недр, их исключительное положение узловых пунктов перекрестных морских путей всего мира, давно уже сделали эти острова предметом не только великого спора колонизаторов (голландцев, испанцев, американцев, португальцев, французов, англичан), но и привлекательнейшим центром для ищущего необычайной и потрясающей

фабулы пера романистов. Старик Майн Рид не обошел их своим вниманием («Остров Борнео»), и с тех пор прочно установилось в литературе сюжетное паломничество в эти благословенные сады мира.

Перечислять известные и уже устаревшие романы, связанные с этими островами, мы не станем, отметим, однако, что способы эксплуатации населения и выкачивания неистощимых богатств из этой сокровищницы уточнились и, если можно так выразиться, «фордизировались» с переходом ее в руки хитроумных янки. Если это не находит отражения пока в американском колониальном романе, посвященном Филиппинам, то подмечается в книге датчанина Эббе Корнеруп «Филиппины», написанной ярко, красочно и художественно, несмотря на то, что ей не придана форма романа с определенной установкой на сюжет и мотивировку.

В форме записок и путевых впечатлений написана и книга Рол. Доржелеса — «Дорога мандаринов», посвященная французскому Индо-Китаю. Эта книга — самое яркое из всего, что написано об этой громадной колонии Франции в Азии.

Едва ли найдется роман, хотя бы и Жана д'Эсм «Дочь Аннама», могущий поспорить с этой книгой Доржелеса, прошедшего пешком, проехавшего на автомобиле эту громадную «дорогу мандаринов», по обеим сторонам которой лежат... страдания и горе аннамитов, довольство и благополучие колонизаторов. Мелкотравчатые авантюристы, живущие легализованным грабедом рабов-туземцев и казны, мошенники-колонизаторы по-своему переименовали карту Индо-Китая: «Аннам, Тонкин, Кохинхина, Камбоджа, Лаос — читаются теперь так: рис, каучук, уголь, цемент, хлопок, цинк, копра». Блага этих владений обогащают одних — европейских колонизаторов, но из-за них же страдают, умирают, спиваются, закуриваются опиум, продаются в рабство за 30—40 пиастров с головы, насиляются, избиваются другие — туземцы-аннамиты. Эта колониальная система, возглавлен-

ная опереточно-комичными и всерьез гнусными правителями, заместителями, чиновниками и священнослужителями-миссионерами, так полно и выразительно говорит за себя в книге Доржелеса, что лучше всякого романа убеждает читателя в высокой «ценности благ европейской цивилизации»...

Перо другого французского писателя, далеко не столь обличительно-резкое, служит тем же темам о колониальных отношениях в Индо-Китае, Мадагаскаре и Африке. Пьер Милль, один из плодовитейших романистов современной французской литературы, хорошо знает жизнь колоний, особенно огромного Мадагаскара, где своеобразная экзотическая обстановка и специфической этнический клубок требуют большой административной осторожности и сугубого внимания при управлении, основанном на принципе полного содействия ограблению туземцев. Колоритная фигура Партонно («L'illustre Partonneau»), б. вице-короля Мадагаскара, обрисовывается в тонах яркого галльского юмора и может дать читателю представление о жизни и обычаях, если не цветных Мадагаскара, то того колониального общества, которое играет первую скрипку в управляемой губернатором провинции. В целом ряде произведений, посвященных французским колониям в Африке, П. Милль интересуется преимущественно теми центральными персонажами европейцев, вокруг которых все остальное играет лишь подсобную, иллюстрирующую роль.

Это дает нам право ценить его произведение в пределах указанного выше типа колониальных романов.

Охват интересов современного колониального романа настолько велик, что мы лишь медленно подвигались бы по карте колоний, если бы поставили себе целью заглядывать во все уголки мира. В интересах экономии места мы обойдем классическую страну прежнего приключенческого романа — Индию, где на ряду с произведениями второсортных авторов, поражавших чи-

тателя неизменным арсеналом тайн, факторов, змей, тигров, буддийских пагод, джунглей, слонов и прочих постижимых и непостижимых элементов «хорошего экзотического» романа, подвизалось блестящее перо талантливого Ред. Киплинга, и где теперь звучит художественно-убедительная речь Габиндранат Тагора, заслуживающего не упоминания в статье о колониальном романе, а отдельной статьи, посвященной его изумительному творчеству.

Несомненного внимания заслуживает роман из жизни Египта А. Адес и А. Иозиповича «Книга о Гохе-дураке». Эта книга прежде всего принадлежит ко второму типу романов, в котором мы говорили, как о произведениях с установкой на самого туземца в центре действий повествования. Написанная египтянами, «Книга о Гохе-дураке» обладает всеми преимуществами произведения, вылившегося из сознания, совершенно адекватного материалу, чего нет у европейских авторов, пишущих о цветных.

Эти египтяне видели и слышали, чувствовали и переживали, как их соотечественники, жили их интересами, и понимали то, что так неопределенно называется «душой народа». Своеобразная стихия мусульманского Востока с цветами и запахами, обычаями и воззрениями, общественными, брачными, религиозными и бытовыми отношениями раскрывается в этой немудрой по существу, но такой показательной и убедительной повести о примитивном сознании красивого, но недалекого Гохи, в котором О. Мирбо усмотрел «общечеловеческие» черты. Не будем касаться этого деликатного вопроса, укажем лишь, что в смысле классовой типичности для сегодняшнего мусульманского Египта с его особенностями полу-колонии, полу-автономного халифата под протекторатом Англии и юродивый Гоха, и ученый шейх Эль-Заки, и гаремная красавица Нур-Эль-Эйн, и негритянка Хава и все прочие персонажи — выпуклы и художественно-убедительны. Вот эта-то убедительность и ставит роман двух египтян в особый ряд литера-

туры, суггестивирующей читателю образами, а не публицистическими приемами писания.

К сожалению, громадное большинство романов, посвященных североафриканским колониям французов, отличается именно этим недостатком. Они неизменно дают чувствовать автора-европейца, изучавшего вопрос сначала книжно, потом проверявшего знания в путешествии с внимательным анализом и примериванием: подойдет ли виденное и слышанное к усвоенному. И, конечно, подходило, ибо и видит и слышит такой автор только то, что до этого воспринял из книг.

Империалистическая война натолкнула европейских дипломатов на пересмотр вопроса о колониях в связи с условиями послевоенного мира. Известно, что Германия была лишена своих колониальных владений, разделенных между «могущественными победителями». Англия и Франция долго улаживали эту сложную абракадабру и словом и оружием между собой и соседями. За это время лопнул вдруг давно назревший нарыв, названный «вопросом о Марокко», в создании которого принимали в свое время участие и Вильгельм и Альфонс испанский. Война с риффами, волнения по всему северному побережью Африки, глухими раскатами kloчущий вулкан протестующей воли умудренных гнетом и войной арабов и мароккских, тунисских, кабилских и проч. племен, создали пылающий костер по побережью Средиземного моря, ни в каком отношении не могущий способствовать «мирному процветанию» в сени «послевоенного благополучия»... В первую голову заволновалось французское буржуазное общество, обеспокоенное за свои «интересы» в стране, готовой отвергнуть «цивилизацию», с таким трудом внедрявшуюся десятками лет. Интерес к этим колониям гигантски возрос. Спрос на всякую литературу, освещающую все стороны жизни, быта и населения этой полосы африканского берега, вызвал большую волну предложений.

Заскрипели перья публицистов, экономистов, фольклористов, этнографов

и... беллетристов. Экзотика стала уличными пирожками, доступными всем. Пропала совсем литературно-стилистическая величавость описаний, достойная такого сюжета, как «заповедный», «таинственный» Восток. Пьер Лоти и его верные ученики, среди которых современный Клод Фаррер наиболее близок ему по стилю, вуалируются в сознании сегодняшнего читателя, далекого от восхищения и повадки на нарочитость и литературную стилизацию, характерную для этой школы французской художественной прозы.

Трезвое, детальное описание бытия и сознания арабских племен северной Африки становится на очередной пункт повестки литературного дня. Прием по большей части все тот же: европеец в окружении туземного населения, но центр внимания в большей или меньшей степени передвигается на сторону цветных, на великую культурную разобщенность их с колонизаторами, бессильными привить своим подданным не только европейскую этику, но и сознание правовых норм, проповедуемых с высоты бойкотируемых населением судов. Внешне цветные соблюдают все правила и законы, введенные в стране, но между собой они их презирают и с ними не считаются. Обычай кровавой мести, все сложные изгибы восточного «адата» (обычное право) противостоят победоносно культурным европейским институтам.

Эта глухая, порой обостряющаяся до крайних напряжений, борьба двух миров составляет главную фабулу современных колониальных романов европейцев, изучивших арабскую мудрость корана и его священных толкований, но не могущих проникнуть в истоки психики мусульманина. Материал владеет писателем, как только он отступит от канонических приемов европейского авантюрного романа с участием туземцев.

Типичен такой отступ у наиболее популярного сейчас во Франции Фердинанда Дюшена, знатока книжного Востока, талантливого рассказчика, блестящего стилиста, но скорее публи-

циста, чем художника. Его романы из марокканской жизни насыщены материалом, в них раскрываются сокровеннейшие стороны интимной, семейно-гаремной, общественно-бытовой жизни («Тамилла» и др.), они богаты занимательной интригой («Под мерный шаг караванов»), они рисуют противоречия колониальной политики в гуще первобытных воззрений и обычаев «кровавой мести» и проч. («У подножья вечных гор», «Око за око»), они, наконец, неизменно построены без героической фигуры европейца и имеют установку только на туземцев, но они не являются, несмотря на все достижения, художественным откровением о современном Востоке. Еще в меньшей степени достигает этого эффекта модная сейчас Элиса Райс, сделавшая своей специальностью описание психологии восточной женщины во все минуты ее жизненного пути. В романах и рассказах Райс мы видим танцовщиц, жён, любовниц, проституток, дочерей и просто флегматичных восточных красавиц, о которых она подробно рассказывает и в «Сааде-марокканке», и в «Свадьбе Ханифы», и в «Дочери Дуара», и проч. многих ее произведений. Задавленная этнографическим и бытовым материалом, Райс засушивает художественную сторону произведения, справляясь со своей задачей публицистически...

Мы не можем уделить большего внимания произведениям этого типа колониального романа, в центре которого стоят фигуры туземных цветных. Но на гибридной форме, вышедшей из сплава указанных выше типов, остановиться следует. Мы склонны усмотреть черты такого сплава в целом ряде романов, написанных отчасти европейцами, отчасти туземцами, а порой и в сотрудничестве европейца с туземцем, как это получилось у Бонжан — француза и Ахмета Деиф — араба в их романе «История ребенка из египетской страны». («Histoire d'un enfant du pays d'Egypte»).

Бойко и занимательно написан типично-авантюрный роман Ф. Геллера «Тысяча вторая ночь», в котором и европейцы и арабы переплетены в пестрый клубок приключений, с самыми

невероятными вещами в центре повествования. Рассучив сюжет на две линии, автор искусно их переплетает и разводит снова, чтобы в конце концов, привести к благополучному для всех концу. В этом романе гибридная форма узаконяется, становится типичной, свидетельствует о живости традиции авантюрного романа интриг.

Гораздо удачнее и серьезнее взялся за дело англичанин Стивенс, давший в своем романе «Покрывало» форму смешанного авантюрно-социального романа с упором на определенную мысль, высказанную им не только в образах действующих персонажей с героем Си-Измаилом во главе, но и сформулированную им весьма недвусмысленно: «Ни один народ не сохранит жизнеспособности, если он поработен другим». А потому, во имя освобождения своего народа, все средства, разбивающие оковы рабства, хороши. Си-Измаил ведет сложную политическую игру, не чужд героических черт, но сам рабски прикован к адату, к типично-восточному взгляду собственника на женщину, чтоб стать персонажем, переростающим рамки буржуазного Востока. Он гибнет, подняв восстание против французов в Керуане, и ему некому завещать своего дела.

Герой Стивенса сильно напудрен европейской культурой, он учился и долго жил во Франции, он искусен, опытен и потому сдержан и холоден. В нем все элементы героического персонажа в хорошем социально-авантюрном романе налицо. И если он гибнет, то лишь потому, что он одинок в деле, требующем однородной по уровню среды. Коллектив медленно растет, если его не возвращают искусственно.

К этому же типу, но без европейского «припудривания» следует отнести очень занимательный роман итальянца Лучиано Цуккелли «Киф-тебби», имеющий установку не столько на социальную, сколько на психологическую обрисовку современных типов арабов северо-африканского побережья.

В наивном романе араба Абделькадер Гади-Гаму «Зора» описан этот туземный коллектив, которого как бы и

нет. Рабочие шахт города Милиани в Северной Африке распылены, напуганы хозяевами и ни о какой организации думать не смеют. Их искусственно спаивают товарищи-европейцы, народ прожженный и тертый, продавший многострадальный путь бродяг или авантюристов, прежде чем попасть в этот благословенный уголок земли, где горнорабочие беззащитно эксплуатируются колонизаторами, проводя скучный досуг за проемом грошей в бесчисленных кафе города. Мусульмане, не пьющие по закону, невольно втягиваются в пьянство, покидают свои очаги, у которых чахнут обманутые и забытые восточные рабыни-жены, эти Зоры, умирающие с горя и печали.

К преступлению и тюрьме приводит мусульманина-рабочего колониальный способ эксплуатации его силы на Востоке.

Об этом кричит Абделькадер на каждой странице своей книги, наивной и простой, как психика несчастной Зоры.

Заканчивая об арабах в колониальной литературе современности, нельзя обойти молчанием небольшую книжечку Симоны Пеллегрен «В доме Хабибы», единственную, кажется, насыщенную подлинно поэтической концепцией этого своеобразного северо-африканского восточного мира. Крошечные рассказы книжечки Пеллегрен дают только мелкие бытовые и психологические штришочки, миниатюры, из которых вырастают яркие образы женщин Алжира и Марокко, живые, дышащие и мыслящие своей ленивой вязью дум и грез неспешного восточного женского сознания...

В современной колониальной литературе одно из видных мест отведено черным африканским племенам негров. Это, конечно, не случайность. «Негрский вопрос» родился вместе с первыми колонизаторами капитализма и насчитывает большую давность. По жестокости, упорству и чудовищности приемов, эксплуатация негров в течение столетий не имеет равной себе в истории колониальных преступлений.

Негр — ничто, дешевле собаки, негр — товар, негр — вьючное животное, негр — раб, негр — пушечное мясо, негр прошел все стадии унижений, презрения и плевков. Он вырождается и гибнет, и вдруг... негр нужен: из негров составляются «цветные войска», «сенегальские стрелки» решают чуть ли не исход мировой бойни. В испуганном сознании заметавшихся после войны побежденных негр вырастает в какую-то мистическую силу, которой судьба вручила чашку весов человечества... Освальд Шпенглер, философ и пророк закатной буржуазной Европы, склонен видеть «черную опасность», надвигающуюся из Африки на «цивилизацию» Европы. 28 февраля 1924 г. он произносит в Вюрцбурге речь к молодежи Германии, в которой между прочим говорит: «Остается, однако, фактом, что на юге от Европы огромная страна разбужена от сна и втягивается в мировую политику, так что предстоящие европейские столкновения могут уступить место этой силе»...

О «черной опасности» говорить не будем, а о несомненном пробуждении в Африке, о движении среди негров, о их стремлении организовать, отрядно говорит множество фактов. В 1920 году в Нью-Йорке состоялась негрская конференция, на которой участвовало 3.000 представителей от 50.000 черных, прошедших под черно-красно-зеленым знаменем по улицам с лозунгом «Соединенные Штаты Африки». На конференции был сформирован «высший совет негров», обсуждались вопросы об образовании «эфиопского царства» с черным парламентом, черной армией и флотом... В 1921 г. прошли 3 негрских конгресса в Лондоне, Брюсселе и Париже; вождь негрского движения (Маркус Гарвей) опубликовал в 1922 г. обращение к черной расе, призывая всех негров на «священную войну» против народов «белой расы»... Словом, факты говорят о действительном пробуждении сознания среди негрских народов Африки и разбросанных по всей Америке их представителей.

Отдельные негрские беспорядочные восстания и убийства из-за угла белых

свидетельствуют, что черный котел Африки находится под высоким давлением бурлящих революционных эмоций.

В художественной литературе Африка испокон веков — еще от первых греческих романов приключений — стала классической страной авантюрного романа. Писатели посылали своих героев в Африку еще, пожалуй, охотнее, чем в Америку. Через «дебри и пустыни», через тропические леса, через горы и недра Трансвааля, по берегам таинственных молчаливых озер и мутных желтых рек бродили охотники и ищущие приключений литературные смельчаки, сталкиваясь с людоедами, великанами, карликами и иными черными раритетами этой удивительной страны. Купец, плантатор и миссионер стояли долго в центре занимательных приключений героев колониальных романов, с большей или меньшей талантливостью поражающих чувства и воображение читателей. Райдер Хаггард рядом с признанными уже мастерами авантюрного романа стяжал себе славу великолепного рассказчика о захватывающих приключениях в центре и на юге Африки.

Характерно, что послевоенный роман приключений в условиях социально-экономического кризиса Франции прежде всего стал строиться на почве этой «африканской» литературной традиции, и Пьер Бенуа, признанный его современный мастер, весьма своеобразно «заимствует» у того же Хаггарда сюжеты своих африканских произведений («Атлантида»).

Большинство произведений, посвященных Африке и неграм, примыкают к типу того колониального романа, в центре которого стоит европеец-администратор или купец, окруженный африканской природой и цветными людьми. Мы их рассматривать не будем, хотя бы они были написаны столь же занимательно и «честно», как «Озера безмолвия» де-Вар-Стеклола.

Сейчас уже имеется достаточное количество произведений другого типа, написанных частью европейцами, частью принадлежащих перу самих негров-писателей.

Бесспорно, наиболее ярким литературным явлением в этой области является талантливый Рене Маран, поразивший читателей всего мира своей сочной, свежей, художественно убедительной и поэтически насыщенной книгой «Батуала», получившей в 1921 г. — не без колебаний жюри — Гонкуровскую премию. Р. Маран — негр, получивший европейское образование и живший долго в Париже. На нем скрестились две стихии: родная — негрская и впитанная образованием — европейская и зажгли его литературное дарование своеобразным горением, в свете которого мы по-новому видим тех самых черных, о которых так долго и так неверно рассказывали европейцы. Маран работает над созданием «негрского романа» в европейской литературе, и мы ни на минуту не сомневаемся в успешности его предприятия.

Последовавшие за первым романом «Батуала» книги «Джума» и «Роман негра», который автор еще заканчивает, являются продолжением не только той же темы, но и развитием того же сюжета, уснащенного значительно большей сложностью психологии и социальных мотивов. Эти романы, бесспорно, открывают новую страницу в истории колониального романа, являясь недостижимым образцом не только для европейских «стилизаторов», но и для будущих подражателей из туземной среды.

Среди последних выделяется Луи Фэвр со своим романом «Тум», переведенным и на русский язык.

Говорят, что Луи Фэвр тоже негр. По насыщенности колорита, по отдельным чертам психологической мотивировки, по бесспорному знанию материала, природы и людей, какие он обнаруживает в своем произведении, мы можем поверить в его негритянское происхождение, но что его роман литературно заражен европеизмом и, в частности, неудачной идеей налуганного «черной опасностью» Шпенглера о будущем «порабощении» европейцев неграми — это несомненно. Однако большие достоинства «Тум» не заслоняются этим налетом непереваренной

идеи Шпенглера. Фэвр мастерски описывает жизнь туземцев, чувствующих свое расовое превосходство над белым начальником, которому они подчиняются, но которого презирают, хотя он и обрисован в тонах совсем не плохого человека. Психология негритянской девушки, ставшей «временной женой» белого человека, разработана полно и убедительно. Мы понимаем, что полной искренности и взаимного понимания в сложившихся условиях между Тум и «белым господином» быть не может: у негритянки навсегда останутся свои вкусы, склонности, симпатии и мысли, которыми она с белым не поделится.

Эта литературная тема «временной жены» стала модной и не раз уже привлекала внимание писателей. Альфред Шомель пишет свою «Аминату», рассказывая судьбу черной красавицы, временной игрушки начальника округа, брошенной им при отъезде и гибнущей на скользких дорогах, запятнанной презрением своей среды.

Вообще же негрская женщина заняла видное место в сегодняшнем колониальном романе. Ее влияние на жизнь и людей учитывается писателями, и мы находим весьма любопытное повествование о сильной, колоритной негритянке Адове, поставленной в центре романа англичанки Дороти Миллс «Черные боги». Этот роман богат этнографическим материалом, дает весьма четкое представление о быте и правах округа Ниору в Западной Африке, куда попадает молодая англичанка, жена белого начальника — полуфранцуза, полуангличанина. Оригинальна в этом романе мысль о засасывающей силе стихийной африканской атмосферы, влияющей и на европейцев. Миестрис Анна постепенно поддается усыпляющему сознанию влиянию окружающей негрской среды, становится апатичной, равнодушно смотрит на жизнь и ее интересы, утрачивает всякие желания и растворяется целиком в ленивом, отупляющем безразличии прозябания. Эта особая «черная болезнь» угрожает европейцам, если они не будут деятельны, если они попытаются проникнуть глубже в стихию негрского бытия. Социальная сторона ро-

мана орнаментирована автором линий сюжета, включающего и отзвуки негроского движения современности.

Жуткое впечатление производит чтение книги негра Афимассанги в переложении немца Ф. Бильзе — «Черная волна». Герой книги негр Самбори обрисован каким-то кровавым мстителем, изрыгающим проклятия и жаждущим крови и отмщения за... потерю немцами колоний. Эта неприкрытая тенденция обиженного немецкого колонизатора, перекроившего по-своему наивные записки Афимассанги, обесценивают совершенно произведение. Если откинуть все «немецкое» в книге, останется незатейливая повесть о приключениях и огорчениях, надеждах и разочарованиях, обиде и мести негра Самбори, ненавидящего французов, убивающего жену генерала и проклинающего «цивилизацию» и постройку жел. дороги через Сахару.

Насколько тенденция обесценивает художественную сторону произведения, видно хотя бы из сцены собрания заговорщиков-негров в лесу, пришедших ночью при свете луны обсудить судьбы своего народа. Но вот выступает почтенный старец и, проклиная французов, говорит о добродетелях колонизаторов-немцев, не угнетавших негров потому, что у этих белых глаза «ясные, как небо»... Ничтожество такой «обработки» записок негра Афимассанги доказывать не приходится.

Не лишены сладенькой тенденции — только обратной — книги французов Жерома и Жана Тардо, специализировавшихся на выполнении «социальных заказов» по вопросам о французских колониях. Из множества книг этих бойких публицистов особо выделяется «Прогулка Самбо Диуф» — повесть о красавце-негре, пошедшем за наследством в соседний округ и захваченном по дороге мобилизацией. Он попадает в 113 сенегальский полк и принимает участие в войне. Раненый при атаке на немцев, Самба попадает в госпиталь в Марселе, награждается орденом и возвращается домой в деревню, где все ему удивляются и завидуют той пенсии, которую он будет получать за увечье от французского правитель-

ства... Ах, какое счастье быть таким почтенным негром-медалистом! Ничтожество и этого произведения сомнений не возбуждает.

На фоне этих гибридных форм колониального романа отчетливо выделяется большой социальный роман Сары Миллэн «Божьи пасынки» («Cod's step-Children»), получивший в русском переводе заглавие «Цветная кровь». Как и всякий социальный роман, произведение Миллэн тяжело оборудовано историческим разбегом и всесторонней мотивировкой общественно-психологической канвы романа. Чтоб доказать такую бесспорно-значимую социальную мысль, что достаточно капли черной крови в человеке, чтоб он стал отщепенцем «цивилизованного европейского общества», Миллэн приводит в движение громадную машину истории четырех поколений. Этот сложный монтаж романа делает его тяжеловесным.

Английский миссионер попадает в Южную Африку и, отверженный любимой девушкой, женится на негритянке. В первом же поколении («Дебора») проклятие общества сказывается: часть детей пастора растворяется в массе туземцев, слившись с ними этнически, одна дочь (Дебора) вступает на линию очищения черной крови путем брака с метисом, во втором поколении («Клейнганс») дети уже светлее, но общественное положение их среди фермеров незавидное; третье поколение («Эльмира») дает более чистый тип, и уже в браке Эльмиры с настоящим белым, стариком-вдовцом, рождается представитель четвертого поколения (Бэрри) — мальчик, ничем не отличающийся от европейцев. Он културен, он проделал войну в Европе, он женился на англичанке, но... в нем есть капля черной крови. И эта черная кровь тяготее проклятием над ним. Пока его жена не знает его тайны, он счастлив, но его личная жизнь расстраивается и должна пойти по другому руслу с момента обнаружения тайны его рождения и истории ближайших предков...

Говорят, этот роман вызвал негодование в буржуазном чопорном английском обществе. Он, действительно, затрагивает одну из больших струн

многозвучной лиры английской колониальной политики. Для нас он даже не слишком любопытное чтение, так как мы далеки и чужды «больных мест» англичан и требуем художественности от произведения. А этими качествами не богат роман Миллэн.

Наш обзор закончен. Он краток по количеству рассмотренных произведений, выбранных из груды бескрайней продукции на темы о современных колониях Европы.

Воздерживаясь от выводов, мы просто оглянемся на пройденный среди «цветных» путь нашего обзора и попытаемся остановить внимание на эволюции форм колониального романа.

Каноническая форма авантюрного романа с участием цветных распалась. Классические романы прославленных авторов, помещавших в центре внимания читателей европейца-охотника,

купца и пастора-колонизатора больше не влекут к себе взрослого читателя, оставшись на долю какого-то этапа в чтении подрастающего поколения.

Новые формы современного колониального романа еще не найдены. Они нащупываются, отражаясь у европейских авторов в изживаемых приемах старого типа, в гибридных формах и в аморфности построений публицистических докладов, скрученных цепью сюжетного сцепления по типу авантюрного романа.

«Цветные» сами пишут еще немного, но блестящее среди них свежестью дарование Ренэ Марана возбуждает надежды на оформление в конце концов своеобразного типа «негрского романа», в котором другие «цветные» авторы найдут образцы для собственного творчества.

Во всяком случае, иное будущее «цветному» роману обеспечено.

III. К Н И Г А С М Е Р Т И ¹⁾

Герм. Сандомирский

Я держу в руке эту страшную книгу с такой невинной с виду и даже нарядной парижской обложкой. Я читаю и перечитываю ее заглавие: «Смерть Израиля», и мне кажется (пусть простит мне автор!), что оно ни на одну тысячную не выражает ее содержания.

Но это не важно, а важно то, что через книгу Лекаша мы должны все пройти. Мы должны, вместе с ним, проделать его неслышанное, неповторимое путешествие по разоренным, обугленным еврейским городам, местечкам и колониям Украины, вместе с ним прослушать весь длинный, почти нескончаемый свиток жалоб, которые ему принесли. Это — самое меньшее, что мы можем сделать.

Но кто такое Лекаш? Каким образом попал он сначала в Москву, а затем на Украину? Чему мы обязаны появлением этой удивительной книги?

В своей автобиографии специально написанной для этой статьи. Лекаш говорит:

«Мои родители и, конечно, предки — русского происхождения. Они родились и жили в России, вернее, на Украине, в течение долгих лет. У меня до сих пор не было ни средств, ни времени, чтобы заняться собственной генеалогией. О моей отцовской линии я знаю, что она обосновалась на юге Украины и в Крыму несколько десятков лет тому назад. Семья матери жила долго в Херсонской губернии, но происходит из Подолии или Волыни.

Отец мой, человек простой и честный (я говорю об этом не потому, что он мой отец, а потому, что это правда), родился в Херсоне. Семья, к которой он принадлежал, отличалась многочисленностью и бедностью. Отец его умер, когда он еще был ребенком, и

¹⁾ Bernard Lecache, «Quand Israël meurt.», Edit. du «Progrès civique», Paris, 1927.

детство свое он провел впроголодь. Братья рассеялись по деревням и местечкам Крыма. Отец переезжал от одного брата к другому, часто делая огромные расстояния по степи пешком и питаясь тем, что ему посылал случай. Восемнадцать лет от роду он начал основывать какие-то просветительные кружки, но все они неизменно запрещались властями. Уже в то время вокруг него кипела борьба против ненавистного самодержавия, и он, конечно, не оставался безучастным к этой борьбе. У матери в семье было то же самое. Все члены ее отличались свободолобием. Их дети приветствовали Октябрьскую революцию, и сейчас работают на советской службе.

Я родился в Париже. Мои первые годы прошли среди еврейских эмигрантов, пользовавшихся гостеприимством моих родителей. Я близко знал их и мог оценить. Мне пришлось встречать среди них необыкновенных людей. Но я рос не под их влиянием. Я получил обычное французское воспитание, которое дается в правительственных школах. Жажда знаний была так велика, что я никогда не расставался с книгой. Очень рано я осознал всю глубину лицемерия демократических учреждений, — и, конечно, свое духовное развитие я получил не в стенах учебных заведений, а вне их. Мои встречи с русскими эмигрантами в Париже значительно содействовали наступлению ранней политической зрелости. Когда разразилась война, мне было всего семнадцать лет; я был студентом и уже сделал первые робкие шаги в области журналистики. Мое мироощущение отличалось крайностью, но неустойчивостью и потому всеобщее безумие войны, господствовавшее в то время в Париже, охватило и меня. В течение нескольких недель, я вместе с прочими безумцами думал, что эта война необходима, и собирался отправиться на фронт добровольцем. К счастью, отец убедил меня отказаться от этой затеи и тем спас мою жизнь и честь. Еще через несколько недель я, уяснив себе всю хитрую механику империалистской войны, с головой бросился в антимилитаристскую пропа-

ганду и проповедывал повсюду дефетизм. Затем меня мобилизовали; Пришлось провести год в казарме, после чего, выйдя на свободу, я с утроенным пылом окунулся в работу моих единомышленников-пораженцев.

Мой роман «Яков» (в русском переводе Госиздата «Радан Великолепный») содержит много автобиографического материала, качество которого определяется тем, поскольку человек может сам о себе писать честно. В этой книге есть много сцен, пережитых мною лично. Но вся та часть романа, в которой говорится о восхождении и падении Радана, соткана из вымыслов.

Одно событие, разыгравшееся в прошлом году в Париже, вновь привело Лекаша на далекую родину.

Среди насильников, заливших кровью цветущие поля Украины, как известно, выдающееся место принадлежало знаменитому «освободителю Украины» бывшему земгусару, а затем политическому авантюристу, негодяю, смевшему прикрывать свои кровавые подвиги стягом социализма (пусть соглашательского) — Симону Петлюре.

Симону Петлюре, уничтожившему несколько сот тысяч евреев на Украине, никогда не приходила в голову мысль о том, что один из тех, кто своими глазами наблюдал его кровавые подвиги, чей взор видел предсмертную агонию близких, в чьих ушах до сих пор стоит стон несчастных девушек, отданных на поругание и глумление «жовтоблакитным» бандитам, очутится в Париже, — в том самом Париже, где весело и беззаботно проводил свое время безработный премьер Украины. Кто знает, может быть, не раз и не два Симон Петлюра проходил, в компании своих собутыльников, мимо скромной лавченки часовщика Шварцбарда, откуда вышел этот скромный и смелый мститель за всю кровь, пролитую Петлюрой на далекой Украине. Шварцбард в один прекрасный день отложил в сторону лупу, без которой в работе не может обходиться ни один часовщик, спрятал в кармане

своего пальто револьвер и убил на улице Петлюру. Его схватили. Огромнейшая толпа парижских бездельников окружила место происшествия. Кто он? Его приняли сначала за обыкновенного убийцу. Но даже после того, как почтенные ажаны рассказали взволнованным бездельникам, что здесь речь идет о политическом убийстве, негодование добродетельных буржуа, прогуливавшихся по улицам для лучшего предупреждения — не было предела:

— Опять эти русские! Как они смеют злоупотреблять нашим гостеприимством! Им следовало бы сводить свои политические счета у себя дома!

Как будто бы с Петлюрой и убийцами его типа могут быть «политические» счета. Если так, то и выкальвание глаз семидесятилетним старикам и насилие над малолетними в присутствии их родителей должны бы быть внесены в статут французской социалистической партии, с которой Петлюра, кажется, состоял в довольно близкой родственной связи.

Мало-по-малу туман над совершенным актом и личностью совершившего рассеялся. Выяснилось, что Шварцбард — анархист, давно не бывший в СССР. Подкладка акта ясна. Никакие нелепые попытки французской реакционной прессы изобразить убийство Петлюры, как совершенное по приказу из Москвы, — не достигли цели. Как сообщали французские левые газеты, даже из тюрьмы Шварцбард прислал письмо, в котором он опровергает эти нелепые вымыслы и говорит, что убил Петлюру за те его подвиги, которых не забыли и не забудут никогда на Украине.

В течение нескольких дней Шварцбард был героем Парижа. Правда, не таким, как Линдберг, прилетевший на аэроплане из Америки.

Два толстых ажана, со свойственной корсиканцам четкостью и грубостью движений, схватили Шварцбарда за локти и доставили в ближайший полицейский комиссариат. Для Линдберга были заготовлены специальные покои в помещении посла Северо-Американ-

ских Соединенных Штатов; для Шварцбарда нашлась узенькая и мрачная камера одиночной тюрьмы, где он сидел в ожидании своего процесса.

На это не приходится жаловаться. Увлечение авиацией и боксом давно вытеснило на Западе всякий интерес к политике, да еще к какой политике: сведение счетов между украинским атаманом и еврейским эмигрантом-чаковщиком «за какие-то там погромы»...

Французский буржуан терпит однообразие. Неужели вы хотите кормить парижского буржуа или даже честную парижскую мидинетку ежедневными трагедиями в стиле капитана Дрейфуса? Правда, нынешние буржуа средних лет были еще очень молоды, когда дело Дрейфуса всполошило Францию, а с нею и весь мир. Но неужели вы думаете, что тридцать лет в политике много больше, чем один день?

Я сознаюсь откровенно перед Лекашем и его другом, блестящим адвокатом Анри Торресом, защитником «убийцы» Шварцбарда, в следующем:

Когда они сидели у меня за чашкой чая и мы с большим увлечением говорили обыкновенными словами о будничных делах, делая друг с другом парижскими и московскими новостями, я в глубине души своей не верил, что они смогут найти какие-то новые, необыкновенные слова в защиту Шварцбарда и содеянного им. Я знал, что, по поручению Торреса и по собственной инициативе, Лекаш отправляется на Украину с целью собрать материалы о погромах и зверствах, организованных Симоном Петлюрой. Я знал, что Лекашу будет оказано соответствующее содействие, но, — думал я, — что может узнать он нового о подвигах Петлюры, какие факты о погромном разгуле на Украине разбудет этот молодой журналист, почти не знающий русского языка, которые не были бы уже известны из сообщений прессы? Я смотрел то на него, то на его молоденькую жену-француженку, впервые очутившуюся на советской земле, которая должна была разделить это

трудное путешествие. Предприятие Лекаша казалось мне благородным, но почти безнадежным. Все, что он может сделать, это — собрать несколько десятков официальных протоколов, но разве этого нельзя сделать, прибегнув к почте?

Но они уехали. Результатом путешествия Лекаша по захолустным городам и местечкам Украины явилась лежащая передо мной книга «Смерть Израиля», не только написанная кровью горячего сердца Лекаша, но и обнаружившая всю глубину и все сверканье его выдающегося литературного дарования. Русская литература знает описание пыток, зверств, тюремного ада и всяких видов человеческого страдания. Если бы не было этих страданий, — мы не имели бы наших классиков. Ни Достоевский, ни Толстой не мыслимы без описаний человеческих страданий.

Я не хочу показаться смешным и не люблю парадоксов, — особенно в области литературной критики, поэтому, анализируя впечатление, оставленное книгой Лекаша, я думаю, что она затмевает все остальные известные мне описания человеческих страданий, не потому, конечно, что литературная слава Лекаша грозит затмить Толстых. Причина — в другом. Мы живем в другое время, когда обстоятельства не позволяют нам (и это надо признать!) уже больше заниматься микроскопическими исследованиями страданий отдельных индивидуумов. Целая нация, огромный коллектив людей, живших мирной трудовой жизнью или существовавших впроголодь из-за отсутствия определенных занятий и слишком большой скученности населения в бывшей «черте оседлости», людей, по большей части стоявших вдалеке от политической борьбы, робких, скромных, молчаливых и мечтательных, хранивших в своем сердце много скорби, накопленной поколениями, — коллектив людей, хотевших и не сумевших, вместе с тем, поверить в то, что и для них могут наступить дни равенства и справедливости, — стал жертвой подлого нападения вооруженных насильников, худших отребьев той озверелой стаи, которая насилия и убий-

ства сделала своей излюбленной профессией. И Лекаш сумел изобразить с необычайным мастерством на своих страницах всю неслыханную трагедию этого незаслуженно оскорбленного, униженного, ограбленного и изувеченного коллектива. Лекаш может, при всем своем скептицизме парижанина, верящего в мимолетный душевный подъем своих читателей, с уверенностью рассчитывать на высшую награду литератора-публициста:

Его книга не будет забыта, — во всяком случае, она не будет забыта раньше, чем повторение описанных им злодеяний над мирным невинным народом не станет больше невозможным.

Кошмар, охвативший вас после прочтения книги Лекаша, проходит не сразу. Вы закрываете глаза, — и в вашем мозгу, точно в бешеной пляске, начинает кружиться хоровод замученных теней. Обрубки ног, отрезанные головы, густые пятна крови на оштукатуренных стенах нищих лачуг, классические перины, из которых выпущен пух, перемешивающийся, как снег, с лужами крови на мостовых, мрачное царство опустевших улиц, покрытых сгустками человеческих мозгов, — эта картина долго не оставляет вас. Среди теней замученных вы видите пьяные опухшие рожи разбойников-гайдамаков, вы почти слышите их рывкающий смех взбесившихся животных.

Вам приходит в голову ужасная мысль: ведь, не только родственники и друзья убитых, давшие свои показания Лекашу, живут среди нас. Уцелели и ушли от праведного суда сами виновники этих гнуснейших зверств. Они не только уцелели, но и живут среди нас, дышат тем же воздухом, что и оставшиеся в живых братья, отцы и сестры замученных. Лекаш видел их и даже говорил с ними. И эти беседы приехавшего из-за границы французского еврея с палачами его единоверцев, быть может, и представляют самые захватывающие страницы его захватывающей книги. Во всяком случае, пройти мимо них нельзя.

Эти встречи Лекаша с исполнителями петлюровских приказов начались еще за рубежом СССР.

Вот, сцена свидания в Вильне с одним из активнейших петлюровцев — капитаном Лукьяновым. Лекаш встречается с ним в виленской семье либеральных пилсудчиков. Эта семья, очевидно, изменила мнение о Петлюре после того, как он учинил в Киеве расправу над большой группой поляков.

Лукьянов — неудачный наемник, который грабил и убивал всюду, где это ему приказывалось. В 1917 году капитан служил гетману Скоропадскому; в 1918 г. он выполнял приказы Петлюры; в 1919 г. он верой и правдой служил под денкинским знаменем «единой, неделимой».

«— Войдите, капитан!

Жалкий вид, в поношенном кителе: блуждающий взгляд; но шикарный пробор — в порядке. Капитан, входя, с наслаждением нюхает воздух, в котором перемешиваются запахи алкоголя и табаку, затем делает изящный поклон, целует руки у дам и устремляет свой взор... на стол.

— Вы выпьете после, капитан! Рассказывайте! Этот господин специально приехал из Парижа для того, чтобы вас выслушать.

Капитан начинает свой рассказ-исповедь, но он ужасно торопится. Запах водки держит его в напряженном состоянии. От предвкушения выпивки лицо его покрывается розовым румянцем.

— Бог мне свидетель, я видел собственными глазами, как атаман Энгель из армии Петлюры «заставлял» евреев «пить воду из Днепра».

— У капитана на уме только питье, — вставляет зачем-то присутствовавшая «барыня».

— Ну, да, — поправляется Лукьянов, — это значит, что он топил их в реке. Я видел, как атаман Заболотный реквизирует все лодки для того, чтобы помешать евреям переправиться на другой берег... Я видел, как в Одессе на Малом Фонтане они убили двух евреев... Я видел своим глазами, как в Проскурове убивали евреев без конца.

При этом капитан делает рукой выразительный жест косца, срезающего траву.

— В Черкассах, по приказу Петлюры, убили всех евреев. Всех, — и без всякой задержки. Я находился в Виннице, в главной квартире Петлюры, — и сам он мне сказал, что, если я хочу остаться в живых, я должен убивать...

— И вы убивали?

Лукьянов смотрит сначала на свои руки, затем окидывает воспаленным взором нас и крепко сжимает губы. Он молчит.

— Капитан, пойдемте, выпьем.

Он подымается и удаляется своей тяжеловесной походкой».

Другая встреча. Знаменитый Тютюник, теперь амнистированный и работающий в ВУФКУ. Лекаш встретился с ним именно там:

«— Здравствуйте, — говорит он мне.

Он стоит передо мной, рослый блондин, с красным лицом, жестким выражением глаз и выдающейся вперед челюстью.

Должно быть, я побледнел, потому что мой друг, сопровождавший меня на свидание, вдруг говорит мне на ухо:

— Успокойтесь!

Я спокоен. Но я этого не мог бы сказать о Тютюнике.

Он сидит. Тютюник положил на стол свои руки, огромные руки мясника, и я замечаю на одной из них огромный рубец. Его подбородок вздрагивает, — и его большие руки дрожат и нервно теребят клочки бумаги.

— Я не скажу ничего, — говорит он. — Я отказываюсь отвечать. Я хочу только одного: молчания.

Мы умолкаем оба. Мой друг говорит. Я думаю о молодых людях, распятых на крестах, о женщинах с вспоротыми животами, о детях, живьем зарытых в землю. И я смотрю на этого человека в тщетной надежде на то, что на щеке его покажется слеза. Но она не появляется.

Среди калейдоскопа живых лиц, с большим талантом воспроизведенных Лекашем, самой жалкой и презренной кажется фигура Красного. Из жажды

власти этот еврей-буржуа вошел в министерство Петлюры в качестве «министра по еврейским делам». Фактически он сотрудничал с погромщиками. Теперь он оправдывается перед Лекашем, которого он сам пожелал увидеть:

«— Я видел, что убивают людей, и я надеялся, что смогу удержать руку палача.

Теперь этот коллега Петлюры по кабинету выступает в качестве страстного обвинителя его. С негодованием, запоздавшим на несколько лет, — он заявляет Лекашу:

— Осмеливаются утверждать, что Петлюра не был в состоянии справиться со своими войсками. На самом деле, он пользовался неограниченной властью над ними. Одного его приказа было бы достаточно, чтобы остановить все погромы.

И он приводит ряд фактов, подтверждающих его заявление.

Спрятав свою записную книжку в карман, я смотрю на Красного. Он улыбается. Лицо его излучает радость. Ну, что ж — он исповедался, — больше не нужно вспоминать о том, что было. Провожая меня до двери, этот «раскаившийся» склоняет передо мной свой элегантный буржуазный силуэт. Он спешит мне сказать последние несколько слов:

— Как вы полагаете, что подумает обо всем этом Торрес? Если он вызовет меня свидетелем, я надеюсь окончательно реабилитировать себя.

Но факт остается фактом. Красный был министром петлюровского правительства уже после того, как Петлюра совершил десятки погромов, и тысячи соплеменников Красного, убитые в этих погромах, нашли свое упокоение на кладбищах Украины.

— Впрочем, он был не один, — меланхолически заключает свое повествование о нем Лекаш. — У нас были свои Иуды».

О книге Лекаша можно рассказывать. Можно делиться общим впечатлением, произведенным ею. Ее можно хвалить, можно восхищаться трогательной

искренностью автора, его блестящим талантом, но нельзя передать ее содержание. Самому близкому человеку, лучшему другу, с которым вы привыкли делиться самыми интимными переживаниями и мыслями, вы не сможете рассказать, что в этой книге больше всего поразило вас или в большей степени наполнило вашу душу леденящим ужасом. Все страницы этой книги одинаковы. Все факты равнозначущи. И об этом не старался автор. Сама жизнь нивелировала зверства, жертвами которых стали украинские евреи. Вы знакомитесь с разнообразием пыток, применявшихся погромщиками, но вас не поражает изобретательность палачей. В конце концов, человеческая природа, даже человекозверя, ограничена. Поэтому — что именно предпочесть: херсонский ли погром, где сотни евреев были загнаны в амбар, подожженный со всех концов, или переполненные евреями синагоги маленьких местечек, облитые керосином и сожженные до тла? Отрезанные груди изнасилованных женщин или отрубленные взмахами сабель головы грудных детей — один из излюбленных видов спортивных упражнений петлюровцев?

Можно привести одну, две, три цитаты из Лекаша, но вы никогда не сможете привести «самого страшного».

«Самое страшное» — это вся книга.

Что вам скажут, например, такие цитаты:

«В Ржищеве многих евреев распяли на крестах; других зарывали живьем в землю или сжигали на медленном огне, подвесив головой вниз. Еще теперь можно увидеть на теле некоторых молодых людей, спасшихся чудом, кровавые знаки, выгравированные лезвиями бандитских ножей. В Триполье один из подчиненных Петлюры, Зеленый, приказал наполнять колодцы живыми евреями, расставляя вокруг колодцев стражу для того, чтобы агонии несчастных утопленников не могли быть прекращены. Он вырезывал груди у женщин и вспарывал животы беременных. У мужчин отрезал половые органы и вырывал глаза. Когда же он

почувствовал себя утомленным от совершенных зверств, и вопли истязуемых жертв стали мешать ему, он приказал привести на берег реки десятки пленных молодых евреев и приказывал на его глазах бросать их в воду. Некоторые из этих юношей могли бы спастись, но с берега петлюровцы бросали ручные гранаты и вскоре поверхность воды была покрыта плавающими трупами, похожими на огромных мертвых рыб.

В Белой Церкви одна из женщин рассказывает Лекашу:

«Когда я увидела, что петлюровцы увели моего мужа в соседний двор, я побежала за ними вслед, ведя за руку моего семилетнего сынишку. Я увидела, как один из бандитов прицелился в моего мужа; тогда я вместе с моим ребенком бросаюсь между ними двумя. Но одним ударом кулака петлюровский солдат сваливает нас на землю. Я слышу револьверный выстрел и вижу, как муж мой падает замертво. Тогда, вся охваченная ужасом, я кричу на бандита и требую, чтобы он убил и меня заодно, но бандит отвечает мне «благородно»:

— Я не убиваю детей и женщин».

Этот бандит достоин быть отмеченным, ибо он остается единственным на всем протяжении книги. Все остальные сподвижники Петлюры — подлые герои расправ с безоружным населением — с особым сладострастием и в первую очередь убивают женщин и детей.

«Тростянец — один из наиболее цветущих городков Подолии, некогда населенный и оживленный пункт. Здесь было убито пятьсот евреев».

9 мая 1919 года петлюровцы арестовали 400 евреев, по преимуществу молодых людей и стариков. Мы уже отметили ограниченность человеческой фантазии, которая на этот раз заставила палачей временно запереть пленников, чтобы дать себе время придумать для них какую-либо изощренную казнь. Их усилия можно считать напрасно потерянными. Увы, они не придумали ничего такого, что не применялось бы уже в других местах многострадальной Украины. По окон-

чании «совета», петлюровцы в Тростянце решили закопать евреев живыми в землю. После тридцатичасового содержания под стражей, 400 несчастных были выведены в поле, где их заставили вырыть себе могилы. Когда огромная яма была вырыта, их бросили туда. Все те, которые пытались высочить оттуда, были зарублены секирами.

«— Рубите все, что покажется на поверхности, — приказал атаман. Из ямы высывались головы обезумевших, протягивались умоляюще руки, но топоры и секиры славно работали...

А затем, когда земля, которой стали засыпать могилы, зашевелилась, в могилу было брошено несколько бомб, и тогда все успокоилось.

Эта могила имеет протяжение в 50 аршин, — продолжает Лекаш. — Если вы побываете в этом крае, наведайтесь. Прекрасный памятник. Он окружен теперь стеной, и вы непременно увидите какого-нибудь еврея, плачущего у этой стены. Впрочем, плачущий еврей... Какая редкость!».

«В доме Шехтмана, в Белой Церкви, сорок петлюровцев устроили оргию. Женщин заставили готовить им еду и напитки. Всю ночь они пьянствовали, скандалили, заставляли хозяев петь и танцовать. Наступает утро. Больше грабить нечего. Скучно... Тогда они схватывают хозяина, кладут его на пол и начинают колоть его своими штыками и рубить пашками. В доме три женщины. Все они плачут, целуют сапоги палачей и просят их прекратить пытки. Напрасно. Шехтман умирает от пыток на их глазах. Труп его лежит посреди комнаты. Весело настроенные петлюровцы достают из шкафа банку варенья и, покатываясь со смеху, обмазывают лицо трупа вареньем. Затем один из них, меломан, усаживается за рояль и начинает наигрывать какой-то народный мотив, подхватываемый импровизированным хором его соучастников. Часть из них направляет дула своих ружей на Соню, дочь убитого, и заставляет ее танцовать вокруг трупа отца».

Когда Лекаш к концу своего путешествия, с которым может сравниться лишь посещение девятого круга Дантова ада, устает морально и физически, он оставляет в стороне свою палитру художника и берется за прозаический карандаш статистика. Грубыми цифрами он набрасывает полученные им данные о петлюровских погромах.

Атаман Струк, точно следовавший приказам Петлюры, говорит евреям, населяющим местечко Пешки близ Радомысла:

— Вы, жида, отправитесь в воду или под землю.

Приказ выполнен точно. Приводятся цифры; Лекаш, у которого не хватает уже больше яда для саркастических замечаний, заканчивает эти краткие наброски одним словом:

— Пустяки!

Меньше всего поддаются передаче печальные эпопеи Житомира, Проскурова и других крупных, сравнительно, пунктов. Эту эпопею можно узнать только из его книги смерти.

Кончились ли сейчас эти ужасы на Украине?

— Кончились, — отвечает Лекаш, но воспоминание о них так же свежо, как если бы эти ужасы имели место вчера. Правда, жизнь вступает в свои права. Весна на Украине прекраснее, чем где бы то ни было. Неподалеку от могил своих родных, растерзанных палачами, молодые люди любят, смеются, работают, творят новую жизнь. И днем вы как будто не замечаете, что вы находитесь в стране недавних ужасов. У стариков память крепче. Матери... помните, что сказал о них поэт:

Им не забыть своих детей, погибших
на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве своих
поникнувших ветвей...

Наступает темная ночь. В маленьких низких комнатах душно. Темнеет. Кожмар воспоминаний, душаций стариков, вместе с темнотой и тишиной проникает в комнаты и становится у изголовья забывшихся в тревожном сне. Не все из них глубокие старики. Многие из них поседели рано и похожи

теперь на своих отцов, но еще пять-шесть лет тому назад они были веселы и беззаботны, как их дети.

«Где-то вдалеке начинает лаять собака. Люди просыпаются и тревожно прислушиваются к шуму. Женщины с трудом сдерживают готовые вырваться из груди крики. Разбуженные дети плачут».

Взволнованные, трепещущие, — все спешат поделиться своими впечатлениями. Оказывается, — ложная тревога. Это — воспоминание о петлюровских деяниях, которые Лекаш язвительно называет «пустяками».

«Ночь проходит...

А еще через несколько дней, такая же шемящая тоска, смешанная с тревогой, опять разбудит обитателей дома.

Среди ночи привидится кому-либо из них призрак убитого, вышедшего из тростянецкой или другой братской могилы... В тревоге просыпаются сироты и тщетно зовут родителей, убитых, по большей части, на их глазах. Вдруг вскрикнет девушка, с омерзением почувствовавшая вновь на своем лице животное дыхание пьяного бандита...

Женщины говорили Лекашу:

«Самое страшное для нас это — ночь. Ночью воскресают минуты ужаса».

Нужно ли приводить статистическую сводку Лекаша?

Он считает, что на Украине, при прямом участии Петлюры и его банд, истреблено около трехсот тысяч евреев.

Благонамеренные парижские присяжные судили того, кто решил, что эти сотни тысяч убитых и изуродованных людей стоят, по крайней мере, одной гнусной и беспутной жизни предводителя бандитов.

Вот как заканчивает Лекаш письмо о своей книге, адресованное автору этой статьи:

«Смерть Израиля» — одна из тех книг, которые могут быть написаны лишь людьми, перенесшими страдания.

Я невыразимо страдал, путешествуя по Украине. Было и много радости... Но страдание перевесило ее. Ибо я, иностранец, прибыл сюда из тех стран, где на моих глазах открыто организируются силы, враждебные вашей революции. Они готовы сделать все, чтобы уничтожить ее, ибо она пугает их и тем мешает им жить...

Я утверждаю (и думаю, что показал это в своей книге), что только советский строй может обеспечить умиротворение религиозных и расовых распрей и что только он сделает возвращение погромов невозможным»...

Москва, 11 июля 1927 г.

IV. ПО АМУРСКИМ РАВНИНАМ

Б. Брук

1. Под Хинганом

Нас ведет быстрая пара лошадей в знойные 40-градусные часы июльского дня. Перед мордами и над головами и туловищами лошадей вьется рой оводов, по местному названию—паут. Это бич тайги. Жутко, возница и седоки напряжены, как бы скорей пробраться сквозь тучу гнуса к месту назначения, где дым костров должен защитить животных. Доедут ли кони? Золотистые, как пчелы, облепили оводы шею, грудь, морду животных и наиболее чувствительные места паха. Грудь лошади исписана красными полосками крови. Казак-возница в тревоге.

Мы едем «колесухой», которая до жел.-дор. пути была проложена через Хинган до Хабаровска. В сооружении этой дороги участвовал труд каторжан, много было загублено здесь человеческих жизней, история мрачная и легендарная, как далекие утесы Хингана. По колесухе исчезло все то, что может быть уничтожено огнем и временем: заросли колен, засыпались канавы, сгорели мосты. Колен отчасти возобновляются. Едем по равнине, с разных сторон которой возвышаются живописные сопки. В этой небольшой стране каждый старожил, особенно охотник, недурно знает название сопки, рек, дороги и тропы. Не только охотничьи тропы, пожалуй, даже медвежьи.

Мы завернули с колесухи на «хутор». Пришлось 2 версты ехать, вернее—итти дорожкой, которая привела нас к стойбищу нескольких пчеловодных хозяйств. Землянки частью служат для

жилья, частью в качестве омшаников для пчел. Чем ближе к Хингану, чем дальше от жилия, тем выше медосбор. Живут одиночки, семья и хозяйство в станице за 30 верст. Главный пчеловод—старик украинец, выходец из Харьковской. Лопатистая борода за семьдесят лет еще не успела поседеть. Усы хорошо смеются, с иронией, вывезенной из Хохландии. Насчет медосбора немножко жалуется. Еще меду не гоняли, но для гостей найдется. Возле дымящего костра собрались лошади и люди. Морды лошадиные норовят в самую гущу дыма. На костре котелок с кипящей водой. Деревянные чашечки.

На блюде появились великолепные светложелтые соты, пшеничные куличи.

Да, здесь был поселок. 40 дворов переселенцев. Раскочевались. Война. 1915 мочливый год, паут... Здесь еще не паут, это что, а вот в Хингане. Там ваших коней зарежут, не выбераться. Паут налетает, как пчелиные рои.

Тут же охотник-казак, из той же станицы. Приехал с конями, двумя сыновьями, невесткой и дочкой на сенокос—за 30 верст от станицы. Женщины босые; так легче, «паут бояться—в лес не ходить». Разговоры о Хингане, об охоте. Ключковатая табачно-рыжая борода, желтоватые точки на лице и смеющиеся желтоватым смехом глаза. Как будто под общий фон с паутом, пчелами, медом и тигром. Он тигров не убивал. Чего не было, того не было, врать нечего. Ну, а медведей—сколько угодно. Убить тигра—это событие боль-

шое. Оно отмечает человека и место и время. За медведем человек охотится, а вот тигр — тот охотится за человеком.

Он нас немножко презирает. Мы заговорили о встрече с медведем. Медведь на тебя смотрит, лапы подымает, хочет броситься в обнимку, но чего-то ждет... Очевидно, нужно человеку уметь сохранить волю и разум в таком положении. По мнению охотника, у нас бы коленки здорово затряслись, и волосы бы шапку подняли. А вот с ним случай был. Он охотился на коне с кобелем. Хорошая была собака. Вдруг видит: кобель вскочил на карк медведю, гризет его. Он с коня любитесь, смеется. Потом решил, взял топор, хотел подехать к медведю: ведь патрона жалко. Да раздумал: конь молодой, ошибка может выйти. Выстрелил.—А разве патрон так дорог? Патрон не так дорог, 30 к., но его достать нельзя, прямо беда. Приходится дорожить. Тут разговор перешел на социальные темы. Союзом охотников окончательно недовольны. И книжечки, и платежи, а оружия путного не достать, и патронов тоже, а за убитого тигра предлагают сущие пустяки.

Тоже за понты.

Тут рассказал он про свою охоту на изюбря. Озеро на Хингане. Изюбрь туда приходит в темноту. Много у него врагов. Изюбрь быстр и чуток. Днем в чаще его искушает гнус, и ночью он подбегает к озеру. Из чащи бух в воду, и в этот момент... Сидишь этак всю ночь и караулишь. Мошка тебя ест, а ты не должен шелохнуться. Достаточно повести по щеке рукою, чтобы спугнуть изюбря.

А то еще разыскиваешь диких пчел. Где-нибудь найдешь в дупле, а потом зимой приедешь, срежешь дерево по верх дупла и ниже, и колодку с медом привезешь. По 3 пуда бывает в колодке и больше.

Десятилетний сын охотника все время молчит. Его называли по имени, он улыбнулся, потупился и не отвечает. Худые плечики, заостренные черты лица, дальнзоркие серые глаза. Его отец рекомендует, как настоящего таежника. Ходит с отцом, а один пока

стреляет только уток и куликов. Теперь на покосе.

Жар свалил, скоро вечер. Паута становится меньше, комар усиливается. Вместе с охотником и его семьей возвращаемся обратно. Мальчуган верхом на лошади. За спиной винтовка. Старая, а стреляет хорошо. Приделана белая деревянная мушка, «чтоб ночью виднее стрелять». Он едет позади со своими мыслями, и, вероятно, зоркий глаз его видит в степи до самых сопков. Берегитесь, козули и тетерки, ваш маленький враг очень опасен...

2. Через Биджан

Подъезжаем к речке в плоских берегах. Селение отступило от речки, крестьяне ей не доверяют. Быстрый и небольшой Биджан разбухает от дождей и бурно разливается. Переезжать на лодке, лошадой вплавь. Перевозчик подъезжал с другой стороны. Рослый черноволосый, с угловатыми резкими чертами, в рубашке с открытой грудью, в брюках, облипших его колени и босые ноги, греб и толкал лодку мускулистой рукою, причалил и пошел вброд по мелкому берегу.

Для нас оказалась неожиданной изысканная его речь, перемешанная иностранными, не на своем месте расставленными, словечками. Он любезен и, можно подумать, готов головой пожертвовать за наше благополучие. Уважает образованность.

Он бывал и в Чите, и во Владивостоке.

— У меня, — говорит он, — здорово башка работает. Мой друг—Жорж—железная рука. Вероятно, знаете?

Выясняется, что вчера он поражал фантазию казачек на селе. На его груди разбивали большой камень. На руку нашивали заплаты. Рассказывал и предсказывал прошедшее, настоящее и будущее. Собрал четыре рубля деньгами и две сотни яиц. Ему деньги ни почем. Главное показать свою силу. Бабы от его искусств без ума.

Предсказывал на сегодня дождь, и был дождь. Наш подводчик потом сообщил нам, что предсказывал-то он ведро... Но это дело не меняет.

Он старался возможно полнее использовать время переезда для сообщения нам фантастических рассказов. Свое сотрудничество с Жоржем он почему-то называл: «компанией Зингер». Не преминул крикнуть кому-то на берег, чтоб приготовили бутылку водки. Один из моих спутников поддался на его предложение «рассказать прошлое, настоящее и будущее». Пришлось достать зеркало и подушку. «Пожалуйста препарат»,—это означает соответствующее количество серебряных монет. Несносный бред продолжался больше, чем это позволило наше терпение. На расставание он крепко и по-дружески пожимал наши руки.

Казак, ведущий нас, им недоволен. Дома осталась жена, она обязательно хочет погадать. С бабой ничего не поделаешь. А камень действительно разбивали у него на груди. Не 20 пудов, а пудов 5 будет. Здоровый мужик...

3. Казаки

Просторная усадьба, просторный дом, большие окна. На столе водка, яичница, пшеничные куличи и разная снедь. Казаки нас угощают. Гармошка, собираются петь. Мой спутник указывает мне на нашего проводника, коренастого, невысокого черноволосого казака, с широким скуластым лицом. «Он поет так, как будто его за ухо повесили, а голос, от которого лампа гаснет». Прошлись по рюмочке, разговоры. Довольны ли казаки советской властью? Оно, конечно, раньше были всякие привилегии, а налогов не платили. Зато требовалось являться с конем и полной амуницией. Рублей пятьсот стоит. Теперь казаки мало служат. Берут и в пехоту...

Мы за белых? Это неверно. Оно, конечно, старики недовольны, но молодежь обвыклась. Вот оружия хорошего не дают, это плохо. По ту сторону—хунзузы.

Переселенцы? Мало приезжают. Трудно у нас. Пусть приезжают, только если очень густо—нехорошо. Утеснят и зверя разгонят.

Контрабанда? Нет, не занимаемся, только для себя. Водка подешевела, лучше заграничной, нет расчета. Толь-

ко что не всегда под рукой, а контрабандную во всякую пору достанешь.

Наш проводник много пил, стаканами. Лицо стало детским, широкая улыбка, черный вихор рассыпался. Короткие ноги хотят плясать. Странно видеть его спину без винтовки наперекос.

Ветхий дедушка заявляет, что он «тоже» таежник. Это значит, что он принимает за таежников нас. Неслаженный для нас титул. Он охотник и пчеловод. С медведями на своем веку повстречался. Ведь мишка тоже пчеловод... и тоже охотник. Он рассказал такой случай. Охотник искал в лесу дикий мед. Видит огромное дуплистое дерево. Вдруг из дупла выглянул медведь. Охотник выстрелил, медведь скрылся в дупле и выглянул оттуда снова. Тот в другой раз выстрелил, голова медведя опять скрылась в дупле. Охотник полез на дерево, протянул руку, а его хват медведь и отгрыз два пальца... Человека зло взяло: разложил костер и сжег дерево. А потом обнаружил в дупле три горелых медведя... Оказалось, что охотник промахов не сделал. Выглядывали 3 медведя из одного дупла, один за другим. Так три медведя и пропало вместе с медом.

4. По степи

Путь от южных станиц лежит по зеленой степи, из которой смотрят на вас в июле миллионы лиловых, красных и синих глаз цветущих лилий, ирисов и гвоздик, местами красные огоньки клеверов и фиолетовые тонкие ожерелья горошка. Перед вами причудливые четкие застывшие линии сопок, то крутые, то извилистые с лежащими у подножья изумрудными подушками болот, по которым проделывают свой путь струйки холодных ключей и извилистые, изменчивые линии речек.

По этой степи ведет дорога, но без мостов. Вы вброд пересекаете речку, вязнете в болотах, и снова вылезаете на обсохшую цветущую равнину.

Наш возница—молодой парень казак. Он с нас дорого взял, хорошо зарабатывает. С любопытством прислушивается и присматривается к нам. Про Буден-

ного не знает, но о Ленине слышал. Жив ли он или умер—сказать не может. Охотник он молодой, еще учится. Дедушка его был первый охотник. С ним такой случай был: оказался он с медведем враспloh лицом к лицу. Винтовку не достать, в руках дубинка. Они в обнимку—и давай бороться. Тот захватил концы дубинки руками с такой силой, что у медведя хрустнули позвонки. Здоровый был мужик.

Лошади движутся более медленно, чем они бы могли это сделать. Парень хозяйственный. Он хочет приехать на сухих лошадях. Перед вами все более четко вырисовываются линии сопok. Даур лежит строгий и замкнутый, с высокими и круглыми склонами, местами с обнаженными склонами, с которых ветер и дождь сорвали тонкий покров почвы и растений. Он таит неприступные места, где скрывается зверь от охотников. Зверя выманивают озера, кроме того, зверь идет на «солонцы», грызет засолоненную почву. Охотники даже искусственно посыпают солью определенные участки. Зверь страдает от недостатка солей. Он приходит па такие места и грызет землю. Здесь его и подкарауливают. Водился, здесь и тигр, но ушел в Якутию... Пожары, рубка леса—ушел кабан, а за ним и тигр. Там, где кончается суровый Даур, продолжением его служат отдельные причудливые сопки. Вот сопка вытянулась с острым, выгнутым хребтом, щетинистым от сквозящих деревьев, и с вытянутой головой. Застывший дикий кабан. Вот сопка с двумя веселыми округленными вершинами, напоминающими стих из «Песни песен»: «Твои перси—горы Гилагаа».

5. В станице

Мы под'езжали, когда еще стояла жара. По улице толпится скот и жмется к избам. Огороженные поскотиной, охватывающей большие выгоны вокруг села, животные спасаются от жары и комара под стенами домов. Ворота и калитки на запоре. Казаки и казачки не ходят через калитку, а перескакивают через заборы. Оттого казаков и называют здесь «гуранами» (гуран—дикий козел).

По улице слышно пение. Идут казачки посреди улицы—старухи и средних лет. Поют унылую песню про казачкую любовь. Под хмельком. Оказывается, сегодня Ильин день по старому стилю... Казачки в праздник выпивают, в будни тяжело работают. Одна старуха перескочила через забор и направилась ко мне на крыльцо. Запах вина и воспаленный цвет лица и глаз. Меня она приняла за чиновника по делам воинской повинности. У нее внук, его забирать не следует... Он хилый и грыжа у него и единственный кормилец. Я успокоил ее, как мог.

Большая семья, 18 душ. И хозяйство крупное. Посева 30 десятин. Скот исчисляется десятками голов. Хорошие машины. На стене висит календарь издания ГИЗ с хронологией революционных событий. А на листках скромно внизу мужицким почерком выведены карандашом числа по старому стилю.

Положительный хозяин. Его знают на всю округу. В этом году заложил большую плантацию риса. Кореец помогает, дает технические советы. Тут и его десятина.

Вот мы на плантации. Подходит к нам кореец. Голова «репой», корнем вниз, мочками корня является редкая черная бородка. Пергаментно-желтая кожа, корявые руки. Хозяин корейца хвалит. Он постоянно работает, постоянно находит дело. Когда он в доме, нет заботы ни о дровах, ни о воде, ни о корме. Возле плантации он развел маленький огородик со всеми корейскими пряными и острыми овощами. Выполото, промотыжено, чистенько... Но рисом кореец недоволен. Надо полоть, хозяин полки не производит, а он один не в состоянии: надо мало-мало больше народ.

Хозяин озабочен постройкой домов. Три построил и четвертый купил. Взрослые сыновья, попли невестки, долго вместе не уживутся...

По случаю праздника предстоит вечерок. Собирается молодежь, парни под хмельком. Маленькая изба тесна, но в ней надо еще найти место для танцев. Под звуки гармоники танцуют пары почему-то из одних девушек. Танцуют чинно, сосредоточенно и без под'ема.

6. На сопке

Мы поднимались на высокую сопку. Мы—это значит я и мои спутники, проводник, лошади. Пройдены неизбежные заболоченные подушки под сопкой, увалы, пошли крутые подьемы, под тобой камень, который срывается из-под ног, заросли кустарников, среди которых радует глаз широкий лист дикого амурского винограда. Поднимаемся в полдневную жару, на сопке усилились мошка и комар, есть опасность, что подползет неожиданно гадюка.

Надо ли захватить воду наверх?— Нет, не надо. Хороший проводник на любой высоте найдет падь или ключ.

По пути проводник нам дает объяснения. Вот здесь примята трава козулей. Вот медведь катал чурку. А вот рубец на дереве—след медведя.

С вершины сопки видна половина страны. Степь с разными оттенками изумруда. Где пятна зелени наиболее густые и привлекательные,—там падь и болота. А в синеющей дали — горы Манчжурии. Там, на этих горах—другой народ, другие законы, другой общественный строй.

7. Староверы

Их было пять, верхом. На седлах впереди выбиты кресты. Бороды кли-

ном и лопатой. Грустные и понурые, как и лошадки, которые несли их на спине.

Приехали из «Ново-Николаевска». У них еще сохранилось старое название. Сразу с семьями. Поселились под горой Уркан, в тайге. Вблизи другой поселок староверов—Успеновка.

Почему оставили Сибирь? На Алтае все поделено, отмежевано, нет простора, нет леса... А здесь приволье. Но заедает паут, мошкара. Только лошадей мало—по одной: не распахаться. Стали косить—плохи сенокосы. Доедаем привезенный хлеб. Пашня кой у кого в станицах засеяна, да мало. Женщины и дети в сараях, наскоро сколоченных. Едем смотреть новые места...

Чувствуется, что многое недоговорено. Ушли в глубь тайги, чтоб унести нетронутыми веру и обычай, чтоб уйти от государства и налогов. Умное лицо говорящего скрывает под печальной улыбкой фанатизм сектантства и реальные страдания русского переселенца.

— У нас,—продолжает он,—разногласия: одни облюбовали место в степи, на Унгуне, другим нравится в тайге, вот и едем в степь посмотреть места, чтобы всем вместе, не разделяться. А всех нас 20 семей.

Мы сообщили им, что могли, и разошлись. Мы пробирались в те самые дебри, откуда они прибыли.

Книжное обозрение

1. ПАВЕЛ НИЗОВОЙ. „Золотое озеро“. В. Красильникова.—2. СЕРГЕЙ ЗАЯЦКИЙ. „Баклажаны“. Арк. Глаголева.—3. А. НАСИМОВИЧ. „Топор“. А. Р. Палея.—4. НИК. УШАКОВ. „Весна Республики“. С. Пакентрейгера.—5. ВЛ. КИРИЛЛОВ. „Голубая страна“. И. Поступальского.—6. СЕРГЕЙ МАЛАХОВ. „Песни у перевоза“. М. Рудермана.—7. МИХ. ЛЕВИДОВ. „Простые истины“. Фрола Скобеева.—8. „ПИСЬМА АЛЕКСАНДРА БЛОКА К РОДНЫМ“.

Виктора Гольцева.

Павел Низовой. — «Золотое озеро». Рассказы. Собрание сочинений, том IV. Изд. ЗИФ. 1927 г. Стр. 232. Тираж 7.000 экз. Цена 1 руб. 60 коп.

В четвертый том, которым ЗИФ открыл печатание собрания сочинений Павла Низового, включены небольшие рассказы 1914 — 1925 гг. Тематически они ясно делятся на два цикла: рассказы о переживаниях человека, заброшенного в озерную и лесную глушь Сибири, в тыл к белым, и переживающего дни томительного одиночества («Золотое озеро», «Ирыло птицы», «В горных ущельях»), и рассказы — зарисовки дооктябрьского и послеоктябрьского быта («Радость», «Паутина», «Праздничный день», «Маргарита с Плюшихи» и др.). Герой сибирских рассказов — сам писатель; вместе со старым приятелем золотоискателем Парфенычем и рыжим котом Василичем коротает он месяцы вынужденного разрыва связей с советской Москвой, живет жизнью героев Кнута Гамсуна и прислушивается к толкам о партизанских отрядах. Зарисовки П. Низовым дореволюционного и послереволюционного быта — обычно хорошо сделанные снимки тех или иных жизненных случаев и персонажей, главным образом, мещанского сословия. Не часты художественные выводы; в большинстве рассказов писатель ограничивается простым описанием: праздничного дня сапожника Шенкова («Праздничный день»), жизни «Маргариты с Плюшихи» и лишних людей революции («Лото»). Лучшая вещь из цикла зарисовок — рассказ «Паутина»

— о беспросветной (дореволюционной) жизни столяра Снеткова.

Неровность языка в произведениях Низового, к сожалению, нередкое явление.

Виктор Красильников.

Сергей Заяцкий.—«Баклажаны». Повесть. Изд. «Круг». М. 1927 г. Стр. 299. Ц. 2 р.

Баклажаны — это один из захолустных городков, какие, если верить автору, еще сохранились в нашей провинции со времен Гоголя. Читатель не увидит в Баклажанах ни комсомольцев, ни общественного клуба, ни городского совета; вместо советских крестьян здесь можно увидеть лишь гоголевских хлопцев, дядек и женок. Среди обитателей Баклажан читатель не найдет ни одного живого человека, зато перед ним предстает обширная галерея никчемных и нелепых, пахнувших нафталином, обывателей. На первом плане здесь фигурирует некая «королева баклажанская», дочь бывшей местной помещицы, неустанно пекущаяся о церковном благолепии и предающаяся тайной печали о несостоявшемся изнасиловании ее каким-то проезжим бандитом. Окружением этой необычайной женщины являются всякого рода отставные барыни, находящие свое последнее утешение в коллекционировании кошек.

Противопоставляемый баклажанским обитателям приезжий гость из Москвы художник Кошелев весьма недалеко ушел от первых: это такой же никчемный обыватель, только, так сказать,

столичной марки. Отличается он от баклажанцев тем, что в центре его внимания находятся не кошки, а фокстрот и червонцы. Его пребывание в Баклажанах сводится к мелким и нелепым, истинно баклажанским, донжуанским похождениям, да к реакционно-мещанскому философствованию на тему о «физической, нравственной и политической» «любви к отечеству».

Все это баклажанское царство автор изображает, не переходя границ легкой насмешки, его юмор отнюдь не переходит в сатиру, и в целом повесть оставляет прочитавшего ее в сильнейшем недоумении: кому же это в наши знаменательные дни, когда идет горячая стройка социалистического общества, интересно будет читать о затхлых обывателях с их нелепыми мечтами и поступками.

Родственный повести характер носят и помещенные в книге «трагикомические рассказы». И за ними сквозит полное отсутствие у автора какой-либо определенной социальной установки. И тут действующие лица — тусклые безличные обыватели, попадающие волею автора в нелепые «трагикомические» положения. Чего только нет в этих рассказах! Тут и «фантастическое» воровство в пивной за разговорами о «любопытных сюжетцах» («Любопытные сюжетцы»), и необычайное овладение квартирой фининспектора какими-то темными проходчиками («Человек без площади») и т. п. Все это подается читателю с претензией на особую остроту и занимательность, однако, у читателя после первого же рассказа начинает рябить в глазах от всей этой бесконечной вереницы никчемных обывателей.

Вся установка книги Заяицкого на «трагикомического» обывателя делает ее весьма далекой от общего направления нашей художественной литературы.

Арк. Глаголев.

А. Насимович.—Топор. Рассказы. Изд. «Московское Товарищество Писателей». Год и место издания не указаны. (1927. М.). Стр. 189. Ц. 1 р. 80 к.

Революция и гражданская война вскрыли огромные залежи материала,

который может (и должен) быть использован искусством. Но, разумеется, ошибается тот, кто думает, что художник (в частности художник слова) может быть только добросовестным кладовщиком этого богатого материала. Из этой руды должно извлечь наиболее плотную и эластичную составную часть и взять ее в творческую обработку.

Насимович не активен, и такой обработки у него почти не видно. Его рассказы читаешь иной раз с интересом: так велика значительность событий, о которых он напоминает. Но интерес неизменно смешивается с досадой на неумелое использование материала. Вот рассказ о красноармейце, укравшем казенное имущество: ему угрожает расстрел, затем ему удается спастись («Топор»). Тема богатая. Однако, Насимович сделал вялый очерк, без начала и конца, где центральная тема тонет в тусклых натуралистически-бытовых деталях. Эти детали Насимович хорошо видит и верно передает, живого же дыхания революции он не чувствует. В рассказе «Около смерти» герой гражданской войны, китаец, попавший в руки белых, так перед смертью объясняет свою верность Ленину: «Кормила хорош, хозяин хорош, хозяин не велел. Не бегай никак, ни...» Разве это типично? Ряд мелких рассказов, собранных в этой книжке, производит впечатление вялых газетных или журнальных очерков. Попытка дать психологический анализ рядового солдата-революционера («Мараказия») наивна и беспомощна. Остальное большею частью незначительно по темам («Херувимская», «Какая ни на есть», «Собственность» и др.), и, так как эти темы к тому же неумело разработаны, огромный и волнующий фон революции не помогает им, а убивает их.

Так же вял и местами небрежен язык книги. Например: «Прибаутки Пескова тонули в блестях солдатского остроумия, прыскавшего ото всех, даже самых неуклюжих и неповоротливых» (стр. 3). На стр. 110 говорится о пушечных «ядрах», хотя современные орудия, как известно, ядрами не стреляют.

Лучше других вещей — повесть «Моя жизнь» (рассказ подростка). Она напи-

сана простым, спокойным языком и неплохо передает душевное состояние мальчика, принявшего активное участие в революционной борьбе. Но, читая и эту вещь, чувствуешь, что ее прекрасный материал в руках другого мастера дал бы гораздо более сильный эффект.

А. Р. Палей.

Николай Ушаков. — «Весна Республики». Изд. «Молодая Гвардия». 1927 г. Тир. 1.500. Стр. 101. Ц. 1 р. 25 к.

Молодой поэт подслушал мотивы будущего промышленного расцвета страны. Он отбросил декоративные слова и торжественные звуки, и для передачи этих мотивов нашел точные формулы, подчеркивающие, что поэт сумел свои лирические чувства ввести в стройную, продуманную систему. Не только в работе машин он услышал голоса пробужденной человеческой жизни; он сумел также передать и мирное, и смертное, и воинственное их звучание. Он дал это звучание и на кладбище, и в лазарете, и в боевом, и в трудовом движении. Этот своеобразный паниндустриализм выделяет сдержанные и выверенные строки молодого поэта из общего ряда певцов нашего промышленного возрождения. Поэт отмечает «глухую зависть» природы к индустриальной «весне».

Машины одушевлены неиссякаемой творческой энергией человека. К этому человеческому началу в машинах природа и питает «глухую зависть». Когда Ушаков облекает в выразительные кинетические образы траур, болезнь, торжество и победы машин, он по существу говорит о трауре, болезнях, торжестве и победах человеческих множеств, переливающих свою энергию в машины. Не мертвый инвентарь производства является предметом его песен. Он прощупывает то живое начало, которое вырвало машины из катастроф, из лазаретов, из смертных схваток, родило новые шахты, поезда, самолеты и предопределило индустриальный расцвет Республики. Это живое начало было развязано революцией как в человеческих множествах, так и в одиночках, загоровшихся желанием обогатить стра-

ну. И потому даже в мальчишке-газетчике поэт склонен видеть «босого Эдиссона». Вера в босых Эдиссонов и вызывает в воображении поэта образ «золотого века» Республики.

Этим циклом мыслей и чувств исчерпываются два первых раздела книжки. В остальных небольших трех разделах поэт ищет контакта между мотивами, подслушанными в революцию, и мотивами, почерпнутыми из классических источников русской поэзии, и порой находит для этого сочетания удачные выражения.

С. Пакентрейгер.

Владимир Кириллов. — «Голубая страна». Вторая книга стихов. ГИЗ. Москва—Ленинград. 1927 г. Тираж 3.000. Стр. 96. Цена 1 руб.

Есть в разбираемой книге стихотворенье «О песнях и весне». Оно заурядно, но является чем-то в роде поэтической исповеди В. Кириллова. Из этого стиха мы узнаем, что «сердцу» его

... Послушен стих,
Простой и невзыскательный к нарядам.
Законов творчества не знаю я других,
Да мне других законов и не надо.

Конечно, простота дело хорошее. Но есть и простоватость. Ниже покажем, что утверждение В. Кириллова является только повтореньем забытой им и поныне банальщины надсоновского толка («Лишь бы хоть как-нибудь было излито, чем многозвучное сердце полно»).

«Светлая десница», «Возлюбленная мать», «Ярый свист карающей косы», «Слепительный пожар», «Песня голубая», «Душа», которая «не устанет молиться» — все это является у В. Кириллова наследством, полученным от плохой литературной школы и ставшим губительным для него. Серы в большинстве своем стихи «Голубой страны», скучны и безобидны. Чувствуешь облегченье, когда встречаешь какую-нибудь «Дорогу», которая «блестела, как мазут». И от литературной беспомощности «Голубой страны» становится вдвойне неприятным идеалистическое бормотанье В. Кириллова о том, как «дремлет» поэтический «ураган в глубинах» его «бытия», как «пробуждается

от сумрачного сна» его «темная душа». И уже совсем неприятно находить в стихах нашего пролетпоэта отдельные перлы подлинной мистической литературы, в роде вот этой строфы:

Но, древнему верев завету,
С душою цветка и зерна,
Навстречу иному рассвету
Восстану из темного дня...

Недаром книге своей В. Кириллов дал ничего не говорящее и безвкусное название. Почему — «Голубая страна»? Где она и какова она? Этого мы не узнаем из его расплывчатых и нереволуционных по существу стихотворений.

Будь В. Кириллов поэтом молодым, можно было бы удовлетвориться несколькими относительно хорошими стихотворениями («Современность», «Летчику», «Баррикада», «Весна—вечер—Кремль»). Но ведь не дебютант же в поэзии В. Кириллов? Читатель вправе требовать от него большего.

И. Поступальский.

Сергей Малахов.—«Песни у перевоза». Стихи. Изд. «Молодая Гвардия». Москва. 1927 г. Тираж 2.000. Стр. 55.

Для большинства стихов С. Малахова характерен некий резонерский тон, делающий творчество поэта внешнеэмоциональным и потому неубедительным. Поэт обращается с негодованием к воображаемому собеседнику:

И вы с усмешкой говорите мне:
— Какая скука воспевать заводы
Труба... станок... газета на стене.
Какая скука и какая одуры!

Думается, что никто не посягает в нашей поэзии на право существования такого рода тем. Но требовать настоящего, художественного оформления этих тем вправе не только воображаемый собеседник, но и реальный читатель. Этого оформления стиха, главным образом, в области сравнений, метафор и ритмической выдержанности, у Малахова нет.

Восемнадцать весен смотрела светло,
А хозяин пришел и сказал:

Эльза! Эльза! высокий лоб
Бирюзовые синь-глаза.

(«Песня о картошке»).

Подобные эпитеты, как «бирюзовые глаза», «огневое сердце», «ласковая

твердь», сравнение глаз ткачихи с васильками и т. п., едва ли могут сделать стихотворение выразительным. Поэт часто допускает ритмические срывы:

Ну и пусты! — пойдем, товарищ, дальше
(Видишь—Пресня Красная дымит?
Все равно до времени не

ударить

Яростной ногою о гранит.

(«Путешествие по Москве»).

Все эти недостатки — следствие небольшой стихотворной культуры поэта, способностей которого нельзя отрицать. Налицо ряд удачных стихотворений: «Митинг», «Путешествие по Москве». Архаичные по лексике и ритму, они все же дают художественное удовлетворение.

М. Рудерман.

Мих. Левидов. — «Простые истины» (о читателе, о писателе). Изд. автора. М. — ЛНГ. 1927 г. Стр. 242. Цена 1 руб. 80 коп.

В предисловии к своей книге о современной литературе, ее задачах, о советском читателе, о культуре и о театре автор совсем по-довоенному льстит себя надеждой, что «Простые истины», изданные им самим, прочтутся с интересом.

Быть может, отдельные литературные фельетоны Левидова, появившиеся в свое время в печати, и представляли некоторый интерес своей злободневностью, извлеченные же из газеты или журнала и собранные в отдельной книге, они никакого интереса не представляют, несмотря на многозначительные примечания автора о том, что тот или иной из его прогнозов впоследствии подтвердился.

Темы этой книги разработаны Левидовым настолько поверхностно, что нет никакой необходимости разбирать их по существу, целесообразнее коснуться «духа» всей книги.

Все, что пишет Левидов, — мелко, фельетонно, незначительно. Он действует как бинокль, обернутый к глазам объективами: загоная в газетный подвальчик самый крупный факт, автор уменьшает его значение до величины булавочной головки.

Левидова не выручают ни эффектные заголовки, ни кокетливо построенные фразы, ни страшные слова, в роде: «им-

манентно», «перманентно», «скрупулезно», ни целые фразы, в роде «компендиума моральных декретов» и т. п. Вся эта имманентно-перманентная болтовня проходит мимо читателя.

Утверждения автора порой сомнительны, порой невероятны. Так, напр., он утверждает, что секретом «чеховско-бунинской новеллы... владел чуть ли не каждый (!) писатель дореволюционной эпохи» (стр. 41).

Рассуждая о поэзии, Левидов чрезвычайно авторитетно заявляет, что «поэзия в искусстве — это оперная ария в музыке... но еще не искусство» (!!) (стр. 169).

Если такое утверждение Левидов основывает на изучении оперных либретто и песенок Изы Кремер, то он прав, но нам думается, что в данном случае следовало бы вспомнить о Державине, Пушкине, Тютчеве и многих других, которые писали вовсе уж не так плохо, как, очевидно, предполагает Левидов, и кое-что для искусства сделали.

Язык автора — также оставляет желать много лучшего: он течет, как вода, безудержно заливая 242 страницы (!) этой ненужной книги. Кроме того, он не всегда чист и правилен.

В предисловии Левидов рекомендует себя, как читателя, и мнения свои о читателе, писателе и литературе высказывает именно, как читатель, однако на стр. 190 он вдруг не без гордости заявляет:

«Мы — работники левой культуры»...

Но такие работники, как Мих. Левидов, не радуют.

Фрол Скобеев.

«Письма Александра Блока к родным». С предисл. и примечаниями М. А. Бекетовой Изд. «Academia». Л. 1927 г. Стр. 370. Тираж 2500 экз. Цена 2 руб. 50 коп. (Папка 25 коп.)

Обширная «Блокiana» пополнилась книгой первостепенного значения — сборником его писем к матери, отцу, А. Н. Бекетову (деду), Бекетовой (бабке),

М. А. Бекетовой (тетке) и С. А. Кублицкой-Пиотух (тетке). Письма эти охватывают период от детства поэта до его зрелых лет, с 1890 г. по 1909 г. включительно. Из общего их числа подавляющее большинство адресовано матери, замечательной русской женщине, имевшей огромное влияние на поэта. Своими творческими впечатлениями Блок постоянно делился с нею.

Вообще эпистолярное наследие Александра Блока представляет собою ценнейший материал, как для исследователя-специалиста, так и для всякого, желающего вплотную подойти к эпохе русского символизма. Для биографов рецензируемый том писем окажется совершенно незаменимым, так как в нем содержится множество точных фактических сведений. Например, пребывание Блока с женой в Москве (январь 1904 г.) описано здесь во всех деталях. Очаровательны незатейливые детские письма Блока, исполненные большой наивности и непосредственности. Из дальнейших писем мы узнаем о литературных начинаниях Блока, о встречах с разными писателями, об университетских занятиях и т. д. В письмах к отцу мы находим подтверждения того, что сцена долгое время стояла в центре творческого внимания Блока: далеко не сразу он отдал предпочтение поэзии.

«Стихи подвигаются довольно туго, потому что драматическое искусство — область более реальная» — писал Блок 22 января 1900 г.

Первостепенный интерес представляют его письма из Италии, уже знакомые читателям по большим отрывкам, опубликованным М. А. Бекетовой в ее первой книге (Берлин, 1922 г.). Нередко мы обнаруживаем в них очень глубокие мысли об искусстве и культуре, блестящие характеристики отдельных художников и писателей.

Книга снабжена обстоятельными примечаниями М. А. Бекетовой.

Виктор Гольцев.